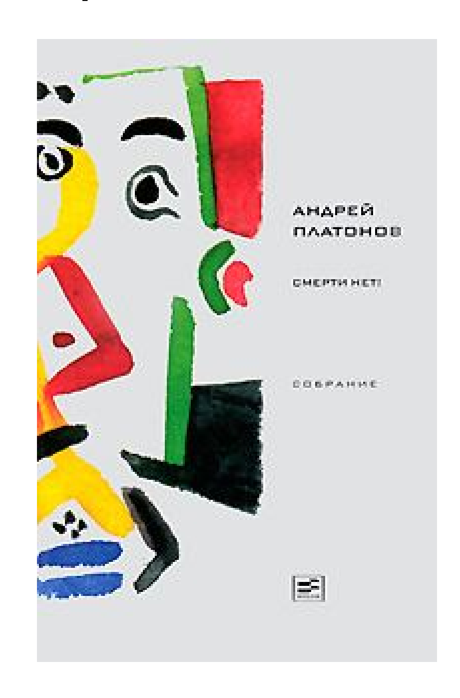
Андрей Платонович Платонов
Том 5. Смерти нет!

Собрание сочинений – 5



«Собрание сочинений»: Время; Москва; 2010
ISBN 978-5-9691-0478-5

Аннотация

Перед вами — первое собрание сочинений Андрея Платонова, в которое включены все известные на сегодняшний день произведения классика русской литературы XX века.

В эту книгу вошла проза военных лет, в том числе рассказы «Афродита», «Возвращение», «Взыскание погибших», «Оборона Семидворья», «Одухотворенные люди».

К сожалению, в файле отсутствует часть произведений.

Андрей Платонович Платонов
Собрание сочинений
Том 5. Смерти нет!

Божье дерево (Дерево Родины)

Мать с ним попрощалась на околице; дальше Степан Трофимов пошел один. Там, при выходе из деревни, у края проселочной дороги, которая, зачавшись во ржи, уходила отсюда на весь свет, — там росло одинокое старое дерево, покрытое синими листьями, влажными и блестящими от молодой своей силы. Старые люди на деревне давно прозвали это дерево

«божьим», потому что оно было не похоже на другие деревья, растущие в русской равнине, потому что его не однажды на его стариковском веку убивала молния с неба, но дерево, занемогши немного, потом опять оживало и еще гуще прежнего одевалось листьями, и потому еще, что это дерево любили птицы, они пели там и жили, и дерево это в летнюю сушь не сбрасывало на землю своих детей — лишние увядшие листья, а замирало все целиком, ничем не жертвуя, ни с кем не расставаясь, что выросло на нем и было живым.

Степан сорвал один лист с этого божьего дерева, положил за пазуху и пошел на войну. Лист был мал и влажен, но на теле человека он отогрелся, прижался и стал неощутимым, и Степан Трофимов вскоре забыл про него.

Отойдя немного, Степан оглянулся на родную деревню. Мать еще стояла у ворот и глядела сыну вослед; она прощалась с ним в своем сердце, но ни слез не утирала с лица и не махала рукой, она стояла неподвижно. Степан тоже постоял неподвижно на дороге, в последний раз и надолго запоминая мать, какая она есть — маленькая, старая, усохшая, любящая его больше всего на свете; пусть хотя бы пройдет целый век, она все равно будет его ждать и не поверит в его смерть, если он погибнет.

«Потерпи немного, — произнес ей сын в своей мысли, — я скоро вернусь, тогда мы не будем расставаться».

Старая мать осталась одна вдалеке — у ворот избы, за рожью, чтобы ждать сына обратно домой и томиться по нем, а сын ушел. Издали он еще раз обернулся, но увидел только рожь, которая клонилась и покорялась под ветром, избы же деревни и маленькая мать скрылись за далью земли, и грустно стало в мире без них.

Степан Трофимов был обученный, запасной красноармеец. Два года тому назад он отслужил свой срок в армии и еще не забыл, как нужно стрелять из винтовки. Поэтому он недолго побыл в районном городе и с очередным воинским эшелоном был отправлен воевать с врагом на фронт.

На фронте было пустое поле, истоптанное до последней былинки, и тишина. Трофимов и его соседние товарищи отрыли себе ямки в земле и легли в них, а винтовки незаметно, чуть-чуть высунули наружу, ожидая навстречу неприятеля. Позади пустого поля рос мелкий лес, с листвою, опаленной огнем пожара и стрельбы. Там, наверно, таился враг и молча глядел оттуда в сторону Трофимова. У Трофимова стало томиться сердце; он хотел поскорее увидеть своего врага — того тайного человека, который пришел сюда, в эту тихую землю, чтобы убить сначала его, потом его мать и пройти дальше, до конца света, чтобы всюду стало пусто и враг остался один на земле.

«Кто это, человек или другое что? — думал Степан Трофимов о своем неприятеле. — Сейчас увижу его!» И красноармеец глядел в серое поле, далекое от его дома, но знакомое, как родное, и похожее на всю землю, где живут и пашут хлеб крестьяне. А теперь эта земля была пуста и безродна, — что жило на ней, то умерло под железом и солдатским сапогом и более не поднялось расти.

«Полежи и отдохни, — говорил пустой земле красноармеец Трофимов, — после войны я сюда по обету приду, я тебя запомню, и всю тебя сызнова вспашу, и ты опять рожать начнешь; не скучай, ты не мертвая».

Из темного, горелого мелколесья, на той стороне поля, вспыхнул краткий свет выстрела. «Не стерпел, — сказал Трофимов о стрелявшем враге, — лучше бы ты сейчас потерпел стрелять, а то потом терпеть тебе долго придется — помрешь от нас и соскучишься».

Командир еще загодя сказал красноармейцам, чтобы они не стреляли, пока он им не прикажет, и Трофимов лежал молча.

Немцы постреляли еще, но вскоре умолкли, и снова стало тихо, как в мирное время. В поле свечерело. Делать было нечего, и Трофимов заскучал. Он жалел, что время на войне проходит зря, — надо было бы либо убивать врагов, либо работать дома в колхозе, а лежать без дела — это напрасная трата народных харчей. «Вот и ночь скоро, — размышлял Трофимов, — а что толку? Я еще ни одного немца не победил!»

Когда совсем стемнело, командир велел красноармейцам подняться и без выстрела, безмолвно, идти в атаку на врага. Трофимов оживился, повеселел и побежал вперед за командиром. Он понимал, что чем скорее он будет бежать вперед, на врага, тем раньше возвратится назад в деревню, к матери.

В лесу было неудобно бежать и не видно, что делать. Но Трофимов терпеливо сокрушал сапогами слабые деревья и ветки и мчался вперед с яростным сердцем, с винтовкой наперевес.

Чужой штык вдруг показался из-за голых ветвей, и оттуда засветилось бледное незнакомое лицо со странным взглядом, испугавшим Трофимова, потому что это лицо было немного похоже на лицо самого Трофимова и глядело на него с робостью страха. Трофимов с ходу вонзил свой штык вперед, в туловище неприятеля, долгим, затяжным ударом, чтобы враг не очнулся более, и приостановился на месте, давая время своему оружию совершить смерть. Потом он бросился дальше во тьму, чтобы сейчас же встретить другого врага в упор и ударить его штыком насмерть. Командира теперь не было — он, наверно, ушел далеко вперед. Трофимов побежал еще быстрее, желая нагнать командира и не заблудиться одному среди неприятеля. Сбоку, из чащи кустарника, начал бить автомат и перестал. Трофимов повернул в ту сторону, перепрыгнул через пень и тут же свалился на мягкое тело человека, притаившееся за пнем. Винтовка вырвалась из рук красноармейца, но Трофимову она сейчас не требовалась, потому что он схватил врага вручную; он обнял и молча начал сжимать его тело вокруг груди, чтобы у фашиста сдвинулись кости с места и пресеклось дыхание. Фашист сначала молчал и только старался понемногу дышать, стесняемый красноармейскими руками. «Ишь ты, еще дышит, — сдавливая врага, думал Трофимов. — Врешь, долго не протерпишь — я на гречишной каше вырос и сеяный хлеб всю жизнь ел!»

Слабое тепло шло изо рта врага; замирая, он все еще дышал и старался даже пошевельнуться.

— Еще чего! — прикрикнул Трофимов, выдавливая из немца душу наружу. — Кончайся скорее, нам некогда!

Враг неслышно прошептал что-то.

— Ну? — спросил его Трофимов и чуть ослабил свои руки, чтобы выслушать погибающего.

— Русс… Русс, прости!

Трофимов отказал:

— Нельзя, вы вредные.

— Русс, пощади! — прошептал немец.

— Теперь уж не смогу прощать тебя, — ответил Трофимов врагу. — Теперь уж не сумею… У меня мать есть, а ты ее сгонишь с земли.

Он заметил свою винтовку, она лежала близко на земле; он дотянулся рукой до нее, взял к себе и ударил врага кованым прикладом насмерть по голове.

— Не томись, — сказал Трофимов.

Он поднялся и пошел по перелеску, щупая штыком всюду во тьме, где что-нибудь нечаянно шевелилось. Но всюду было безлюдно и тихо. Немцы, должно быть, ушли отсюда, а может быть, они еще тут, но затаились. Трофимов решил пройти по перелеску дальше, чтобы встретить своего командира и узнать у него, что нужно делать дальше, если враг отошел отсюда. Он прислушался. Лишь вдалеке изредка била наша большая пушка, точно вздыхала и опять замирала в своей глубине спящая земля, а помимо пушечных выстрелов все было тихо. Но в другой стороне, откуда пришел Трофимов, за полями и реками, стояла среди ржи одна деревня; туда не доходила стрельба из пушек и тревога войны, — там спала сейчас в покое мать Степана Трофимова и у последней избы росло одинокое божье дерево.

Автомат ударил вблизи Трофимова. «По мне колотит», — решил Трофимов, и сердце его поднялось на врага; он почувствовал скорбь и ожесточение, потому что раз мать родила его для жизни — его убивать не должно и убить никто не может.

Трофимов побежал на врага, бившего в него огнем из тьмы, и остановился. Он

остановился в недоумении, узнав впервые от рождения, что он уже не живет. Сердце его точно вышло из груди и унеслось наружу, и грудь его стала охлажденная и пустая. Трофимов удивился, оттого что ему было теперь не больно и пусто жить и стало все равно, ни грустно, ни радостно, но он еще по привычке человека и солдата сказал: «Зря ты, смерть, пришла, ты обожди — я потом помру», — и он упал в траву и откинул винтовку как ненужное оружие: пусть пропадет в траве и не достанется врагу.

Он очнулся вскоре. Сердце его слабо шевелилось в груди. «Ты здесь?» — с простотою радости подумал Трофимов. Он ощупал себя по телу — оно теперь было усохшее и томное; из раны в груди вышло много крови, но теперь рана затянулась и только тепло жизни постоянно выходило из нее и холодела душа.

— Вы у нас, — сказал Степану Трофимову чужой человек.

— Ты немец, что ль? — спросил Трофимов; он увидел, еще тогда, когда тот человек сказал свои слова, он увидел по одежде и нерусскому звуку языка, говорившего по-русски, что он погиб. «А я не погибну! — решил Трофимов. — Я как-нибудь буду!»

— Говорите быстро, что знаете? — опять спросил его немецкий офицер.

«А что же я знаю? — подумал Трофимов. — Да ничего!» И ответил вслух:

— Я знаю, что хоть все мы в дырья насквозь тела будем прострелены, а все одно твоя сила нас не возьмет!

— Значит, вы знаете вашу силу, — произнес офицер. — В чем же она заключается?

— Чувствую так, стало быть — знаю, — проговорил Трофимов; он огляделся в помещении, где находился: на стене висел портрет Пушкина, в шкафах стояли русские книги. — «И ты здесь со мной! — прошептал Трофимов Пушкину. — Изба-читальня здесь, что ль, была? Потом всему ремонт придется делать!»

— Я спрашиваю, где в ночной атаке находился командный пункт вашей части? — сказал офицер.

— Как где? — удивился Трофимов. — Наш командир впереди меня на фашистов наступал.

— Командир — это вы, — убежденно сказал офицер. — Вы напрасно переоделись в солдата.

— Ага, — промолвил Трофимов, — ну, тогда ты отсталый. Какой же я командир, когда я человек неученый и сам простой?

Немецкий офицер взял со стола револьвер.

— Сейчас вы научитесь.

— Убьешь, что ль? — спросил Трофимов.

— Убью, — подтвердил офицер.

— Убивай, мы привыкли, — сказал Трофимов.

— А жить не хотите? — спросил офицер.

— Отвыкну, — сообщил Трофимов.

Офицер поднялся и ударил пленника рукояткой револьвера в темя на голове.

— Отвыкай! — воскликнул фашист.

«Опять мне смерть, — слабея, подумал Трофимов, — дитя живет при матери, а солдат при смерти», — пришли к нему на память слышанные когда-то слова, и на том он успокоился, потому что сознание его затемнилось.

Вспомнил Трофимов о себе не скоро — в тыловой немецкой тюрьме. Он сидел, скорчившись, весь голый, на каменном полу, он озяб, измучился в беспамятстве и медленно начал думать. Сначала он подумал, что он на том свете. «Ишь ты, и там война, и тут худо — тоже не отогреешься», — произнес про себя Трофимов. Но, осмотревшись, Трофимов сообразил, что так плохо нигде не может быть, как здесь, значит, он еще живой.

Он находился в каменном колодце, где свободно можно было только стоять. Вверху, на большой высоте, еще горела маленькая электрическая лампа, испуская серый свет неволи; в узкой железной двери был тюремный глазок, закрытый снаружи. Трофимов поднялся в рост и опробовал себя, насколько он весь цел. На груди запеклась кровь от раны, а пуля, должно

быть, утонула где-то в глубине тела, но Трофимов сейчас ее не чувствовал. Лист с божьего дерева родины присох к телу на груди вместе с кровью и так жил с ним заодно.

Трофимов осторожно, не повреждая отделил тот лист от своего тела, обмочил его слюною и прилепил к стене как можно выше, чтобы фашист не заметил здесь его единственного имущества и утешения. Он стал глядеть на этот лист, и ему было легче теперь жить, и он начал немного согреваться.

«Я вытерплю, — говорил себе Трофимов, — мне надо еще пожить, мне охота увидеть мать в нашей избе, и я хочу послушать, как шумят листья на божьем дереве».

Он опустился на пол, закрыл лицо руками и стал тихо плакать — по матери, по родине и по самом себе.

Потом ему стало легче. Он отер свое лицо и захотел представить себе — какой он есть сейчас на вид. Он давно не видел своего лица — ни в зеркале, ни в покойной, чистой воде. «Сейчас я на вид плохой, зачем мне смотреть на себя», — сказал Трофимов.

Он встал и снова загляделся на лист с божьего дерева. Мать этого листика была жива и росла на краю деревни, у начала ржаного поля. Пусть то дерево родины растет вечно и сохранно, а Трофимов и здесь, в плену врага, в каменной щели, будет думать и заботиться о нем. Он решил задушить руками любого врага, который заглянет к нему в камеру, потому что если одним неприятелем будет меньше, то и Красной Армии станет легче.

Трофимов не хотел зря жить и томиться; он любил, чтоб от его жизни был смысл, равно как от доброй земли бывает урожай. Он сел на холодный пол и затих против железной двери в ожидании врага.

1942

Дед-солдат

Дед долго жил на свете и так привык жить, что забыл о смерти и никогда не собирался помирать. Все его дети и родные давно померли, остался один последний внук, девятилетний сирота Алеша.

— Дедушка, ты живешь? — спрашивал Алеша и смотрел на деда с удивлением, точно он не был уверен, что все это есть взаправду — и он сам и дед.

— Живу, — медленно говорил дед. — Жить, Алеша, сроду не отвыкнешь. Да мне жалиться не на что, — только смерть, должно быть, просчитала меня: всех до малости сосчитала, а на меня одного ошиблась. Я мимо счета прошел, так и остался теперь жить навеки, вам, малолетним, на помощь…

Алеша глядел на деда, старого, согнутого, волосатого, но живого; у деда уж и волосы на голове и в бороде из белых стали бурыми, и глаза его были пустого цвета, как вода, а он все жил.

— И я живу, — задумчиво произносил Алоша. — Давай обед готовить, а то есть пора. Ты ведь жил долго, ты ел много, а я мало.

Дед со внуком жили в курене на большом колхозном огороде. Дед сторожил овощи, ухаживал за рассадой, следил за погодой, измерял и записывал, сколько было дождя и вёдра, а внук был при нем и учился у деда жизни и работе.

Наевшись кулешу с луком и салом, дед, как обыкновенно, положил еще к себе в карман штанов краюшку хлеба в запас и пошел с Алешей на пруд, куда спускалась огородная земля.

— Пойдем, мне надобно тело плотины поглядеть, — говорил дед, и они шли к плотине. Плотину эту из глины и земли сложила полвека назад крестьянская артель, в которой работал еще отец деда и сам дед. Плотина стояла в сохранности до сей поры; она пережила и великие ливни и нагорные потоки вешних вод, но бури ее не развеяли и воды не размыли, потому что плотину строили умелые крестьянские руки, привыкшие к земле и любящие ее.

Дед и Алеша остановились на гребне плотины, над лоном смирной воды, в которой отражалось сейчас летнее теплое небо вместе с плывущими по нему облаками и

пролетающими птицами.

Дед медленно осмотрел всю природу по всей округе и вздохнул:

— Привык я тут.

— А зачем ты привык? — спросил его Алеша.

Дед помолчал немного.

— Жить привык… Ишь ты, как у нас тут. Сверху небо, — снизу земля, а мы, стало быть, в промежутке — и там и тут.

Алеша присел на корточки у самого уреза воды, доходившей почти до гребня плотины; недавно прошли густые дожди, и пруд наполнился доверху. В синей глубине озера росла подводная трава, и ослабевшее в воде, тихое солнце, как луна, освещало там неподвижные стебли темных и худых былинок.

— Ей там скучно живется, — решил Алеша о подводной траве.

Он вспомнил, что все живущее под водой называется подводным царством. Об этом он слышал, как читали вслух из книги в избе-читальне. И Алеша решил стать самым главным в подводном царстве ихнего пруда и считать все это царство своим, чтобы всем былинкам в воде и каждому, кто там живет и шевелится, не было больше скучно.

— Я теперь буду главный у вас, — сказал Алеша вслух над водой. — Вы подводное царство, а я у вас председатель сельсовета. Потом я вырасту, заработаю трудодни и куплю велосипед…

Председатель сельсовета в Алешиной деревне имел велосипед, он крутил его ногами в брезентовых сапогах и ездил, куда надо по делам. Алеша тоже подумал, что ему нужно иметь велосипед, чтобы ездить по делам подводных рыб, былинок и пауков, а то без него им плохо будет.

Затем дед позвал Алешу к себе, и они сели вдвоем на сухом откосе плотины, откуда далеко были видны небо, земля и вся природа.

— Что там? — спросил дед, задремавший на земле после кулеша.

— Ничего нету, — сказал Алеша. — На небе белое облако, на земле сидит один воробей; он, должно быть, тоже старичок.

— Пусть так будет, — произнес дед. — Я думал — там другое что… У нас в турецкую кампанию знаешь что было…

Дед засопел и уснул, а потом вдруг сказал среди сна:

— У нас в турецкую кампанию, стою я однова на посту…

Дед умолк, он теперь спал. Алеша согнал муху с его лица и спросил у деда:

— Турецкая… Ты всегда говоришь — турецкая. Какая теперь турецкая?

— Ого-го-го! — захохотал дед во сне. — Турецкая кампания ты знаешь что…

— А где турецкая, ее нету, — произнес Алеша.

— Теперь нету, — согласился дед. — Теперь кампания воздушная, ерманская, шпионская, подводная, загробная, для человека никуда не годная… Они думают сделать нам трынчик, чтоб мы хряпнули, но мы им сами дадим поперек.

Дед сказал и уснул. Алеша тоже сморился и закрыл глаза. И в дремоте ему стало хорошо — оттого, что у него теперь есть свое подводное царство, где живут сейчас травяные былинки и маленькие, умные пауки и головастики, где ползают добрые черви и плавают тихие рыбы карпы, — и все это теперь принадлежит Алеше и он должен постоянно думать о своем подводном царстве и беречь его; он ведь один теперь там главный председатель сельсовета, и если его не будет, то все там умрут.

Очнувшись, Алеша увидел, что времени до вечера еще много, что шел еще долгий летний день и по-прежнему светило над ним теплое небо, пахнущее рожью и цветами, а дед спал и дышал во сне. Он лежал на сухом откосе плотины, в своей любимой траве-лебеде; далее плотина спускалась вниз, в широкую балку, и там на низкой глинистой земле росли лопухи, репейники и жесткие, сухие кустарники. Там никого никогда не было, и только одни зеленые толстые мухи и осы скучно жужжали.

Алеша вынул из штанов у деда краюшку хлеба, раскрошил ее и посеял с плотины

хлебные крошки в воду.

— Кормитесь, — сказал он подводному царству. — Теперь я у вас кормилец и председатель, а вы рожайтесь и живите. И я у вас буду считаться отцом, чтоб вы не были как сироты, — произнес Алеша вдобавок.

Рыбы карпы вышли к поверхности воды и стали обжевывать более крупные комочки хлеба, а мелкие они сглатывали сразу. Алеша смотрел с утешением на это питание рыб и думал обо всем пруде как о своем государстве.

Покормив жителей своего государства, Алеша отправился по берегу, чтобы оглядеть весь пруд и проведать лягушек и жаб на мелком месте.

А дед один остался спать на земле; но вскоре он отчего-то проснулся — не то в воздухе прошумело что-то и разбудило его, не то он выспался сам по себе. Он сел в недоумении и поцарапал большим ногтем грунт в теле плотины.

— Ишь ты, — обрадовался дед, — костяная стала, полвека стоит. И еще век простоит. Да ведь народ ее строил и мы с отцом — никто другой: оттого и прочно. Народ, он всегда норовит навек все сделать и смерть обсчитать, — так у него и выходит.

Дед поглядел вниз по заросшей балке — в лопухи и кустарники. Там стояло теперь постороннее темное тело — большое и горячее, так что даже при свете солнца видно было, как из него выходил в воздух дрожащий жар.

— Уморилась, видать, машина, — сказал дед. — В турецкую кампанию у нас пот шел из-под казенной рубашки, а тут жар из железа… Вон война какая теперь стала. Да что ж, время идет, люди умнеют, харчи дорожают… Наши, что ль, это прибыли аль чужие?..

Дед пошел к прибывшему железному танку, чтобы глянуть, кто там есть внутри его. Алеша был далеко на берегу; он не видел, как из сухого устья балки к плотине вышел танк.

Возле большой машины, окрашенной в земляной цвет, сидел чуждый человек в ненашей одежде и ел из горсти сухарь, сберегая каждую крошку. Чужой солдат был грязен и слабосилен на вид; он скучно посмотрел на деда и сказал:

— Лапша!

— Лапши хочешь? — спросил дед. — Лапша у нас есть.

Дед подумал: «Сейчас, что ль, пополам его перешибить иль подождать?» — и подошел близко к немцу.

— Щи с капустой и каша с маслом! — сказал дед.

— Зуп, говядина! — сказал немец.

— И это можно! — ответил дед. — А сколько порций нужно? Там у тебя кто? — дед указал немцу на горячую машину, из которой что-то капало и шипело потихоньку.

Немец встал; на боку у него висел револьвер. «Ишь ты, — заметил дед, — считается с нами — порожняком боится ходить». Немец постучал в железо кулаком и сказал туда свои слова. Оттуда ему ответили два голоса — невнятно, как во сне. «Два, — решил дед, — считай, что четыре, этот пятый: меньше не должно быть — машина дюже грузна, меньше пятерых с ней не управятся. У нас в турецкую кампанию как штык, так человек, а тут враз не поймешь — сколько их в этой железной коробке. Пять да машина шестая, а я один. Ну что ж, справлюсь, помирать сейчас все равно некогда».

Немец вынул револьвер, ткнул деда в спину дулом и опять сказал:

— Лапша, зуп, говядина!

— Ты не тычь, я сам русский солдат! — осерчал дед. — И не поминай про лапшу по дважды — я с однова разу угощать умею!

Дед пошел, за ним шагал враг с револьвером в руке. «Дожился, — думал дед в огорчении. — По своей земле как чужой иду, родился от матери, а помру от немца!» Он обернулся к неприятелю:

— Когда народ-то убивать начнете — сразу иль потом, поевши?

— Лапша, лапша, говядина, — говорил немец и торопил старика.

— Ага, поевши, — догадался старый дед. Они взошли на плотину.

— Эту землю мы всем народом сложили, — указал дед немцу. — И я тут с отцом силу

клал. А теперь, видал, прелесть какая стала — природа, озеро, рыба, воздух легкий, и народ окрест кормится. Уж полвека тут так стало, а была пустошь, овраг, ничего не было…

Немец сумрачно поглядел на прохладное озеро, сиявшее на солнце, ему было все равно — хорошо тут или худо, он хотел поскорее наесться лапши.

Алеша увидел с берега пруда, что его деда чужой человек повел убивать, и побежал им вослед. Он бежал и чувствовал свое сердце, бившееся вслух от своей силы и от близости страшного врага.

— Дедушка, дедушка! — закричал Алеша. — Ты его не бойся, я тут. Это неприятель.

Дед обернулся на внука:

— Какой он неприятель? Он фашист Ай-Гитлер! Неприятели раньше были, они были в крымскую, в турецкую кампанию… А это просто так себе, одна гадюка…

— А ты убей его! — сказал Алеша.

— Обожди, не спеши, — ответил дед. — Война — это ум, а не уличная драка.

В курене дед достал котелок с остатком кулеша, отрезал ломоть хлеба и вытер деревянную ложку пучком травы.

Фашист сел у входа в курень на овчину деда, положил револьвер возле себя и протянул руку за ложкой.

— Потерпишь! — упредил его дед. — Вы за что ж на нас осерчали-то, к чему войной пошли?

Немец сказал что-то, поднял револьвер и наставил его на деда.

— Эк ты дурной, неученый какой, — произнес дед. — Меня сама смерть не берет, а ты взять хочешь.

Своей сухой, костяной крестьянской рукой дед враз ударил немца поперек его руки, в которой тот держал револьвер, и немец уронил оружие. Затем дед припал к врагу, обхватил его и прижал его навзничь к земле. Немец сначала притих под дедом, а потом жалобно забормотал.

— Сам теперь видишь, что я привычней тебя ко всякой работе, — сказал дед и, оставив немца лежачим, поднял револьвер и положил его себе в штаны.

Алеша стоял возле куреня; он только что хотел тоже броситься на неприятеля, на помощь деду, но не успел — дед один управился.

— Дедушка, я тоже хочу дать ему! — сказал Алеша.

— Теперь уж нельзя, — ответил дед, — теперь он пленный человек.

Дед подал деревянную ложку пленному врагу и поднес к нему поближе котелок с кулешом.

Смирившийся пленник подвинул к себе котелок и стал есть из него полной ложкой, поглядывая в долгое русское поле задумавшимися глазами…

Дед достал из куреня железную тяпку и дал ее Алеше.

— Ступай на плотину, — приказал он, — и продолби в ней бороздку, чтоб вода поперек пошла.

— А зачем? — спросил Алеша.

— Там увидишь — зачем.

— А плотина твердая, она закостенела вся, — ты сам говорил, она полвека стоит, об нее тяпка согнется.

— Иди долби, тебе говорят, — осерчал дед. — Пускай она хоть железная будет, а ты ее все равно продолби, а вода ее сама вослед тебе порушит и пойдет потопом.

Алеша положил тяпку на плечо и пошел, решив, что он теперь на войне красноармеец, а дед — командир.

С плотины он увидел угрюмую чужую машину, стоявшую в зарослях сухой балки, и догадался, зачем надо раздолбить в плотине протоку.

— Мы их смоем потопом! — обрадовался Алеша и начал долбить тяпкой тяжелую, застарелую землю.

Он работал и думал, что скоро вся вода уйдет вон и помрут все жители его подводного

милого царства. Ему было жалко рыб, лягушек и траву, но они вместе с водой бросятся на врагов всех людей — фашистов.

— Красная Армия лучше всего — она лучше подводного царства, — сказал Алеша, разрушая тяпкой землю плотины. — Она не боится ни смерти, ни фашистов, ничего. И вы не бойтесь, и я тоже не боюсь, тогда мы будем жить! Мы после войны все вместе опять соберемся…

Из немецкого танка на плотину смотрела немая короткая пушка.

Время шло на вечер, но жара, скопившаяся за долгий день, устоялась на земле и жгла тело под жалящий зуд толстых травяных мух.

Алеша работал скоро. Порушив грунт тяпкой, он выгребал его наружу руками и снова бил железом вглубь. Он измучился, но терпел свою муку потому, что на войне надо уметь терпеть все, даже смерть.

Добравшись до воды, Алеша перестал работать и подождал, что теперь будет. По узкой борозде, продолбленной им в слежавшемся грунте, из пруда пошел водяной ручей. И этот слабый ручей начал своей живой силой рушить землю дальше — он уносил ее вон, резал плотину поперек все глубже и шире и превращался в поток, потому что ручей рождался из большого озера, и озеро все целиком стремилось войти в узкое его русло. Спокойная вода стала теперь яростной силой, и тихий пруд шумел в потоке.

Ручей все более расширялся, он обваливал землю на своих берегах и уносил ее прочь в мутной воде. Алеша пошел от страха к деду в курень. Но в курене деда не было; пленник тоже куда-то ушел или, может быть, одолел деда, а сам убежал.

Алеша видел из куреня воду в пруде, она помаленьку убывала и отходила от старого берега. Алеша томился в ожидании, затем, чтобы скорее прошло страшное время, он лег на дедовскую жаркую овчину и задремал в усталости.

Его разбудил выстрел из пушки. Алеша сразу опомнился и побежал к плотине.

Плотины уже пе было; ее размыла вода, и пруд ушел. От плотины осталось лишь одно ее плечо, упиравшееся в материнскую землю. На этом возвышенном плече стоял дед с револьвером в руке и глядел вниз по балке, где раньше было сухое место. Сухую балку теперь занесло илом и сырой землей из пруда.

Из этого сырого, вязкого наноса была видна одна только башня немецкого танка с пушкой, а весь танк был погребен в жидком, слипшемся иле, осевшем из осохшего потопа воды.

Алеша схватил деда за рубаху и прижался к нему. Из башни показался человек; он собирался вылезти оттуда.

— Там человека три-четыре, — сказал дед. — Уморились воевать и поснули, а одного за харчами послали. Им давно пора отдохнуть.

Дед поднял револьвер, навел его, как надо, и выстрелил в того человека, что выбирался из танка; человек замер и молча опустился обратно вниз, убитый.

— А тот где, пленный неприятель, фашист Ай-Гитлер? — спросил Алеша.

— Некогда на войне с одним возиться, — ответил дед. — Того я старой вожжой связал и в овраг отнес. Пускай лежит до времени, пока хоть руки-то мои освободятся… Сбегай в Совет, пускай там красноармейцев кликнут, чтоб танк забрали, нам он годится. А я тут один хищника посторожу — у них еще человека два-три в машине живыми остались…

Но Алеша загоревал:

— Дедушка, а где же рыбы карпы и лягушки будут жить? Весь пруд на фашистов ушел.

Дед рассердился на внука:

— Ты видишь — у меня руки оружием заняты. Как управлюсь с врагами, так плотину всю сызнова сложу. Мы свое добро только на время рушили.

Дед поглядел в размытую прорву, где недавно стояла вековечная плотина, сложенная крестьянскими руками, и два раза моргнул, чтобы первая слеза осохла, а вторая не пошла.

Краткое пламя вырвалось из танковой пушки, и оттуда с железным мертвым звуком пролетел снаряд мимо деда и внука.

Снаряд сухо разорвался над пропастью умершего пруда, а дед и Алеша почувствовали удар холодного, тяжкого ветра, твердого, как грунт, но невидимого. Затем танк заворчал своей машиной из глубины схоронившей его илистой, тучной земли, пошевелился немного всем туловищем и утих.

— Зря стараешься, — произнес дед. — Утопшие и закопанные сами не вылезают.

Алеша побежал огородами на деревню, а дед залег за плечом плотины и направил револьвер на башню танка: может быть, еще кто-нибудь оттуда появится.

Скоро, как и должно быть, оттуда медленно и осторожно начал подыматься человек. Дед нацелился и выстрелил в него из немецкого ручного оружия: лезь, дескать, назад в железный короб. Враг сразу провалился обратно.

— Эх ты, лапша, зуп, говядина! — произнес старик. — Кого обсчитать хотели! Наш народ уже в который раз смерть обсчитывает и еще не раз ее обсчитает.

Неодушевленный враг

Человек, если он проживет хотя бы лет до двадцати, обязательно бывает много раз близок к смерти или даже переступает порог своей гибели, но возвращается обратно к жизни. Некоторые случаи своей близости к смерти человек помнит, но чаще забывает их или вовсе оставляет их незамеченными. Смерть вообще не однажды приходит к человеку, не однажды в нашей жизни она бывает близким спутником нашего существования, — но лишь однажды ей удается неразлучно овладеть человеком, который столь часто на протяжении своей недолгой жизни — иногда с небрежным мужеством — одолевал ее и отдалял от себя в будущее. Смерть победима, — во всяком случае, ей приходится терпеть поражение несколько раз, прежде чем она победит один раз. Смерть победима, потому что живое существо, защищаясь, само становится смертью для той враждебной силы, которая несет ему гибель. И это высшее мгновение жизни, когда она соединяется со смертью, чтобы преодолеть ее, обычно не запоминается, хотя этот миг является чистой, одухотворенной радостью.

Недавно смерть приблизилась ко мне на войне: воздушной волной от разрыва фугасного снаряда я был приподнят в воздух, последнее дыхание подавлено было во мне, и мир замер для меня, как умолкший, удаленный крик. Затем я был брошен обратно на землю и погребен сверху ее разрушенным прахом. Но жизнь сохранилась во мне; она ушла из сердца и оставила темным мое сознание, однако она укрылась в некоем тайном, может быть последнем, убежище в моем теле и оттуда робко и медленно снова распространилась во мне теплом и чувством привычного счастья существования.

Я отогрелся под землею и начал сознавать свое положение. Солдат оживает быстро, потому что он скуп на жизнь и при этой малой возможности он уже снова существует; ему жалко оставлять не только всё высшее и священное, что есть на земле и ради чего он держал оружие, но даже сытную пищу в желудке, которую он поел перед сражением и которая не успела перевариться в нем и пойти на пользу. Я попробовал отгрестись от земли и выбраться наружу; но изнемогшее тело мое было теперь непослушным, и я остался лежать в слабости и во тьме; мне казалось, что и внутренности мои были потрясены ударом взрывной волны и держались непрочно, — им нужен теперь покой, чтобы они приросли обратно изнутри к телу; сейчас же мне больно было совершить даже самое малое движение; даже для того, чтобы вздохнуть, нужно было страдать и терпеть боль, точно разбитые острые кости каждый раз впивались в мякоть моего сердца. Воздух для дыхания доходил до меня свободно через скважины в искрошенном прахе земли; однако жить долго в положении погребенного было трудно и нехорошо для живого солдата, поэтому я все время делал попытки повернуться на живот и выползти на свет. Винтовки со мной не было, ее, должно быть, вышиб воздух из моих рук при контузии, — значит, я теперь вовсе беззащитный и бесполезный боец. Артиллерия гудела невдалеке от той осыпи праха, в которой я был схоронен; я понимал по звуку, когда били наши пушки и пушки врага, и моя будущая судьба зависела теперь от того,

кто займет эту разрушенную, могильную землю, в которой я лежу почти без сил. Если эту землю займут немцы, то мне уж не придется выйти отсюда, мне не придется более поглядеть на белый свет и на милое русское поле.

Я приноровился, ухватил рукою корешок какой-то былинки, повернулся телом на живот и прополз в сухой раскрошенной земле шаг или полтора, а потом опять лег лицом в прах, оставшись без сил. Полежав немного, я опять приподнялся, чтобы ползти помаленьку дальше на свет. Я громко вздохнул, собирая свои силы, и в это же время услышал близкий вздох другого человека.

Я протянул руку в комья и сор земли и нащупал пуговицу и грудь неизвестного человека, так же погребенного в этой земле, что и я, и так же, наверно, обессилевшего. Он лежал почти рядом со мною, в полметре расстояния, и лицо его было обращено ко мне, — я это установил по теплым легким волнам его дыхания, доходившим до меня. Я спросил неизвестного по-русски, кто он такой и в какой части служит. Неизвестный молчал. Тогда я повторил свой вопрос по-немецки, и неизвестный по-немецки ответил мне, что его зовут Рудольф Оскар Вальц, что он унтер-офицер 3-й роты автоматчиков из батальона мотопехоты. Затем он спросил меня о том же, кто я такой и почему я здесь. Я ответил ему, что я русский рядовой стрелок и что я шел в атаку на немцев, пока не упал без памяти. Рудольф Оскар Вальц умолк; он, видимо, что-то соображал, затем резко пошевелился, опробовал рукою место вокруг себя и снова успокоился.

— Вы свой автомат ищете? — спросил я у немца.

— Да, — ответил Вальц. — Где он?

— Не знаю, здесь темно, — сказал я, — и мы засыпаны землею.

Пушечный огонь снаружи стал редким и прекратился вовсе, но зато усилилась стрельба из винтовок, автоматов и пулеметов.

Мы прислушались к бою; каждый из нас старался понять, чья сила берет перевес — русская или немецкая и кто из нас будет спасен, а кто уничтожен. Но бой, судя по выстрелам, стоял на месте и лишь ожесточался и гремел все более яростно, не приближаясь к своему решению. Мы находились, наверно, в промежуточном пространстве боя, потому что звуки выстрелов той и другой стороны доходили до нас с одинаковой силой, и вырывающаяся ярость немецких автоматов погашалась точной, напряженной работой русских пулеметов. Немец Вальц опять заворочался в земле; он ощупывал вокруг себя руками, отыскивая свой потерянный автомат.

— Для чего вам нужно сейчас оружие? — спросил я у него.

— Для войны с тобою, — сказал мне Вальц. — А где твоя винтовка?

— Фугасом вырвало из рук, — ответил я. — Давай биться врукопашную. Мы подвинулись один к другому, и я его схватил за плечи, а он меня за горло. Каждый из нас хотел убить или повредить другого, но, надышавшись земляным сором, стесненные навалившейся на нас почвой, мы быстро обессилели от недостатка воздуха, который был нам нужен для частого дыхания в борьбе, и замерли в слабости. Отдышавшись, я потрогал немца — не отдалился ли он от меня, и он меня тоже тронул рукой для проверки. Бой русских с фашистами продолжался вблизи нас, но мы с Рудольфом Вальцем уже не вникали в него; каждый из нас вслушивался в дыхание другого, опасаясь, что тот тайно уползет вдаль, в темную землю, и тогда трудно будет настигнуть его, чтобы убить.

Я старался как можно скорее отдохнуть, отдышаться и пережить слабость своего тела, разбитого ударом воздушной волны; я хотел затем схватить фашиста, дышащего рядом со мной, и прервать руками его жизнь, превозмочь навсегда это странное существо, родившееся где-то далеко, но пришедшее сюда, чтобы погубить меня. Наружная стрельба и шорох земли, оседающей вокруг нас, мешали мне слушать дыхание Рудольфа Вальца, и он мог незаметно для меня удалиться. Я понюхал воздух и понял, что от Вальца пахло не так, как от русского солдата, — от его одежды пахло дезинфекцией — и какой-то чистой, но неживой химией; шинель же русского солдата пахла обычно хлебом и обжитою овчиной. Но и этот немецкий запах Вальца не мог бы помочь мне всё время чувствовать врага, что он здесь, если б он

захотел уйти, потому что, когда лежишь в земле, в ней пахнет еще многим, что рождается и хранится в ней, — и корнями ржи, и тлением отживших трав, и сопревшими семенами, зачавшими новые былинки, — и поэтому химический мертвый запах немецкого солдата растворялся в общем густом дыхании живущей земли.

Тогда я стал разговаривать с немцем, чтобы слышать его.

— Ты зачем сюда пришел? — спросил я у Рудольфа Вальца. — Зачем лежишь в нашей земле?

— Теперь это наша земля. Мы, немцы, организуем здесь вечное счастье, довольство, порядок, пищу и тепло для германского народа, с отчетливой точностью и скоростью ответил Вальц.

— А мы где будем? — спросил я.

Вальц сейчас же ответил мне:

— Русский народ будет убит, — убежденно сказал он. — А кто останется, того мы прогоним в Сибирь, в снега и в лед, а кто смирный будет и признает в Гитлере божьего сына, тот пусть работает на нас всю жизнь и молит себе прощение на могилах германских солдат, пока не умрет, а после смерти мы утилизируем его труп в промышленности и простим его, потому что больше его не будет.

Все это было мне приблизительно известно, в желаниях своих фашисты были отважны, но в бою их тело покрывалось гусиной кожей, и, умирая, они припадали устами к лужам, утоляя сердце, засыхающее от страха… Это я видел сам не однажды.

— Что ты делал в Германии до войны? — спросил я далее у Вальца. И он с готовностью сообщил мне:

— Я был конторщиком кирпичного завода «Альфред Крейцман и сын». А теперь я солдат фюрера, теперь я воин, которому вручена судьба всего мира и спасение человечества.

— В чем же будет спасение человечества? — спросил я у своего врага.

Помолчав, он ответил:

— Это знает один фюрер.

— А ты? — спросил я у лежащего человека.

— Я не знаю ничего, я не должен знать, я меч в руке фюрера, созидающего новый мир на тысячу лет. Он говорил гладко и безошибочно, как граммофонная пластинка, но голос его был равнодушен. И он был спокоен, потому что был освобожден от сознания и от усилия собственной мысли.

Я спросил его еще:

— А ты сам-то уверен, что тогда будет хорошо? А вдруг тебя обманут?

Фашист ответил:

— Вся моя вера, вся моя жизнь принадлежит Гитлеру.

— Если ты все отдал твоему Гитлеру, а сам ничего не думаешь, ничего не знаешь и ничего не чувствуешь, то тебе все равно — что жить, что не жить, — сказал я Рудольфу Вальцу и достал его рукой, чтобы еще раз побиться с ним и одолеть его.

Над нами, — поверх сыпучей земли, в которой мы лежали, началась пушечная канонада. Обхватив один другого, мы с фашистом ворочались в тесном комковатом грунте, давящем нас. Я желал убить Вальца, но мне негде было размахнуться, и, ослабев от своих усилий, я оставил врага; он бормотал мне что-то и бил меня в живот кулаком, но я не чувствовал от этого боли.

Пока мы ворочались в борьбе, мы обмяли вокруг себя сырую землю, и у нас получилась небольшая удобная пещера, похожая и на жилище и на могилу, и я лежал теперь рядом с неприятелем. Артиллерийская пальба наружи вновь переменилась; теперь опять стреляли лишь автоматы и пулеметы; бой, видимо, стоял на месте без решения, он забурился, как говорили красноармейцы-горняки.

Выйти из земли и уползти к своим мне было сейчас невозможно, — только даром будешь подранен или убит. Но и лежать здесь во время боя бесполезно — для меня было совестно и неуместно. Однако под руками у меня был немец, я взял его за ворот, рванул

противника поближе к себе и сказал ему.

— Как же ты посмел воевать с нами? Кто же вы такие есть и отчего вы такие?

Немец не испугался моей силы, потому что я был слаб, но он понял мою серьезность и стал дрожать. Я не отпускал его и держал насильно при себе; он припал ко мне и тихо произнес:

— Я не знаю…

— Говори — все равно! Как это ты не знаешь, раз на свете живешь и нас убивать пришел! Ишь ты, фокусник! Говори, — нас обоих, может, убьет и завалит здесь, — я хочу знать! Бой поверх нас шел с равномерностью неспешной работы: обе стороны терпеливо стреляли; ощупывая одна другую для сокрушительного удара.

— Я не знаю, — повторил Вальц. — Я боюсь. Я вылезу сейчас. Я пойду к своим, а то меня расстреляют: обер-лейтенант скажет, что я спрятался во время боя.

— Ты никуда не пойдешь! — предупредил я Вальца. — Ты у меня в плену!

— Немец в плену бывает временно и короткий срок, а у нас все народы будут в плену вечно! — отчетливо и скоро сообщил мне Вальц — Враждебные народы, берегите и почитайте пленных германских воинов! — воскликнул он вдобавок, точно обращался к тысячам людей.

— Говори, — приказал я немцу, — говори, отчего ты такой непохожий на человека, отчего ты нерусский.

— Я нерусский потому, что рожден для власти и господства под руководством Гитлера! — с прежней быстротой и заученным убеждением пробормотал Вальц; но странное безразличие было в его ровном голосе, будто ему самому не в радость была его вера в будущую победу и в господство надо всем миром. В подземной тьме я не видел лица Рудольфа Вальца, и я подумал, что, может быть, его нет, что мне лишь кажется, что Вальц существует, — на самом же деле он один из тех ненастоящих, выдуманных людей, в которых мы играли в детстве и которых мы воодушевляли своей жизнью, понимая, что они в нашей власти и живут лишь нарочно. Поэтому я приложил свою руку к лицу Вальца, желая проверить его существование; лицо Вальца было теплое, значит, этот человек действительно находился возле меня.

— Это все Гитлер тебя напугал и научил, — сказал я противнику. — А какой же ты сам по себе? Я расслышал, как Вальц вздрогнул и вытянул ноги — строго, как в строю.

— Я не сам по себе, я весь по воле фюрера! — отрапортовал мне Рудольф Вальц.

— А ты бы жил по своей воле, а не фюрера! — сказал я врагу. — И прожил бы ты тогда дома до старости лет, и не лег бы в могилу в русской земле.

— Нельзя, недопустимо, запрещено, карается по закону! — воскликнул немец.

Я не согласился:

— Стало быть, ты что же, — ты ветошка, ты тряпка на ветру, а не человек!

— Не человек! — охотно согласился Вальц. — Человек есть Гитлер, а я нет. Я тот; кем назначит меня быть фюрер!

Бой сразу остановился на поверхности земли, и мы, прислушиваясь к тишине, умолкли. Все стало тихо, будто бившиеся люди разошлись в разные стороны и оставили место боя пустым навсегда. Я насторожился, потому что мне теперь было страшно; прежде я постоянно слышал стрельбу своих пулеметов и винтовок, и я чувствовал себя под землей спокойно, точно стрельба нашей стороны была для меня успокаивающим гулом знакомых, родных голосов. А сейчас эти голоса вдруг сразу умолкли.

Для меня наступила пора пробираться к своим, но прежде следовало истребить врага, которого я держал своей рукой.

— Говори скорей! — сказал я Рудольфу Вальцу. — Мне некогда тут быть с тобой.

Он понял меня, что я должен убить его, и припал ко мне, прильнув лицом к моей груди. И втихомолку, но мгновенно он наложил свои холодные худые руки на мое горло и сжал мне дыхание. Я не привык к такой манере воевать, и мне это не понравилось. Поэтому я ударил немца в подбородок, он отодвинулся от меня и замолк.

— Ты зачем так нахально действуешь! — заявил я врагу. — Ты на войне сейчас, ты должен быть солдатом, а ты хулиганишь. Я сказал тебе, что ты в плену, — значит, ты не уйдешь, и не: царапайся!

— Я обер-лейтенанта боюсь, — прошептал неприятель. — Пусти меня, пусти меня скорей — я в бой пойду, а то обер-лейтенант не поверит мне, он скажет, — я прятался, и велит убить меня. Пусти меня, я семейный. Мне одного русского нужно убить.

Я взял врага рукою за ворот и привлек его к себе обратно.

— А если ты не убьешь русского?

— Убью, — говорил Вальц. — Мне надо убивать, чтобы самому жить. А если я не буду убивать, то меня самого убьют или посадят в тюрьму, а там тоже умрешь от голода и печали, или на каторжную работу осудят — там скоро обессилеешь, состаришься и тоже помрешь.

— Так тебя тремя смертями сзади пугают, чтобы ты одной впереди не боялся, — сказал я Рудольфу Вальцу.

— Три смерти сзади, четвертая смерть впереди! — сосчитал немец. — Четвертой я не хочу, я сам буду убивать, я сам буду жить! — вскричал Вальц.

Он теперь не боялся меня, зная, что я безоружный, как и он.

— Где, где ты будешь жить? — спросил я у врага. — Гитлер гонит тебя вперед страхом трех смертей, чтобы ты не боялся одной четвертой. Долго ли ты проживешь в промежутке между своими тремя смертями и нашей одной?

Вальц молчал; может быть, он задумался. Но я ошибся — он не думал.

— Долго, — сказал он. — Фюрер знает все, он считал — мы вперед убьем русский народ, нам четвертой смерти не будет.

— А если тебе одному она будет? — поставил я вопрос дурному врагу. — Тогда ты как обойдешься?

— Хайль Гитлер! — воскликнул Вальц. — Он не оставит мое семейство: он даст хлеб жене и детям хоть по сто граммов на один рот.

— И ты за сто граммов на едока согласен погибнуть?

— Сто граммов — это тоже можно тихо, экономно жить, — сказал лежачий немец.

— Дурак ты, идиот и холуй, — сообшил я неприятелю. — Ты и детей своих согласен обречь на голод ради Гитлера.

— Я вполне согласен, — охотно и четко сказал Рудольф Вальц. — Мои дети получат тогда вечную благодарность и славу отечества.

— Ты совсем дурной, — сказал я немцу. — целый мир будет кружиться вокруг одного ефрейтора?

— Да, — сказал Вальц, — он будет кружиться, потому что он будет бояться.

— Тебя, что ль? — спросил я врага.

— Меня, — уверенно ответил Вальц.

— Не будет он тебя бояться, — сказал я противнику. — Отчего ты такой мерзкий?

— Потому что фюрер Гитлер теоретически сказал, что человек есть грешник и сволочь от рождения. А как фюрер ошибаться не может, значит, я тоже должен быть сволочью.

Немец вдруг обнял меня и попросил, чтоб я умер.

— Все равно ты будешь убит на войне, — говорил мне Вальц. — Мы вас победим, и вы жить не будете. А у меня трое детей на родине и слепая мать. Я должен быть храбрым на войне, чтоб их там кормили. Мне нужно убить тебя, тогда обер-лейтенант будет доволен и он даст обо мне хорошие сведения. Умри, пожалуйста. Тебе все равно не надо жить, тебе не полагается. У меня есть перочинный нож, мне его подарили, когда я кончил школу, я его берегу… Только давай скорее — я соскучился в России, я хочу в свой святой фатерлянд, я хочу домой в свое семейство, а ты никогда домой не вернешься…

Я молчал; потом я ответил:

— Я не буду помирать за тебя.

— Будешь! — произнес Вальц. — Фюрер сказал: русским — смерть. Как же ты не будешь!

— Не будет нам смерти! — сказал я врагу, и с беспамятством ненависти, возродившей мощность моего сердца, я обхватил и сжал тело Рудольфа Вальца в своих руках. Затем мы в борьбе незаметно миновали сыпучий грунт и вывалились наружу, под свет звезд. Я видел этот свет, но Вальц глядел на них уже неморгающими глазами: он был мертв, и я не запомнил, как умертвил его, в какое время тело Рудольфа Вальца стало неодушевленным. Мы оба лежали, точно свалившись в пропасть с великой горы, пролетев страшное пространство высоты молча и без сознания.

Маленький комар-полуночник сел на лоб покойника и начал помаленьку сосать человека. Мне это доставило удовлетворение, потому что у комара больше души и разума, чем в Рудольфе Вальце — живом или мертвом, все равно; комар живет своим усилием и своей мыслью, сколь бы она ни была ничтожна у него, — у комара нет Гитлера, и он не позволяет ему быть. Я понимал, что и комар, и червь, и любая былинка — это более одухотворенные, полезные и добрые существа, чем только что существовавший живой Рудольф Вальц. Поэтому пусть эти существа пережуют, иссосут и раскрошат фашиста: они совершат работу одушевления мира своей кроткой жизнью.

Но я, русский советский солдат, был первой и решающей силой, которая остановила движение смерти в мире; я сам стал смертью для своего неодушевленного врага и обратил его в труп, чтобы силы живой природы размололи его тело в прах, чтобы едкий гной его существа пропитался в землю, очистился там, осветился и стал обычной влагой, орошающей корни травы.

Крестьянин Ягафар

Он был самым старым человеком в районе, а может быть, и во всей Башкирии, и его звали всего чаще не по имени — Ягафар, а по старости — бабаем, что означает по-башкирски дедушка, старик.

От старости лет с бабая сошли все волосы — и с головы, и с лица, и он стал голым, мягким и нежным на вид, как младенец.

— Волосы ушли с меня, — говорил бабай. — Им надоело жить на мне: я ведь давно родился. Пусть ушли, я по ним не скучаю, пустое лицо мне легче носить.

И бабай смеялся пустым, жалким, но веселым лицом, из которого светились свежие, думающие глаза, все еще не уставшие смотреть на свет и искать своего счастья в нем. Он столько пережил за долгий век, и худого и доброго, что худого давно перестал бояться, а доброму сразу не верил.

Всемирной войны бабай тоже не испугался: он давно чувствовал, что где-то посредине земли зреет смертное зло, и теперь оно вышло наружу, в войну, как и должно быть. Бабай чувствовал нарастающее всемирное зло по людям, по томлению их мысли, по содроганию их тихих сердец, все более скупо берегущих свое счастье, свое семейство и свою родную землю — все, что будет скоро удалено от них и страдать отдельно в бедствии. Бабай чувствовал это по людям, подобно тому как можно угадать перемену погоды по небу.

После наступления войны бабай даже обрадовался, потому что до войны зло было далеко и скрытно, а теперь настала пора уничтожить его вблизи, в жизни, чтобы люди больше не боялись жить на свете, чтобы они не томились больше в разлуке с родными, не горевали от разорения своих дворов, не мучались голодом и увечьем, — чтоб отошла от них тоска, непосильная для человеческого сердца. Теперь настало это время, и бабай обрел надежду, что эта пора минует и тогда будет счастье.

Он пошел в гости по дворам, желая быть вместе с народом в такое время; дома у него была одна жена-старуха, все мысли и слова которой он знал вперед на будущее до самого конца ее жизни, и потому ему нужны были другие люди.

В гостях бабай пил кипяток с молоком, десять чашек в одной избе, восемь — в другой, беседовал и согревался. Ямаул — большое село, там есть где побывать на людях, посмотреть на их жизнь и на время, для отдыха, забыть о своих заботах.

Крестьяне, которые были помоложе бабая, собирались на войну и постепенно уходили из села — кто навеки, а кто на время, до возвращения после победы. Бабай провожал их, прощался с ними, горевал им вослед вместе с их родными, и совесть мучила его сердце.

— А я-то что ж! — шептал он себе. — Я, значит, бабай — в колхозе кур остался щупать. Или вправду жизнь моя прошла?

Опечаленный, он спросил у своей жены:

— Старуха, осталась во мне сила еще или нет ничего? Жена жила с ним вместе полвека, пятьдесят второй год, и она должна знать, что осталось в ее старике, а что унесла из него жизнь.

— Сам живешь, сам мучаешься, значит, силу свою чувствуешь, — сказала бабаю жена, — без силы человек не живет. А ты еще серчаешь на зло, а кто серчает на него, у того сердце твердое, хорошее, тот, знать, не скоро помрет.

Бабай послушал жену и подумал, что она говорит ему правду. В гостях же ему говорили, что его жизнь теперь в том, чтобы собираться на тот свет, поближе к Магомету. А жена, с которой ему скучно было разговаривать, сказала ему то, чего другие люди не умели сказать, потому что они не знали и не любили его так, как знала его старая жена.

— А на войну я гожусь? — спросил у жены бабай. — Пойду убью одного врага и потом доволен буду.

Старуха поглядела на своего старика как на малознакомого человека.

— На войну ты не годишься, — сказала жена. — У тебя кость от старости жесткая, ты сразу, как побежишь на врага твоего, споткнешься и сломаешься. На войну нужны люди хрящеватые — чтоб его тронули, поувечили, а он опять сросся и опять живой. А ты теперь ломкий.

Тут бабай подумал о себе, ломкий он или нет, а жена ему сказала еще:

— Куда тебе ходить, живи со мной на деревне. Чего тебе война: на войне сила тратится, а в деревне она рождается. Тут тоже забота будет, даром не проживешь.

Старый бабай опомнился и понял, что жена ему опять правду сказала — народная сила рождается в деревенской материнской земле, и войско народа питается от земли, распаханной руками крестьян, согретой солнцем и орошенной дождем.

Чтобы послушать о войне слова дальних людей и напиться чаю в буфете, бабай отправился на железнодорожную станцию. Там ехали в вагонах войска, отправляясь против неприятеля на войну, а со стороны войны ехали разные люди, чтобы работать и жить в покойных местах, где нет стрельбы и опасности умереть.

Бабай разговорился с одним пожилым человеком, ехавшим со стороны войны. Человек этот оказался Петром Федоровичем Беспаловым. Он был слесарем-электромехаником, но машины его завода увезли куда-то за Урал, а помещение завода сожгли немцы, и теперь Беспалов не знал, куда ему надо ехать и где остановиться.

— Да я не горюю, — сказал Беспалов старому башкирцу. — Работы везде много, а родина у нас везде наша.

— Правду говоришь, — сказал Беспалову бабай.

— Продай табаку, — попросил Беспалов. — Есть у тебя?

— Есть немного, маленько.

— Сколько тебе платить? — спросил Беспалов.

Бабай подумал: война еще долго будет, табаку мало останется, и штаны постареют, их чинить придется.

— Давай рубль денег и ниток катушку, — сказал бабай.

— Ты что нервный такой? — спросил у него Беспалов.

— Это не я, — сказал бабай. — Это в Уфе нервные: когда еще война в Абиссинии была, в Уфе лук подорожал. Вот там нервные!..

Беспалов поглядел на старика глазами, которые сразу стали у него и сердитыми и печальными.

— Хватит тебе одного рубля, — сказал он тихо и подал бабаю деньги, больше не желая

говорить и торговаться и считая расчет окончательным.

Бабай увидел деньги, одну бумажку, и сначала захохотал, что этот человек не понимает, что сейчас война и что потом будет — какая цена, ничего не известно, а затем умолк, потому что Беспалов не улыбался и глядел на него чуждо и равнодушно, как на плохого человека. И старику понравился Беспалов, потому что старик бабай понял, что он сейчас был плохим человеком: он давно жил и не боялся думать о себе плохо, когда был плохим.

Бабай отдал табак Беспалову вместе с кисетом.

— Бери, — сказал он. — Я люблю, что меня смешит. Ты меня рассмешил, теперь табак твой. Я старый Ягафар и понимаю человека. Пойдем ко мне в гости в колхоз! Там у нас дело — забота есть.

Теперь Беспалов глядел на бабая простыми, счастливыми глазами. Он не взял табак у старика; он сказал, что они вместе его будут курить.

— Какая у вас там забота? — спросил Беспалов.

— Война пошла, хороший, умелый человек на войну поехал, — ответил старик, — в деревне кто останется? Что войско и народ кушать будут?.. Я живу, а сам думаю, я все думаю. Я, что ль, буду в колхозе генерал? — засмеялся бабай.

— Придется — и ты генералом будешь, — сказал Беспалов. — У вас там пища какая-нибудь зимой-то все ж таки производится? — спросил Беспалов.

Бабай замер от удивления, что такой глупый человек, как Беспалов, есть на свете и целым живет. Он же читал и верил, что рабочий класс — это умные люди. Но бабай все-таки опять позвал Беспалова к себе в гости: пусть в деревне и дурак живет, чтоб не скучно было жить другим.

Беспалов подумал немного и пошел в гости к бабаю. Он взял только из вагона свой сундучок, окованный железом, и они пошли в колхоз.

В колхозе бабай повел Беспалова на молочную ферму. Там был сарай, устроенный из плетней, обмазанных глиной, и покрытый обветшалой соломенной кровлей. В том сарае всю осень, зиму и весну жили коровы; они и теперь там находились, потому что время года шло в глубокую осень и поля более не рожали травы.

От плетневых стен фермы отвалилась глина, и ветер сквозь щели дул снаружи в худые кости коров и остужал их теплые, добрые тела. Беспалов потрогал коров своей большой рукой, погладил их и отошел. Но возле одной коровы он вновь остановился и долго глядел на животное, и корова в ответ смотрела на него грустно и осмысленно. Корова эта стояла поперек своего места, прислонившись боком к плетневой стене, загородив от стужи другую корову, послабее и помоложе на вид, которая стояла тут же, уткнувшись мордой в теплое вымя старой коровы.

— Мать с дочкой, — сказал бабай. — Дочка выросла, а дурная; от матери не отвыкла.

— Зачем ей отвыкать, — сказал Беспалов, — у нее мать хорошая, она дитя свое от ветра бережет.

— Правда твоя, — согласился бабай.

— А вы молоко свое не бережете, — сказал еще Беспалов, — его холод из коров выдувает…

— Правда твоя, — понял бабай. — У нас догадка в голове не держится: поработал мало-мало закону, и в гости пора — кипяток пить.

Потом бабай показал Беспалову колхозную мельницу и электрическую станцию. Мельница нынче стояла — с нефтяного склада не привезли топлива для двигателя, который вертел мельничный жернов.

— Война пошла, — сказал бабай, — нефти мало дают, на нефти летать нужно.

— У вас ветра много, зачем вам нефть, — указал в ответ Беспалов. — Раньше-то была у вас ветряная мельница?

— Как же, была, — охотно сообщил старик. — Она и теперь стоит на том краю деревни, пауки там в помещении живут. Чего делать на ней! Дай сюда нефти, тут работают

хорошо, скоро, и свет в колхозе горит. А там и жернова давно нету…

— Ты старый человек, а глупарь! — сердито и неохотно сказал Беспалов.

— Глупарь! — воскликнул бабай и засмеялся: он еще не слышал такого слова, а он любил слышать неслышанное и видеть невиданное.

Мимо колхозного птичника старик прошел молча: Беспалов увидел только, как стояли на птичьем дворе нахохлившиеся, озябшие куры и спал, зажмурив глаза, молчаливый петух.

— Несутся куры у вас? — спросил Беспалов.

— На дворе прохладно стало, куриная пора прошла, — ответил бабай. — Нет, теперь мало будет яичек.

— Ишь ты! — удивился Беспалов. — Все у вас на нет идет.

— На нет идет! — согласился бабай.

Они вышли снова за околицу, потому что так ближе было идти в избу к бабаю, и увидели небольшое поле с несжатым хлебом. Ветелки ранее густого проса теперь опустели, отощали, иные легко и бесшумно шевелились на ветру, а зерно их обратно пало в землю, и там оно бесплодно сопреет или остынет насмерть, напрасно родившись на свет. Беспалов остановился у этого умершего хлеба, осторожно потрогал один пустой стебель, склонился к нему и прошептал ему что-то, словно тот был маленький человек или товарищ.

— Люди-то у вас где же были? — спросил Беспалов у бабая, не обернувшись к нему.

— Люди тут были, товарищ, — ответил старик, оробев вдруг и застыдившись.

— Это ты виноват, — произнес Беспалов. — Ты — старик, ты знаешь порядок — чего глядел?

— Правда твоя, — сказал бабай, — я старик, я виноват, чего глядел. Людей люблю, в гости ходил — я виноват.

И бабай зажмурился от крестьянского стыда, чтобы не видеть перед собой мертвый хлеб, павший в холодную землю.

В избе своей бабай накормил гостя мясными щами и кашей и напоил его чаем с молоком; но гость ел мало, точно он жалел тратить на себя сытное добро, а себя не жалел. Старая жена бабая с уважением смотрела на гостя, как на желанного человека. Ей по душе была его бережливость в еде, потому что этим гость жалел их крестьянский труд, но в то же время ей не нравилось, что гость мало ест, и она упрашивала его есть больше и обижалась, что он не хочет.

Беспалов переночевал у бабая, а наутро чисто прибрал за собой постель, вытер сырость на полу от башмаков и ушел неслышно, ничего не оставив после себя — ни следа, ни соринки, будто его никогда не было в этой избе.

Бабай как проснулся, так сразу же заскучал по своему ушедшему гостю. Он вышел на крыльцо, чтобы поглядеть, не тут ли Беспалов где-либо во дворе; потом обошел деревню и вышел за околицу, на дорогу к станции, но нигде не видно было Беспалова. И старик почувствовал грусть об ушедшем госте, словно его веселое сердце стало вдруг пустым.

«Ничего, он в другом месте сейчас живет; он цел все-таки, пусть живым будет», — подумал бабай и опять повеселел.

Старик отправился на молочную ферму, там был он вчера с Беспаловым. Знакомые добрые коровы по-прежнему находились там и зябли от осеннего ветра, дувшего с обмерших от холода полей.

— Правду сказал Беспалов, — понял бабай, — скотину теперь холодный ветер доит, а доярки остатки берут. Хорошему человеку от ветра тоже обедать два раза нужно: он остужается…

В память друга и для пользы хозяйству бабай пошел в овраг, нарыл там глины в пещере, а потом размешал ее в кадке и подбавил туда немного навозу, чтоб получилось вяжущее тесто. Затем старый Ягафар до самого вечера замазывал наглухо щели и прорехи в плетневой огороже коровника, а после работы он постоял еще среди коров; теперь в помещении стало тихо, ветер не входил туда и не выдувал из коров тепло их жизни. Коровы молча смотрели на бабая. Старый человек погладил ближнюю матку, ту самую, которую

гладил и Беспалов.

— Мою работу молоком отдашь, — сказал ей бабай, — пускай его красноармейцы с кашей едят.

На второй день Ягафар наточил косу и скосил вручную несжатую полосу погибшего проса. Он решил, что раз хлеб умер, надо хоть полову от него взять: сейчас идет война, зима долгая будет, годится и полова, хоть на крышу для тепла годится.

Старая жена Ягафара радовалась на своего старика.

— Ты добрый стал, — говорила она, — у тебя к нужде и народу сердце теперь прилегло. Ты опомнился теперь. А то вы все на солнце, на дождь да на бабу надеялись. Солнце погреет, дождь помочит, земля родит, а баба хлеб испечет, а вам останется в гости ходить да разговор балакать.

— Баба немного правду говорит, — рассудил бабай. — Лучше надо было жить, да я не успел жить хорошо — стариком стал. Айда, успею еще, пока не помер!

Он вышел поутру на улицу и увидел председателя колхоза, который шел куда-то, похудевший от заботы.

— Чего скучаешь? — спросил его бабай. — Жизнь плохая стала?

— Жизнь ничего, — сказал председатель. — Хлеб остался у молотилки, а домолотить его нечем. Машиной нельзя — нефти нет, лошадьми трудно — лошади лес возят на постройку завода, там для войны скоро нужно.

Председатель стоял и думал, и бабай тоже думал, давая волю своей мысли, — пусть она сама вспомнит и скажет ему. как тут нужно быть.

Старая ветряная мельница скрипела от ветра. Бабай поглядел туда, крылья ветряка покачивались, в них была сила, но вертеться они не могли, потому что одно крыло было привязано цепью за кол, вбитый в землю. Та мельница уже давно стояла холостая, она только ветшала от времени и погоды, была приютом для птиц.

— Пускай нам ветер хлеб молотит, — сказал бабай председателю. — Ты собери народ, мы молотилку туда своей силой перевезем. Я тебе с плотником привод налажу от мельничного вала на молотильную машину, а снопы со старого тока пускай хоть вол да две коровы подвезут, там их не большая гора, маленькая.

Председатель записал себе в книжку это мероприятие и согласился. Но пока бабай с плотником ладили привод, пока возили хлеб к машине, ветер обратился в тишину. Однако на другой день ветер поднялся на Уральских горах и подул в Ямауле, и за четыре дня без малого весь хлеб был обмолочен. Хоть старый ветряк молотил много тише, чем нефтяной двигатель или трактор, все же вышло скоро, и ветер ничего не потребовал за работу — только Ягафар смазал дегтем цевки в деревянных мельничных шестернях.

После работы народ ушел по избам, а бабай остался. На порушенные колосья пшеницы исподволь — по одному, по два, по четыре — без суеты, но с разумной скоростью налетали воробьи и большим народом насели на уже опустошенный хлеб, чтобы найти в нем свое пропитание. Тут были и свои, постоянные воробьи, внутриколхозного жительства, которых бабай уже признал, и посторонние, из дальних мест, а затем прибыли певчие птицы — щеглы и синицы.

«Разве они все глупые? — подумал Ягафар. — Если бы они были глупые, они бы не пропитались».

Он пошел по колосьям среди хлопочущих, клюющих птиц, причем один воробей, как послышалось бабаю, злобно пробормотал что-то на человека за помеху, но бабай отогнал прочь сердитого воробья и поднял колос. В этом колосе Ягафар сосчитал два остаточных зерна. Тогда он взял еще колосьев и в каждом нашел немного хлеба — в ином одно зерно, в ином четыре, и только изредка ничего не было.

Бабай поглядел на небо; были поздние сумерки, но небо очищалось ветром от дневных облаков, а ночью землю должен осветить месяц. Птицы, однако, не боялись близкой ночи и яростно кормились.

«У коров учился, теперь у воробьев буду учиться, — сообразил старый Ягафар. — У

всех надо!.. У себя только забыл учиться — у своего сердца забыл, но я помню — оно у меня помаленьку болит: это чтоб я не забыл, как надо жить, а как не надо». Он надел приводной ремень на шкив молотилки, и машина пошла в ход от ветра. Бабай взял грабли и подгреб хлеб к подаче на барабан. Хоть одному было трудиться несподручно и неспоро, но Ягафар решил все равно работать, потому что так легче было для его сердца чувствовать себя. По старости лет он не мог вручную и единолично вонзить штык в живое туловище врага, но он желал, чтобы тот красноармеец, которому поручен этот штык, постоянно имел полный живот хлеба и каши и чтобы этот крестьянский хлеб превращался в красноармейскую силу и в смерть мучителя-врага.

Бабай молотил пшеницу в сумерках, а потом и при луне, до самой полуночи, пока не утих ветер и не ослабел ход машины; тогда Ягафар сосчитал намолоченное зерно на глаз и увидел, что он наработал второй молотьбой уже однажды смолотого хлеба пудов десять. Это было не много, все же достаточно и полезно. Упрятав хлеб в мешки от хищных воробьев, старик пошел на ночлег.

В избе своей бабай застал председателя колхоза. Жена Ягафара угощала его чаем с блинами и загодя уже тосковала по нем, как по сыну: председатель уходил на войну. Он был еще молодой человек, и ему настала пора идти воевать.

— Я без него справлюсь, — сказал Ягафар. — Война сейчас тоже нужна, пусть он туда идет… Мы тут и без печей не окоченеем, а от врагов к нам смерть идет…

— Ишь ты умный, — ответила жена, — а я глупая! Не мне с тобой печь нужна, а в курятник, на птицеферму эту. Стало б там тепло, так куры и в зиму бы неслись, и не я бы с тобой яички кушала, а ему же на войну их послали бы!

Тут Ягафар осерчал и крикнул на жену. Он и сам знал, что в колхозном курятнике нужно печь сложить, у него у самого уже была про то догадка, только он не успел сказать свою мысль.

— Ишь ты наука какая: печки, — рассердился бабай. — Я готовую погляжу да по готовой и новую сделаю.

Но председатель остерег Ягафара.

— Печки, Ягафар, дело великое! — сказал он. — У нас зима долгая: как без печки жить! Ты сделаешь печку такую, что воз соломы сожжешь — и прохладно будет, а умелый человек сложит тебе свою — и от снопа жарко!..

Ягафар одумался: может, это и правда.

— Давай завтра в курятнике печи класть, — порешил он. — Пускай куры и зимой в тепле несутся: теперь харчей на войну много надо. Видать, нам лета одного мало, зимой тоже нужно пищу делать.

И бабай вспомнил здесь Беспалова. Тот тоже думал, что зимой можно рожать пропитание, вдобавок к летнему хлебу, а бабай посчитал его тогда глупым дураком.

Утром Ягафар и председатель начали класть печь в колхозном курятнике, а к ночи сложили ее и оставили на сушку.

Председатель, а вскоре за ним и другие сильные крестьяне — все ушли па войну, и бабай стал в колхозе председателем. Бабай хоть и ко всему привык за долгую жизнь, однако любил почетные, высшие звания и теперь молча утешался тем, что он председатель. Он полагал, что по военному времени это звание равнялось генералу, который командует всей рожающей силой земли, кормящей армию и согревающей ее.

По зимнему времени бабай решил сажать и растить овощи в теплице. Теплица в колхозе была большая, световые рамы были исправные, только тепла там не хватало. Ягафар рассудил, что жечь солому в теплице — это убыточно, а дров заготовить — лошадей и людей много надо.

«А чем-нибудь можно топить! — задумался старик. — Что-нибудь есть на свете, из чего тепло можно занять, только один я не знаю: голова моя бедна!»

Он оглядел небо и землю, но там теперь повсюду дул холодный, нелюдимый ветер ранней зимы. Если б откуда-нибудь тепло можно было даром добыть, тогда бы и зимой в

колхозе ручьем и потоком рожалось молоко, а куры клали яйца и тучный овощ произрастал в обогретой почве. Один хлеб лишь расти зимой не будет, но и хлеб можно родить — не от земли, так от скупости: пусть ни одно зерно не склюет птица, не поест мышь, не тронет порча и не растопит, не просыплет мимо рта труженик-едок, а лодырь совсем не будет жевать. И тогда старый хлеб даст новый урожай.

Воротившись в избу ночевать, бабай спросил у жены:

— Как быть, старуха?.. Мы б и зимой дали с нашего колхоза хлебную поставку — не хлебом, так молоком, яйцом и овощем, да боюсь, тепла недостанет…

— А ты подумай, ты опомнись, ты сердцем расположись, — сказала жена, — может, и узнаешь, как тебе быть.

— Сам от себя я ничего не узнаю, у меня голова мала, — загоревал Ягафар. — А в деревне спросить не у кого: я тут самый ученый остался!.. Хоть бы человек явился к нам: пусть гость, пусть разбойник, я бы спросил у пего.

Сказав это, бабай вздохнул и лег спать. Но среди ночи он проснулся, потому что жена отворила дверь неизвестному гостю. Засветив свет, Ягафар увидел, что это пришел Беспалов.

— Здравствуй, генерал Бабай! — произнес гость. Ягафар поднялся навстречу хорошему человеку.

— Здравствуй, товарищ Беспалов… Иди к нам в деревню скорей, пожалуйста! Садись сюда, нам думать с тобой надо… Как там война идет, долго еще будет или мало-мало и — конец?

— Война до последнего хлеба будет, бабай, — ответил Беспалов. Он поставил свой сундук возле двери и сел на пол, чтобы переобуть ноги.

— До последнего хлеба! — в размышлении сказал Ягафар. — А у нас не будет последнего хлеба, у нас всегда запас в остатке будет…

— Тогда мы победим, — сказал Беспалов. — Надо, чтобы пока старый хлеб в запасе еще лежит, а уж новый ему на подмогу рос…

— Надо, надо, — согласился Ягафар. — Нам все надо, и нам все мало будет, это правда твоя. Нам теперь тепло надо, тогда мы и зимой в колхозе будем овощ растить, курица яйцо будет нести, корова молока много даст…

— Это все тоже хлеб, — сказал Беспалов.

— Тоже хлеб, — рассудил бабай. — Лодырю и жулику хлеба не давать — нам тоже будет урожай…

Старуха бабая развела огонь на печной загнетке и поставила воду в горшке.

Ягафар оделся, чтобы приветливо встретить гостя, накормить его и напоить кипятком.

Но Беспалов отказался от угощения.

— Некогда, — сказал он, — день и ночь идет война, день и ночь надо работать. Пойдем со мной, бабай!

Беспалов взял свой сундучок и пошел наружу, и Ягафар отправился вслед за ним.

Они прибыли на колхозную электрическую станцию. Там Ягафар зажег фонарь «летучая мышь», а Беспалов достал инструмент из своего сундучка и начал раскреплять динамо-машину от фундамента.

На рассвете Беспалов и Ягафар погрузили машину в сани и своей силой отвезли груз на старую ветряную мельницу.

На ветряной мельнице Беспалов остался работать один, а Ягафару он велел заботиться по колхозному хозяйству.

Сначала Беспалов установил на старых брусьях динамо-машину и наладил привод на нее от вала ветряка. Потом он пошел на бывшую электрическую станцию, чтобы снять оттуда провода и устроить передачу тока от ветряной мельницы в общую сельскую сеть.

До вечера трудился Беспалов, а на другой день с утра он собрал по колхозу триста двадцать электрических ламп и приноровил их, чтобы они работали теперь для обогревания. Для этого Беспалов установил их рядами в деревянных ящиках, а в каждом ящике он устроил отверстия для входа холодного и выхода теплого воздуха. Два ящика, по шестьдесят ламп в

одном ящике, Беспалов поместил в коровнике, а еще сто ламп он заключил в два других ящика и поместил их в курятнике; последние же сто ламп он установил на одной доске в теплице, не покрыв их ящиком, потому что свет наравне с теплом не вреден для овощей.

Ягафар был доволен, но сам Беспалов чувствовал сомнение — хватит ли ветра, ветер хотя и часто дует в Ямауле, однако не вечно. Беспалов боялся, что будет много тихих морозных дней.

Тогда Ягафар вспомнил свою жизнь и погоду за полвека и сказал Беспалову.

— Тихого мороза не будет. Его мало будет. У нас ветры н бураны всю жизнь дуют, мы тут посреди земли живем: ветру кругом просторно. А тихо будет — мы печи затопим.

Беспалов ушел пускать в ход ветряк и электрическую машину, а Ягафар сел в коровнике возле ящика, в котором были лампы, положил руки на отверстия ящика и стал ожидать — пойдет оттуда тепло или его не будет?

Он сидел долго в ожидании, ветер на дворе дул со слабой силой, и Ягафару казалось, что никогда не может нз холодного ветра родиться тепло.

Бабай вздохнул с огорчением, что редко сбываются надежды человека, а затем улыбнулся, потому что ладони его рук почувствовали жаркое тепло, начавшее палить из ящика.

Бабай заглянул в отверстие ящика, увидел в нем сияющий дрожащий свет и захохотал от радости.

— Ты дурак, бабай, — сказал он в поучение самому себе. — Солнце гоняет ветер по земле, — значит, в нем сила солнца есть. Из ветра обратно можно тепло брать, — значит, можно зимой овощ рожать, яйцо, молоко и масло много давать… Я тут буду глядеть, чтобы у нас не дошло до последнего хлеба, я тоже буду мало-мало красноармеец по хлебному делу!

Старый человек Никодим

В северном хвойном лесу на большой пустоши издавна живет одна деревня по имени Тихие Березы. В этой деревне всего восемнадцать дворов, а девятнадцатая изба стоит вовсе без двора. В той последней, девятнадцатой избе жил одинокий старый человек Никодим Васильев Рыбушкин; хозяйства у него в деревне не было, потому что Никодим Васильев жил на пенсии, которую он получал за свою беспорочную службу на железной дороге. На железной дороге Никодим Васильев прослужил путевым обходчиком сорок семь лет, а года четыре тому назад вышел на покой, в отставку по старости лет.

Из хозяйства кроме избы у Никодима была только одна корова. Он завел ее не столько ради пользы, сколько ради того, чтоб не скучно было вековать одному и чтоб в его жизни тоже была забота о ком-нибудь, как будто он живет в семействе. Корову старика прозвали на деревне Боевой Подругой, и хозяин тоже признал за ней это имя и привык к нему.

Избушка Никодима имела внутри одну горницу — по четыре шага каждая сторона — и печку-печурку посреди, а дверь из горницы отворялась прямо наружу, во весь свет, без сеней; на земле избушка стояла на четырех колодах, а для тепла в подполье была насыпана сухая листва.

С вечера старик обыкновенно запирал свою корову на ночь в сарай к соседу, сам же садился на пенек возле жилища, курил трубку и наблюдал, как проходит жизнь на Деревенской улице и утихает постепенно во сне.

Во время войны с врагами немцами Никодим Васильев засиживался у избы до самой полуночи; он слушал, как во тьме летали аэропланы над лесами и бросали туда бомбы, так что и земля и вековые деревья с мучением вырывались прочь и рушились обратно мертвыми.

Четыре ночи старый Никодим глядел на это убийство, а потом ему жалко стало земли и деревьев, и он пошел на рассвете дознаться, в кого там мечут бомбы злодеи. Старик знал окрестный лес, но уж стал забывать его знакомые места. Он редко теперь отходил от своей избы, только за грибами по лесу бродил, и то поблизости от деревни. Его дело было уже старое: летом возле избы сидеть, а по зимам спать в тепле.

Однако тут старый Никодим отправился. Долго он шел, обходя ямы, вырытые бомбами, и порушенные деревья, пока не увидел пустошь, которой прежде не было. Лес, должно быть, свели тут недавно. А теперь на пустоши стояли наружи два наших новых аэроплана, другие же аэропланы были незаметно схоронены по лесной опушке и укрыты ветвями.

В сумраке меж деревьями стояли еще строения, и в них гудели машины на работе. Старик постоял на месте, но не пошел туда близко… «Я человек тут посторонний, — подумал Никодим Васильев, — скажут еще, что я шпион, а я — наоборот».

Но он сообразил теперь, в кого хотели немцы попасть бомбами; только они не попадали.

— И сроду не попадете! — сказал вслух Никодим Васильев. Я вас отважу. Вы нас бомбами, а я вас разуменьем.

Старик пошел назад дальним путем, через старые, давно раскорчеванные пустоши, и вернулся к своей избе. В избе он взял топор и начал обтесывать концы венцов, выходящие из-под четырех углов избы наружу.

Затем он попросил у соседа четыре старых тележных колеса и надел их на обтесанные концы венцов, как на осевые шейки, и вдел в расщепы чеки, закрепив их лыковыми петлями. К вечеру он сладил деревянное ярмо и приготовил веревочную упряжь.

Обождав, когда его Боевая Подруга возвратилась из стада, Никодим обласкал ее возле избы и подоил, а в сарай к соседу не повел. Как только смерклось и потемнело, старый Никодим запряг корову в ярмо и велел ей трогаться вперед, а сам уперся в избу сзади — на помощь Боевой Подруге. Изба трудно сволоклась с сухой листвы и дальше поехала много легче.

Старик вышел к Боевой Подруге и повел ее вместе с избой на колесах старой просекой по мякоти земли в темную глубь леса.

Отъехав подалее от деревни, Никодим остановил корову на просторной ягодной поляне.

— Тут буду! — сказал старик; он выпряг Боевую Подругу из ярма и отвел ее в лес на ночное пастбище.

Возле избы Никодим развел небольшой костер и стал ожидать врага. Когда враг загудел в небе, старик ушел в лес и услышал оттуда, как сверху с воем понеслась вниз бомба и метнула землю с черным огнем обратно в небо.

Удар был не очень могучий, из чего Никодим решил, что враги скупы на большие бомбы, и осерчал на них. Он воротился к избе; из нее только выбросило вон две оконные рамы и дверь, а сама она осталась целой как есть. Старик сызнова развел костер, потушенный ветром от бомбы, и стал слушать небо. Он хотел, чтобы все свои бомбы злодеи потратили впустую на его избушку, как на приманку, а на наши самолеты и постройки в лесу, чтобы ничего не упало. Но враги гудели где-то вдалеке, а сюда поближе более не прилетали.

— Ну ладно, — сказал старый Никодим. — Я еще подумаю. Так вы от меня не отделаетесь.

Наутро Никодим Васильев пошел в деревню Заборье, где находилась база райпотребсоюза. В том райпотребсоюзе он сказал, что в Тихих Березах вылетели ночью все стекла в избах: нужна, стало быть, хоть фанера. Старика знали в райпотребсоюзе, и ему отпустили двадцать листов фанеры, но велели потом принести требование от уполномоченного сельсовета.

Никодим Васильев обвязал фанеру лыком и поволок ее к своей избе.

Весь остаточный день и всю ночь при луне старый человек пилил лучковой пилой и вырубил топором из фанеры большие фигуры. Иногда он останавливался работать, соображал, измерял фанеру бечевой, а потом снова пилил и подрубал. На рассвете старик поспал, потом проснулся, обрядил корову, которая беспокоилась и мычала в одиночестве, и снова начал работать.

Под вечер Никодим прикрепил в тесовой крыше своей избы добавочные фанерные крылья и хвост. Он поделал сам деревянные гвозди и их употреблял в дело, потому что железных у него не было. Рядом с избой, но все же подалее от нее, старый

Никодим постелил на траву две фанерные фигуры аэропланов. Сверху должно было казаться, что на земле находится большое военное воздушное хозяйство.

— Ну что ж, теперь хорошо! — решил Никодим. — Теперь обождем ночного времени.

Ночью старый Никодим сидел в ожидании возле своего хозяйства и курил трубку. Фанера его ясным серебром блестела на лунном свете.

— Теперь ты попадешься: все бомбы будут тут! — радовался старик.

Чтобы фанера не очень блестела и враги не разгадали обмана, Никодим посыпал ее немного травой.

Услышав далекий гул самолетов, старик ушел в лес к Боевой Подруге. Корова стонала от тоски, но хозяин поговорил с ней, приласкал ее, и она умолкла. Успокоившись, корова легла на землю, и Никодим Васильев заметил, что она вся дрожит.

— Не бойся, мы с тобой уцелеем! — говорил ей старик. — Что ты? Это они дураки, а мы с тобой нет?

Вдруг тугой воздух ударил в них, и в старого Никодима и в его Боевую Подругу. Они задохнулись в нем, старик свалился на корову, и оба они обмерли.

Очнулся Никодим уже в тишине. Ночь все еще продолжалась, и луна светила. Старик пошел к избе, на поляну. Изба теперь лежала на боку, но сруб ее был старинной прочной вязки и не развалился. Фанерные фигуры самолетов были отброшены вдаль, однако остались в целости. Вокруг же своего хозяйства Никодим сосчитал на поляне пять больших воронок, двенадцать малых и тридцать четыре дерева, вырванных с корнем, не считая тех, которые устояли, а были только ободраны взрывным воздухом.

— Вот теперь хорошо! — обрадовался старый человек. — Теперь ты, злодей, в убытке…

Приладив вагу, Никодим поставил избу, как она должна стоять, и починил у нее оси и колеса, чтоб она могла ехать далее.

Вскоре, собрав все свое фанерное имущество, старик снова запряг Боевую Подругу в ярмо и поволок свое жилище в лесную сторону.

Никодим сообразил, что тут ему дольше оставаться не дело: немцы могут угадать его хитрость.

На полдень он прибыл с избой и коровой в глухую пустошь, где редко кто бывал из деревенских, и там расположился по-прежнему, разложив, однако, фанерные фигуры далеко порознь одну от другой. Устроив все, как следует по хитрости, Никодим ушел со своей коровой-подругой в гущу леса, чтобы схорониться там на ночь от смерти.

Ночью старик и корова услышали лишь два удара бомб, но весь лес зашелестел от ветра и долго еще шевелился, хотя погода была тихая, как во сне.

Утром старик пришел с коровой на место, где была травяная пустошь. Там теперь ничего не было — ни избы, ни фанерных фигур, — была только одна вырытая порожняя пропасть, а вокруг нее поваленный и обглоданный взрывом лес и прах, развеянный из пропасти. Среди того праха покоились, должно быть, и остатки избушки Никодима.

Старик поглядел на эту разоренную землю и произнес:

— Это ничто: порушенную землю водой и ветром затянет, а избу я новую сложу!

Он погладил корову и повел ее за собою на деревню в Тихие Березы.

На выходе из леса старик и корова встретили русского летчика.

— Здравствуй, дедушка! — сказал летчик.

— Здравствуй, сынок! — ответил Никодим Васильев.

Летчик улыбнулся.

— Это ты там один воевал с немцами… Мы наблюдали за тобой. А я в деревню приходил — спросить про тебя, кто ты есть такой, меня командир послал.

— Да я житель — старик, — сказал Никодим Васильев. — а чего ж вы-то не летали им

навстречу из леса?

— Мы-то? — подумал летчик. — А мы не летчики, мы воздушные инженеры, мы машины чиним, у нас мастерские…

— Вон оно как! — произнес старый Никодим. — То-то я гляжу… Ну ладно — чините спокойно, я опять избу сложу и сызнова поеду немцев на пустое место манить.

— А не боишься, что бомба тебе по голове попадет?

— Едва ли… А попадет — так я же человек ветхий, мне уж пора ко двору — в землю.

Летчик протянул руку старику.

— Тебе медаль, дедушка, полагается. Как тебя полностью зовут?

— Медаль? — спросил старик. — Раз полагается — давайте. Надо только рубаху новую сшить, а то медаль носить не на чем. Война ведь — обновку сшить некогда.

Никодим Васильев тронул корову и пошел вместе с ней и с летчиком-инженером в Тихие Березы. Старик забыл, что в деревне у него уже нет своей избы.

1942

Броня

Саввин был пожилым моряком, он служил инженер-электриком на одном нашем черноморском крейсере. Будучи ранен в морском сражении в ногу, он теперь залечивал рану в тихом далеком тылу.

Он был моряк старый, храбрый и добрый; небольшого роста, он раздался, однако, в ширину — в прочные кости и мускулы, не потратив силы в напрасный рост вверх. Слегка багровое лицо его, точно раз навсегда заржавленное, постоянно имело угрюмое выражение, сохраняя невидимыми за мрачным лицом доброту его сердца и кроткий нрав. Говорил он хриплым внутренним голосом, будто слова у него рождались не во рту, а в глубине живота, но говорил он редко, любя больше слов безмолвие, наблюдение и размышление. Это был обыкновенный моряк, потому что таких людей много среди русских моряков, и я в начале нашего знакомства был равнодушен к нему: «Еще один добряк и пьяница», — подумал я про него.

Но я ошибся. Морской инженер Семен Васильевич Саввин лишь изредка выпивал, но постоянно пить вино не любил. Он не любил и моря: «В море грустно, там тоска, — говорил он, — море само по себе не красивое, оно простое и серьезное: это водоем, где водится рыба для нашего пропитания, а поверху его можно возить грузы, потому что это обходится дешево, а счастья на море нет, на сухой земле лучше — тут хлеб, тут цветы, тут люди живут»…

— А почему тогда вы всю жизнь моряк, Семен Васильевич? — спросил я у него.

Саввин помолчал. Мы сидели в траве, на склоне отлогой балки, нисходящей устьем к реке Белой. Пред нами, на той стороне балки, вжились в землю мирные деревянные жилища, и от них зачинались кроткие картофельные огороды, спускающиеся вниз по падению земли. Вдалеке по небу плыли облака над синими холмами Урала, столь ослепительно чистые от освещающего их солнца, что они казались святыми видениями. А под теми облаками лежала открытая, беззащитная земля, в труде и терпении непрерывно рождающая благоухающие нивы для жизни людей.

— Я с детства люблю нашу русскую землю, — сказал Саввин, он умолк и вдруг тихо заплакал, потом захрипел от смущения, прокашлялся, пробормотал сам себе осуждение и произнес: — Наша земля всегда мне виделась такой доброй и прекрасной, что ее обязательно когда-нибудь должны погубить враги. Не может быть, чтобы ее никто не полюбил и не захотел захватить. Еще в детстве я глядел на маленький дом, где я жил с родителями, слушал, как жалобно поскрипывали ставни на окнах, а за домом было великое поле хлебов, и от боли, от страха, может быть — от предчувствия, у меня тогда горевало мое маленькое сердце. Все это было давно, но чувство мое не прошло, мой страх за Россию остался…

Потом я вырос, как все растет, меня призвали в армию, а из армии я уже не ушел. Только потом, постепенно, из рядового солдата я стал военным морским инженером; я понял, что умелый, образованный солдат сильнее неумелого. Потом я полюбил корабли. Эти быстрые стальные крепости, казалось мне, должны хорошо оборонять нашу мягкую русскую землю, и она останется навеки нетронутой и цельной…

— Одних кораблей мало, — сказал я моряку. — Нужны еще танки, авиация, артиллерия…

— Мало, — согласился Саввин. — Но все произошло от кораблей: танк — это сухопутное судно, а самолет — воздушная лодка. Я понимаю, что корабль не все, но я теперь понимаю, что нужно — нам нужна броня, такая броня, какой не имеют наши враги. В эту броню мы оденем корабли и танки, мы обрядим в нее все военные машины. Этот металл должен быть почти идеальным по стойкости, по прочности, почти вечным, благодаря своему особому и естественному строению… Броня — ведь это мускулы и кости войны!

Саввин воодушевился, что с ним бывало очень редко, вероятно потому, что свое воодушевление он тратил в тайну своего размышления и работы, и на виду оно не проявлялось.

Я пошел проводить Саввина в госпиталь. Он шел медленно, опираясь на трость. Возле одного деревянного домика, ветхого, глубоко ушедшего в почву, но милого, похожего обликом на дремлющего старика, Саввин остановился. Он долго смотрел на этот домик, думая и вспоминая.

— Сердце у меня слабеет, — произнес он затем, — но жизнь от этой слабости я чувствую как-то лучше…

— Ничего, мы одолеем врага, и на душе опять будет легко, — сказал я спутнику в утешение.

— Одолеем! — странно и злобно воскликнул Саввин. — Надо еще уметь, чтоб одолеть, надо сделать победу из работы и боя!

И он добавил своим обычным, хриплым и кротким, голосом:

— Небольшую долю нашей победы я сделал.

Я удивился и не поверил.

— Где же она, ваша победа?

Саввин ответил:

— Она спит в одной избушке в Курской области, там я схоронил в бумаге десять лет работы.

— Что же это такое?

— Да как вам сказать? Это новая физиология металла, — сказал Саввин. — Но чтобы вам понятно было — это способ производства броневого сверхпрочного металла, чтоб нас никто не одолел, а мы бы сокрушили врага.

— А в Курской области теперь немцы!

— Пускай, — произнес Саввин. — Немцы там, но земля как была, так и будет русской… Поджившет нога, пойду туда, возьму все свои расчеты, все опытные данные и приду обратно. Надо строить новый металл: твердый и вязкий, упругий и жесткий, чуткий и вечный, возрождающий сам себя против усилия его разрушить… Вы со мной не пойдете туда? Я уже не все помню, что я там наработал: это как книга, из которой нельзя убрать ни одного слова и добавить нельзя.

— Я пойду, — сказал я Саввину.

— Спасибо, — ответил Саввин. — В той избе живет мой дядя, мы там погостим.

— А немцы не спалили избу? Где мы там гостить тогда будем?

— Дядя спрятал мои бумаги в подполье, под основание печки, — сказал Саввин. — Он мужик длинный, он думает далеко вперед. Там не только бумаги, там есть небольшой прибор, который перерождает обыкновенную сталь в сверхпрочную, в броневую, но пока только в маленьких изделиях…

Лето 1942 года проходило в грозах, в дождях и в жаре. Крестьяне и рабочие, уезжая на

войну, смотрели из вагонов в поля, на обильные хлеба, на девственные пастбища, и душа их болела: неужели отдавать вору и убийце все это счастье и добро жизни, ради чего мы родились на свет? Нет, мы упредим неприятеля; он пошел со смертью в наши мягкие земли, но он окостенеет тут от нашей руки и сопреет беспамятно в прах: земля наша хороша и для хлеба и для могилы. И было в бойцах сейчас только твердое, ненавидящее сердце, готовое к бою за разлуку с семьей, за землю с урожаем, остающуюся здесь в сиротстве без сильных рабочих рук; но и сердце есть оружие, и его бывает достаточно для победы, когда его одухотворяет благодарная любовь к родной кормящей земле и когда его движет ненависть.

Мы с моряком Саввиным оставили свое временное местожительство и тронулись на запад. Он имел месячный отдых с отпуском на родину, а я командировку. Мы доехали до Ряжска, оттуда направились в Тулу, а из Тулы вышли к границам Курской области.

— А как же мы пройдем через фронт: на бога? — спросил я у Саввина, когда мы шли с ним по одинокой полевой дороге, обросшей дебрями великих урожайных хлебов.

Саввина, однако, не озадачивала наша дорога к неприятелю.

— Почему — на бога? — сказал он. — По России же идем, и тут и там Россия, и мы русские, — так сквозь и пройдем. Чего нам у себя дома пугаться: где схитрим, где спрячемся, а где осилим, там и с врагом побьемся, а там и наша деревня близко будет.

К вечеру мы дошли до постов боевого охранения нашей части. Саввин пошел в штаб части, чтобы объяснить значение своего путешествия, — у него были на то бумаги от своего командования. Я долго ожидал его, потом он вышел из штаба растроганный. Командир части предложил ему возложить всю задачу на своих самых опытных разведчиков, а Саввина и его спутника, то есть меня, он просил обождать на месте до возвращения разведчиков. Саввин, конечно, отказался: для успеха дела разумнее было идти ему самому.

В ночь мы пошли вперед, в тьму, где был наш враг. Нас проводили двое красноармейцев, затем мы остались одни и пошли, как нам указали бойцы.

Всю ночь мы осторожно шли в тишине. Мы не слышали ни звука, ни выстрела. На рассвете мы увидели вдали избы деревни и ушли спать в густую, дремучую рожь, радуясь хлебу, укрывающему нас на покой.

Вечером мы обошли попутную деревню и направились далее. Среди ночи мы встретили на дороге неизвестного темного человека. Он шел один, а мы, притаившись в хлебах, следили за ним, пока он не ушел во тьму. Судя по походке, это был крестьянин; он шел в сторону Москвы, может быть, желая встретить Красную Армию, чтобы остаться в ней бойцом, может быть, чтобы спастись от смерти под властью своего народа. Я поглядел вослед исчезнувшему и заскучал по той стороне, куда побрел одинокий крестьянин.

Мы шли еще две ночи. Мы питались сухарями, которые взял Саввин, огородным луком и капустными листьями. Саввин ел огородных овощей как можно больше, и я ему тоже помогал в этой работе над едой; мы полагали, что будет лучше, если немцу достанется меньше овощей, так что наше обжорство имело благородную причину.

— Из любви к родине — рубай! — приказывал мне Саввин.

Огороды были не возделаны, по ним пошла поросль бурьяна, и тот овощ, что произрастал, родился самосевом, либо рос еще с прошлого года, став уже жестким перестарком. Видно, что крестьянская душа стала здесь равнодушна к земле или вовсе уже не было хозяина в живых.

На очередной ночлег мы расположились в кустарнике, невдалеке от проезжей дороги, которая когда-то была людной. Днем я проснулся от света полуденного солнца и посмотрел в пустое русское поле, все такое же обыкновенное и родное, но ставшее здесь для нас чужбиной. Саввин храпел возле меня, и бабочка, захотевшая сесть на его лицо, в ужасе отлетела прочь.

Издалека по дороге шли неизвестные люди. Они шли медленно, и я долго ожидал, чтобы они появились ближе. Они шли с московской стороны, и, видно, им далеко было еще идти и они не спешили.

Впереди шел немецкий солдат с автоматом; серая пыль, прах нашей земли, покрыла

одежду чужестранца. За ним брели молодые крестьянки, одна из них была девочка лет пятнадцати; всего я их сосчитал четырнадцать человек; позади их шагал, торопя пленниц вперед, другой немецкий солдат. Но пленницы не хотели торопиться. Они часто оглядывались назад, в сияющие солнцем родные места, нагибались, чтобы поправить обувку, перевьючивали друг на друге котомки с хлебом, а одна девушка отошла с дороги в сторону и сорвала цветок или былинку, но на нее строго залопотал задний немец.

Они шли с котомками за спиной, с палками в руках, покрыв головы темными платками, они шли в дальнее безвозвратное странствие. Молодые и юные, еще кроткие сердцем, они брели согнувшись, как в старчестве, потому что их уводили на вечную разлуку и они стали тихие от горя, как умершие. В детстве я видел, что так шли на богомолье из Сибири в Киев ветхие, умолкшие старухи.

Я разбудил Саввина.

— Погляди, — сказал я ему.

Он посмотрел на шествие.

— Их в рабство гонят, — произнес он. — Их ведут в глушь Германии…

Мы притаились и наблюдали. Одна большая женщина опустилась вдруг на колени и поникла к земле. К ней подошел солдат и, схватив ее сквозь платок за волосы, приподнял, чтоб она шла, но женщина поникла обратно. Тоска ее и любовь к привычной земле, откуда ее уводили, была, видимо, в ней сильнее страха смерти. Она припала лицом к земному праху и заголосила грудным и нежным голосом, вскормленным на больших открытых пространствах ее родины. Мы вслушались в ее голос, в нем не было слов, но было долгое, вечное горе, от которого обмирало ее сердце, и голос ее звучал столь чисто и одухотворенно, что в нем не слышалось никакого телесного усилия, словно это звучала одна ее поющая душа. Мы забылись и заслушались эту песню пленницы, гонимой на смертную работу.

Немецкий солдат еще раз попробовал коснуться обмершей женщины, чтобы заставить ее подняться и идти, но пленница вдруг перестала голосить и сама поднялась навстречу ему. Она сначала поправила котомку за плечами, а потом отвела от себя руку солдата и пошла в обратную сторону, домой, ко двору. Теперь мы снова увидели, что она была крупного роста, солдат же против нее был невелик и слаб.

Пленница уже отошла от своих подруг, но они глядели ей вслед. Она уходила спокойно, точно чувствовала свое право свободы. Тогда фашист прижал к себе ложе автомата и выстрелил в женщину несколько раз. Пленница была еще близко от своего врага, и он в нее попал, но она, не оглянувшись, продолжала идти домой. Немец выстрелил еще, однако женщина не пала мертвой и шла обыкновенно, как прежде. Озадаченный солдат побежал за ней несколько шагов, остановился и стал для удобства стрельбы на одно колено. Но он уже не управился добить свою пленницу. Возле меня раздалось два выстрела, и немец покорно склонился к земле на дороге, смирившись навеки. Другой немец, что был впереди, вскинул автомат в боевое положение, однако новые три пули Саввина поразили его раньше, чем он обнаружил цель. Этот солдат пал к земле со всего роста, и дорожная истертая пыль поднялась в безветрии над его трупом. Но большая пленница, что пошла домой по воле своего сердца, теперь тоже лежала в траве возле дороги.

Саввин все еще держал свой револьвер, положив его дуло меж двух ветвей, росших рогаткой; он хотел еще убить какого-нибудь врага, но больше их пока не было. Пленные женщины сразу исчезли с дороги; они стремились через поле в дальний лес, по ту сторону дороги, спеша утолить свою тоску по дому и свободе.

Мы ушли кустарником своим направлением и вскоре легли спать в кущах бурьяна на дне оврага.

Мы проснулись под вечер, но еще засветло. По оврагу плыл едкий дым от горящего ветхого жилья.

— Что это там? — сказал я Саввину. — Должно быть, деревня горит…

— А что там! — грустно произнес Саввин. — Там обыкновенно что: враги народ наш казнят. Пойдем туда! Обожди…

Он нашел у себя в кармане листик бумаги и написал на нем карандашом название деревни, куда мы шли, и имя своего дяди; он хотел, чтоб я и один мог найти ту избушку, где хранится тайна вечной, несокрушимой брони; он понимал, что может скончаться от руки врага, и завещал мне спасти свое драгоценное достояние, которое, он верил, может оградить наш народ от смерти и помочь его победе.

Мы вышли на бровку оврага. Невдалеке от нас, вверх по земле, тихо догорали деревенские избы; пламя пожара уже угасало, и последние искры восходили к небу. Навстречу нам шла женщина с тяжелой ношей на руках, запеленатой в одеяло. Мы остановили ее.

— Ты куда? — спросил у нее Саввин.

— Теперь хоронить хожу, потом сама помирать сюда приду, — сказала женщина и приветливо улыбнулась нам; на вид эта женщина была уже старухой, а может быть, она состарилась до времени.

— Кто там, в этой деревне? — указал Саввин на пожар.

Женщина не ответила. Она села со своей ношей на землю и отвернула край одеяла.

Из-под одеяла забелело, почти засветилось лицо ребенка, украшенное вокруг локонами младенчества. Мы склонились к этому столь странному, сияющему лицу ребенка и увидели, что глаза его тоже смотрят на нас, но взор его равнодушен; он был мертв, и лицо его светилось от нежности обескровленной кожи. Женщина повела на нас рукой, чтобы мы отошли. Мы послушались ее.

Женщина покачала ребенка.

— Сейчас, сейчас, — сказала она ему, — сейчас я тебя в овражке схороню и лопушками укрою, потом братцев и сестриц тебе принесу, потом сама приду, сама с вами лягу и сказку вам расскажу, новую сказку:

Жили-были люди, Померли все люди. Нарожались черви, Стали черви люди. Черви все подохли, И осталась глина. А на глине корка, А на корке травка, В травке той росистой Сердце наше дышит, Сердце наше плачет Об умерших детях. Все прошло-пропало. Одно сердце стало Жить на свете вечно, Умереть не может, Потому что плачет, Плачет-ожидает, Мертвых вспоминает. Мертвые вернутся,

Спящие проснутся, И тогда что было — Сердце позабудет И любить вас будет В неразлучной жизни…

Потом женщина покрыла лицо ребенка уголком одеяла и пошла с ним в глубину оврага, улыбнувшись в нашу сторону, но улыбка ее была столь жалкой, что означала лишь терпеливую печаль ее жизни. Мы подождали ее. Она вернулась с пустым одеялом и пошла обратно на деревню. Мы тронулись за ней; она, оглянувшись на нас, вдруг запела веселую женскую песню.

— Ты что? — спросил ее Саввин.

— А я хмельная, — весело сказала женщина.

— А кто же тебя водкой здесь поит, немцы, что ль? — удивился Саввин.

— Они, а кто же! — ответила женщина. — Я детей из яслей хоронить таскаю, их там печным чадом поморили…

— Кто их поморил? — спокойно спросил Саввин.

— Они, — сказала женщина, — а мужиков и баб всех прочь угнали, оставили самую малость, да и тех побьют — деревня-то каждую ночь горит, они ее сами жгут, а на нас серчают и казнь нам дают.

Саввин взял женщину за руку.

— Где сейчас немцы? Только не ври! Много выпила-то?

— Чуть-чуть, — произнесла крестьянка. — Обещали еще потом угостить, и закуску, сказывали, дадут. Они теперь в школе, вон на том краю. Там помещение каменное, там и ясли были с детьми, а теперь детей поморили и от них дух пошел, а немцам наш дух не нравится, вот я и ношу ребят на покой… Сама плачу над ними, сама отпеваю их, — кто ж будет горевать-то по ним? — одна я женщина и осталась на деревне, всем я теперь мать, да

еще две старухи помирают лежат, а четырех мужиков остаточных они при себе на черной работе держат, коли не побили уже: вчерашний-то день наших шестеро было в живых, двоих они убили…

Крестьянка ушла от нас, стало сумрачно и темно, пожар давно потух. Мы легли в траву на околице этой сожженной, разоренной, нелюдимой деревни, куда ушла крестьянка, веселая от хмеля и печальная от судьбы. Вскоре она снова появилась и прошла мимо нас к оврагу с маленьким покойником, завернутым в одеяло. Потом она пошла обратно. Мы глядели на ее темное тело, бредущее ночью по траве, и ожидали, когда она опять пойдет мимо нас. Она опять пришла с очередной ношей в одеяле и скрылась во мраке оврага. Затем возвратилась и снова прошла на деревню, к мертвым детям. Мы следили за ее работой и молча терпели наше горе. Но сколько его можно терпеть, — и не за то ли, что мы терпим наше горе и прощаем мучителям, мы погибаем? Не означает ли такое терпение только нашу любовь к собственному существу, только наше желание жить какими угодно средствами, забывая погибших и любимых, прощая убийц, сдерживая свою душу против врагов, лишь бы нам можно было дышать хоть вполсердца и есть пищу, какую дадут, лишь бы нам позволили жить хотя бы в вечной муке? И я подумал: как бы мне хотелось увидеть человека, послушного лишь мгновенному решению своего разума и сердца и не подчиненного томительной привязанности к жизни! И жизнь — где она одухотвореннее и сладостнее, как не в таком мгновенном движении сердца и в осуществлении его решения?..

Крестьянка в очередной раз прошла со своей ношей в овраг и вот уже снова возвращалась обратно. Саввин поднялся, положил руку за пояс, где у него хранился короткий и мощный палаш-клинок, и направился вослед женщине.

— Обожди меня тут, — сказал он мне тихо. — Я скоро буду.

— А броня? — спросил я. — Тебя убить могут, надо сначала дойти до твоей деревни, я один заблужусь.

— Найдешь, — часто дыша, ответил Саввин. — И меня убить не могут, потому что я сам убью их!..

Я остался один. Всюду была темная ночь, в деревне была тишина. Я ожидал Саввина, радуясь, что у него оказалось то человеческое, внезапное сердце, которое я так любил всегда и ожидал везде.

В деревне раздался выстрел, но глухой и робкий. Я больше не мог оставаться неподвижным, потому что я тоже был человеком, и побежал во тьму, куда ушел Саввин. Долгое время я искал школу, это каменное помещение, где лежали наши мертвые дети, а ныне были немцы. Я блуждал в огородах, в каком-то инвентаре и среди избяных печей, оставшихся после пожара; затем я выбежал на пустошь. Там одинокий человек шел куда-то, и я сразу напал на него, но, почувствовав беззащитную мякоть тела, я оставил это существо. Оно оказалось плачущей женщиной, и по голосу я узнал крестьянку, которая таскала мертвых детей в овраг.

Она повела меня, и я пошел.

— Не бойся, их теперь нету, — сказала она.

— Чего ты плачешь? — спросил я у женщины.

— Он их всех побил… он их клинком заколол, сперва одного, на часах, потом прочих, кои уж на отдых легли в помещении, — говорила женщина. — Он их сразу, он им и вспомнить про себя не дал, семь душ — все лежат…

— А чего ты плачешь?

— А он и сам тоже лежит помирает… Один-то враг не враз помер и в него поспел стрельнуть — и попал ему в грудь насквозь… Я побежала кликнуть бабку-повитуху, а она тоже померла без присмотра.

У входа в школу лежал навзничь мертвый часовой. Крестьянка взяла его за ноги и поволокла, чтобы тут его не было. Внутри помещения горел фонарь «летучая мышь» и смутно освещал чужих покойников; двое из них лежали на детских кроватках, которые немцы приспособили для сна, поставив для удлинения их табуретки; прочие кровати были

пусты, и четверо мертвецов валялись на полу — они, должно быть, пытались одолеть Саввина; один немец лежал в черной шинели, а остальные были в белье, разобравшись на ночь по-домашнему.

Саввин лежал в углу, в отдалении, отдельно от поверженных им врагов. Я склонился к его лицу и подложил ему под голову детскую подушку.

— Тебе плохо? — спросил я у него.

— Почему плохо? — нормально, — трудно дыша, сказал Саввин. — Я умираю полезно.

— Тебе больно?

— Нет. Больно живым, а я кончаюсь, — прошептал Саввин.

— Как же ты их всех один осилил? — спрашивал я, расстегивая ему пуговицу на воротнике рубашки.

Саввину стало тяжко, но он произнес мне в ответ:

— Не в силе дело, — в решимости и в любви, твердой, как зло…

Он начал забываться; потом прошептал свое имя, может быть вспомнив, как его когда-то называла мать, и, утратив память о жизни, закрыл глаза насмерть.

Я поцеловал его, я попрощался с ним навеки и пошел выполнять его завещание о несокрушимой броне. Но самое прочное вещество, оберегающее Россию от смерти, сохраняющее русский народ бессмертным, осталось в умершем сердце этого человека.

Рассказ о мертвом старике

Вся деревня Отцовы Отвершки ушла со своего места назад, в далекие тихие земли России, потому что на деревню шел враг — немец-фашист.

В Отцовых Отвершках остался на жительство лишь один последний человек, маленький и сердитый дедушка Тишка. Он никуда не хотел уходить с родного двора, потому что тут, на деревне, прошла вся его жизнь, тут, на погосте, лежали в земле его родители, и тут же он сам схоронил когда-то своих умерших детей, и младенцев и взрослых. И дедушка Тишка, чувствуя скорое окончание жизни, не хотел отдаляться от родных людей: с кем он жил вместе на свете, с теми он желал и в могиле рядом лежать.

Старика увещевали односельчане, чтобы он тоже трогался с ними — обождать в тихой земле, пока врага назад обратно погонят, а потом опять ко двору со всеми вместе возвратиться.

Но Тишка не захотел их слушать.

— Это какие немцы? Конопатые, что ль? — спрашивал он через плетень у соседей, собиравшихся в дорогу. — Ну, знаю! Я их видел: алчный, единоличный народ; все к себе в котомку норовит сунуть что-нибудь — хоть деревянную пуговицу, хоть горлышко от бутылки, а все — дай сюда!.. Он, фашист, к избе своей подходит, так за полверсты, гляди, уж обувку с ног долой снимает и босой бежит, — а чтоб зря материал не снашивать, дескать! Это народ догадливый — он из паутины канаты вьет, из куриной головы мозгом пользуется, — я-то их знаю: у них сердце кишками кругом обмотано… Нет, это не тот народ, без которого скучно бы нам было жить. Нет, это не те люди!..

— Уедем, дедушка Тишка, до времени, — говорил ему сосед. — Неприятель лютует, оскоблит он тебя до костей…

Но Тишка не побоялся.

— Я тут буду, — сказал он. — Я, может, один окорочу всего немца!

Все жители Отцовых Отвершков ушли и увезли из деревни добро до куриного пера, а колодцы завалили под одно лицо с землей.

Тишка остался один; он поставил бочку под угол избы, чтобы собирать дождевую воду с деревянной крыши, сел на крыльцо и сосчитал воробьев, пасущихся во дворе, — их было семь голов; а прежде было больше, стало быть, и воробьи ушли с мужиками в большую Россию, воробью без мужика жить невозможно.

Окрест деревни и в дальних полях тихо было сейчас, точно война уже давно миновала

и снова стало смирно на свете. По теплому воздуху летела паутина, в траве трещали кузнечики и шуршала в своем существовании прочая кроткая тварь, а на небе остановилось белое, сияющее солнцем облако, и оно медленно иссякало в тепле, обращаясь без следа в небесную синеву. Лишь где-то в умолкшем поле ехала последняя крестьянская телега, удаляясь отсюда в сумрак вечера, но и она утихла, оставив за собою онемевшую землю, где сидел сиротою у своей избы один дедушка Тишка. Он сидел молча, однако не чувствовал ни одиночества, ни страха.

Вокруг него были сейчас порожние избы и безлюдные хлебные поля, но думы ушедших крестьян, их сердце и устоявшееся тепло их долгой жизни осталось здесь, вблизи дедушки Тишки. Он глядел возле себя, и он видел по привычке знакомые лица людей и беседовал с ними.

— Марья, что мужик-то, пишет тебе чего из-под Челябинска иль уж забыл тебя?

— Пишет, дедушка Тишка, — говорила Марья. — Намедни купон по почте получила, сто рублей денег прислал. Живет, пишет, сытно, да у нас-то, думается, на деревне, все ж таки сытнее будет. Пусть бы уж ко двору скорей ворочался: чего плотничать ходит на старости лет! Привык без семейства вольничать, вот и носит его нечистая сила!

— Объявится! — произносил Тишка в ответ женщине. — Не убудет, целым, кормленым придет…

— Дедушка Тишка! — кликал его из-за соседского плетня невидимый подросток Петрушка. — А что муравей, это тоже — как человек?

— Тоже, — отвечал Тишка. — Каждый по-своему человек.

— А тогда я, значит, тоже как муравей! — догадывался Петрушка.

— Ты муравей, — соглашался с ним старый Тишка.

Но, ответив мальчику Петрушке, дедушка Тишка услышал, что в пустом овине повторился его голос и в безмолвном завечеревшем воздухе кто-то еще раз пробормотал его слова; это было нелюдимое эхо. Все стало пусто, все жители уехали отсюда, и смертной жалостью к ним заболело сердце Тишки.

Он поднялся с крыльца и пошел на улицу, желая встретить там что-нибудь живое и знакомое — забытую курицу, кошку или воробья.

На улице никого не было; оставшиеся в деревне птицы и животные не привыкли жить без человека в такой тишине, и они, должно быть, ослабели и спрятались от страха или ушли вослед людям.

Но где не могло жить животное, старый человек жил. Он мог жить здесь одною тоскою об ушедших людях и ожиданием их возвращения, настолько его сердце было предано жизни.

Ночная тишина продолжалась, а в той стороне, куда шла русская земля, занялось зарево пожара.

«Это неприятель кругом меня охватывает, — подумал Тишка. — Потерплю покуда, а потом приму свои меры».

Тишка еще не знал в точности, какие он примет меры против силы врага, но он верил, что при нужде сразу сообразит, что нужно ему делать, потому что врагу пора дать окорот, врагу нельзя отдавать землю с хлебом и добром. Иначе нечем будет жить народу и некуда будет людям возвратиться домой. Чтобы встретить неприятеля, Тишка вышел на околицу, на ту сторону деревни, откуда прежде всего мог появиться фашист, и лег там на ночь у дороги.

Ночью, высоко поверх Тишки, шли звезды по небу; дедушка видел их и думал:

«На покое живут; что у них там? — такое же положение жизни, как у нас, иль все-таки гораздо лучше; пускай горят подальше от нас, — может быть, хоть целыми останутся: будь они поближе, в них бы фашисты из пушек стреляли и потушили бы их, либо туда бы взобрались и затеяли там беду; нет, пусть уж они светят далеко и отдельно, чтоб их никто не достал!»

Успокоившись, что звезды навеки останутся нетронутыми, старый Тишка приподнял голову, глянул на пустую деревню, на тихое вечное поле, загоревал и уснул. Во сне он увидел, что он умер и лежит на столе в чужой большой избе, а незнакомые люди плачут по

нем. От страха и печали Тишка проснулся.

«Это умершие люди меня к себе зовут, — разгадал старый Тишка свое сновидение. — Теперь многие молодыми помирают, вот они и ревнуют меня, старика, что я живой, а что мне помирать? — мне помирать пока-что расчета нету!»

Было еще далеко до рассвета, но Тишка уже поднялся навстречу неприятелю. По-прежнему тишина хранила землю, однако уже наступила пора окоротить врага, покуда он не появился здесь, возле изб, с огнем и смертью.

Тишка взял посошок с земли, оставленный когда-то у дороги неизвестным прохожим человеком, и пошел вперед, чтобы остановить врага и сразить его.

Дед шел между созревшими хлебами и бормотал в ожесточении:

— Вот оно, добро-то, поспело и стоит! Раньше-то чем был хлеб? И прежде он был дело святое. А теперь он сам сердцем нашим стал: как его пожжешь, как погубишь? Врагу-мучителю, то же самое, оставлять его нельзя: в хлебе вся сила, где ж она еще? Эх, матерь моя, не спросясь ты меня родила!..

Издали, из ночи, чуть тронутой рассветом, навстречу дедушке Тишке шел молчаливый темный человек.

Тишка оглянулся назад, на деревню; в сумраке раннего утра там стояли знакомые избы, и росистая влага пеленой неподвижного дыма занялась над ними, будто все печи в деревне с утра затопили на праздник.

Народ и сейчас был там своею душой и памятью — он был в этих избах и в хлебных полях вокруг них: в скупой и верной любви жизнь людей навек и неразлучно срослась здесь с хлебом, с землей и с добром, нажитым в постоянном труде, — и старый Тишка ничего не мог здесь пожечь или порушить, потому что это было бы то же самое, что убить народ.

Тишка одумался и пошел дальше вперед. Навстречу ему из предрассветного сумрака теперь шел не один темный человек, а много людей. Они спешили, и вскоре сразу все вместе они очутились возле Тишки. Двое из них уставили против Тишки ружья-автоматы, но дед был сердит на неприятелей еще прежде, чем они его увидели; он стукнул палкой о землю и крикнул на ближнего врага:

— Окоротись, жулик! Иль не видишь, кто тут такой находится?..

Маленького роста, с большой окладистой бородой, яростный и оскорбленный, стоял против врагов дедушка Тишка, чувствуя полную свою правомочность.

— Прочь назад отсюда! — воскликнул Тишка. — Ишь, нахальники, чего затеяли! Что за жизнь такая, скажи, пожалуйста: они народ наш губить пришли! Иль вы не понимаете ничего, — так я вас враз всему разуму научу!.. Опусти ружье, тебе говорю, пропащий ты человек!

И Тишка с молодым, затвердевшим от ненависти сердцем замахнулся своей дорожной палкой на ближнего немца и на всех их, сколько их было, — он их не считал.

— Отходи назад, беспортошные! Окорачивайся тут, пока цел.

И дедушка бросился в атаку на чужое войско: он знал, что злодей всегда робок и он действует лишь до тех пор, покуда его не пристрожит народ; Тишка понимал, что негодный человек слаб на душу и настоящей силы в сердце у него нет. И поэтому Тишка пошел на врага безопасно, как в кустарник. Сначала он бросился было на немцев как можно скорее, норовя изувечить каждого палкой по лицу, а потом отбросил палку и пошел на них спокойно; он решил их взять врукопашную.

— Вы без железок, без танков, без шума и грома, без хулиганства вашего воевать не можете! — воскликнул маленький дедушка Тишка. — А я и без палки, я безо всего могу, — я знаю вас, комариная куча! Ишь ты, они пугать нас тут пришли! Ишь ты, они народ побить захотели!.. А ну-ка, сторонись и кланяйся в землю!

Тишка зарычал на врага и нанес ближнему немцу удар в горло, так, что у неприятеля там заклокотало, а у дедушки осушилась рука.

Один немец удивленно и внимательно глядел на чужого русского старика и слушал его; может быть, думал он, это важный здешний человек, потому что он говорит сердито, как

начальник, и хоть по росту маленький, а по званию, может быть, большой. Но другой немец, которого ударил Тишка, выстрелил в старика, и дедушка упал. Как всякий человек, Тишка не допускал, что он может однажды умереть; он предполагал, что как-нибудь вызволится от смерти, когда придет его срок. Тем более он не верил, что к нему придет смерть от чужой нечистой руки.

— Не может быть, поганец! — сказал или подумал сказать Тишка и стал забываться, приникнув к земле.

На него ступали тяжелые немцы, но он их уже не чувствовал. Он чувствовал маленькое горячее постороннее тело в своей груди, и оно жгло его, медленно остывая, и, чтобы остудить скорее смертную пулю, сам дедушка Тишка весь холодел.

— Совладаю! — решил Тишка, вовсе слабея, и, уже тоскуя от немощи, сонно и равнодушно подумал о смерти:

«Зря помираю: мне еще не время, — будь бы время!»

Он проснулся вечером, затемно, осторожно, недоверчиво огляделся вокруг: было все то же самое, что было, — земля была цела, по ней лежала дорога, возле дороги стояла некошеная рожь и вдали виднелись темные, нежилые избы. Тогда он подумал о себе; он почувствовал в груди резкое чужое железо, которое мешало ему дышать, точно железо там поворачивалось от вздоха; при каждом движении он теперь вспоминал об этом железе, а раньше не помнил, что дышит. Но Тишка, удостоверившись в жизни, не боялся немецкого железа.

«Врастет, обживется, салом подернется, и я сам про него забуду, что есть оно, что нет».

Он встал, пошел обратно на свою деревню.

У последнего плетня ходил понемногу туда и сюда немец-часовой. Немец подпустил дедушку Тишку близко к себе; он думал, должно быть, что по малому росту это идет ребенок.

Тишка подошел к врагу и угадал в нем по лицу того неприятеля, которого он ударил в горло. Этот враг, стало быть, и убивал его насмерть.

Немец сначала уставился на Тишку, хотел что-то исполнить, но сразу занемог, оплошал и привалился к плетню. Дело было ночное, темное, сторона чужая, и фашист испугался увидеть живым мертвеца, того, кого он сам убил. Тишка понял слабость неприятеля и тронул его еще вдобавок для проверки рукой.

— Убитых боитесь, а с живыми воевать пришли! — сказал Тишка врагу. — Эка малоумные какие!

Старик пошел дальше по деревне. Повсюду в темных избах спали немцы и храпели во сне. «Тоже все одно и они храпят, — подумал Тишка, — могли бы и они людьми-крестьянами стать, да не стерпели: разбой-то он прибыльней пахоты».

Врагов в деревне теперь было много, больше, чем когда дедушка ходил на них в атаку. Они собрались, видно, сюда со всей округи на харчи и на отдых. Только они спали сейчас натощак, потому что народ убрал за собой и утаил всю пищу и увел живность, и даже колодцы были засыпаны на погребение.

Тишка знал, что утром, как только немцы опознают его, то опять убьют.

— Эка смерть — вот тебе невидаль! — осерчал дедушка в своем размышлении. — Не всякая смерть тяжка, не всякая жизнь добра!

Тишка почесал ранку под рубашкой на груди: она теперь уже подживала, и пуля в теле чувствовалась небольно.

— Тратятся враги зря на меня! — посчитал старик чужой убыток и вышел на взгорье возле деревенской кузницы.

Там он стал на колени, обратился лицом к дворам и к избам и поклонился им в землю на прощанье. Все было кончено для него — жизнь окончена и окончена надежда, хотя он и был здравый и живой.

— Ну, теперь ты без меня один живи, добрый и умный! Я тебе больше не помощник! — вслух сказал дедушка Тишка, обращаясь к тому человеку, которого он любил

всю жизнь и которого никогда не видел.

Тишка пошел в знакомое место, где лежала большой горой молоченая солома. Она свозилась туда уже три года, и в свое время дедушка Тишка делал возражение правлению колхоза, что это, стало быть, непорядок и упущение: солому тоже нужно было обратить в пользу. Но теперь он увидел, что и непорядок и упущение стали теперь для него пользой, он подошел к той соломе и остановился для соображения. Тишка хотел точно знать, откуда тянет воздухом и откуда надо поджигать, чтобы зажечь от той соломы всю родную деревню.

Тишка нашел укромное место и зажег кремнем и огнивом ветхую солому; отсюда, он полагал, займется вся деревня: изба была близко, плетень подходил к самой соломе, и тут же, возле, находился колхозный овин. Все колодцы в деревне завалены, враги спят, и огонь будет свободно уничтожать добро народа, пока не дойдет до черной земли.

Старая, сухая деревня занялась по кровлям, по плетням, по всякой жилой ветоши, и полымя высоко взошло в тишину темного неба, и огонь начал отделяться от общего пламени и поплыл облаками в сторону неприятеля, освещая сверху всю бедную, страшную жизнь на земле.

Тишка отошел на время в поле и оттуда глядел, как огонь поедом ест избы деревни и как враги, не успевшие задохнуться во сне, выбегали наружу и отходили обратно туда, откуда пришли.

От горя и утомления Тишка лег возле ржи и уснул, а деревня сгорела огнем и дотлевала сама по себе.

Пробудившись среди дня, Тишка увидел на месте деревни мертвую черную землю. И Тишка почувствовал, что вместе с деревней у него в душе тоже умерла и умолкла прежняя сила, с которой он привык жить. Теперь он ослабел, и что-то отжило навсегда и словно поникло в его сердце.

Тишка пошел на место деревни, нашел там, где была улица, немецкую саперную лопату и начал рыть себе под жилье землянку; он стал работать в той же земле, на которой стояла вчера живой его изба. Земля еще не остыла и была теплой от огня.

Отрыв немного грунта, Тишка нашел сначала пятак денег, а потом оловянные серьги, которые носила когда-то в молодости его покойная жена, и дедушка заплакал в своем воспоминании о ней.

В это время к нему исподволь, потихоньку подошел человек. Тишка оглянулся и опознал немца, и хотя у неприятеля было закопченное, похудевшее, чуждое лицо, но это был опять тот же самый враг, который уже убивал однажды его, Тишку-старика.

— Чего ты все ходишь тут, нечистая сила? — зашумел дедушка на немца.

Немец посмотрел на Тишку белыми, испуганными глазами и отошел прочь.

«Ошалел конопатый, — подумал Тишка. — Озорства в них и алчности много, а силы настоящей нету, нет-нету! Да откуда ж взяться у них настоящей силе-то? Неоткуда: ни одна живая душа не прильнет к ихнему делу, их дело для сердца непитательное!..»

К вечеру, к закату солнца, Тишка отрыл себе землянку и начал для уюта и удобства жизни стлать в ней траву, и опять в душе Тишки ожила умолкшая было сила, и слабость его сердца прошла, потому что он уже построил себе жилище и потому что не вечно будет горе разорения, а народ возвратится и нарождается вновь.

— Сказал — окорочу здесь неприятеля-врага, и окоротил! — произнес сам для себя дедушка Тишка. — Где он, враг, теперь? Его нету, а я тут!..

И с тех пор дедушка Тишка стал жить в своей землянке, но только сильно скучал и горевал по народу. Однако он знал, что раз земля осталась за народом, раз он уберег ее от врага, то в свое время все обратно возьмется от земли — и хлеб, и избы, и любое добро, — и от нее же вновь оживет и повеселеет печальная, обиженная крестьянская душа. И народ пришел к дедушке Тишке вскорости, скорее, чем он ожидал его.

Еще не доспал Тишка третьей ночи в своей землянке, как на утренней заре к нему явились двое крестьян из дальней деревни и сказали, что они партизанские бойцы, а про Тишку они слышали от одного пленного немца, помешавшегося умом, что этот район

неприятель называет «зоной мертвого старика», тут будто бы воюет против всех немцев один мертвый старик — и вот народные бойцы пришли сюда, чтобы узнать всю правду и поговорить по душам с мертвым стариком, если он живой.

Тишка долго и молча слушал двух крестьян, тоже пожилых людей, а потом объявил им:

— Что ж, идите все, сколь вас есть, сюда ко мне и вступайте под мою команду! Раз я старик мертвый — меня уж убить нельзя и одолеть то же самое! Вам со мной быть полезно, а мне — все одно…

«Это не мертвый старик, а хитрый боевой мужик, — подумали партизаны, — только ростом он слаб, ну, ничего, он зато сердцем сердитый». И они сказали ему, что он годится им в командиры, им нужен такой серьезный, сердитый, небоязливый человек, — и пускай их сейчас пока трое будет, после весь народ придет к ним, потому что больше ему идти некуда, как только домой, на свое родное место, где земля его вскормила, где лежат в могилах его родители.

Дедушка Тишка вздохнул, что мало еще у него войска, и вышел из землянки наружу. Он посмотрел на большое поле в сторону врага; там сейчас пылила дорога вдали, видно, снова шли немцы оттуда.

— А вы помирать не боитесь? — спросил Тишка у своих бойцов, которые теперь переобувались в землянке.

— Нет, дедушка! Каждый день бояться — соскучишься, — сказал один боец, а другой вздохнул.

— Зря не боитесь! Это вы зря сказали! — произнес Тишка и тут же приказал им возвышенным голосом: — Смерти остерегайся и нипочем не помирай! Солдат не должен помирать, он должен победить, чтобы жить после войны, а то для кого же тогда жизнь? Войско тем и живо, что в смерть не верит, смерть — она полагается только неприятелю, а нам — нету смерти! Объявляю боевую тревогу, вылазь ко мне, окоротим врага!

Одухотворенные люди

Рассказ о небольшом сражении под Севастополем

В дальней уральской деревне пели русские девушки. Одна из них пела выше и задушевнее всех, и слезы текли по ее лицу, но она продолжала петь, чтобы не отстать от своих подруг и чтобы они не заметили ее горя и печали. Она плакала от чувства любви, от памяти по человеку, который был сейчас на войне; ей хотелось увидеть его и утешить вблизи него свое сердце, плачущее в разлуке.

А он бежал сейчас по полю сражения вперед, лицо его было покрыто кровью и потом, он бежал, задыхаясь от смертной истомы, и кричал от ярости. У него была поранена пулей щека, и кровь из нее лилась ему за шею и засыхала на его теле под рубашкой. Он хотел рвануть на себе рубашку, но она была спрятана далеко под бушлатом и морской шинелью. Он чувствовал лишь маленькую рану на лице и не понимал, отчего же он столь слабеет и дыхание его не держит тела. Тогда он рванул на себе воротник застегнутого бушлата; ему сейчас некогда было слабеть, ему еще нужно было немного времени, потому что он шел в атаку, он бежал по известковому полю, поросшему сухощавой полынью. Вблизи от него, справа, слева и позади, стремились вперед его товарищи, и сердца их бились в один лад с его сердцем, сохраняя жизнь и надежду против смерти.

Он пал вниз лицом, послушный мгновенному побуждению, тому острому чувству опасности, от которого глаз смежается прежде, чем в него попала игла. Он и сам не понял вначале, отчего он вдруг приник к земле, но когда смерть стала напевать над ним долгою очередью пуль, он вспомнил мать, родившую его. Это она, полюбив своего сына, вместе с жизнью подарила ему тайное свойство хранить себя от смерти, действующее быстрее помышления, потому что она любила его и готовила его в своем чреве для вечной жизни, так

велика была ее любовь.

Пули прошли над ним; он снова был на ногах, повинуясь необходимости боя, и пошел вперед. Но томительная слабость мучила его тело, и он боялся, что умрет на ходу.

Впереди него лежал на земле старшина Прохоров. Старшина более не мог подняться: моряк был убит пулею в глаз — свет и жизнь в нем угасли одновременно. «Может быть, мать его любила меньше меня, или она забыла про него?» — подумал моряк, шедший в атаку, и ему стало стыдно этой своей нечаянной мысли. Вчера он говорил с Прохоровым, они курили вместе и вспоминали службу на погибшем ныне корабле. И ему захотелось прилечь к Прохорову, чтобы сказать ему, что он никогда не забудет его, что он умрет за него, но сейчас ему было некогда прощаться с другом, нужно было лишь биться в память его. Ему стало легче, томительная слабость в его теле, от которой он боялся умереть на ходу, теперь прошла, точно он принял на себя обязанность жить за умершего друга и сила погибшего вошла в него. С криком ярости он ворвался в окоп, в убежище врага, увидел там серое лицо неизвестного человека, почувствовал чуждое зловоние и сразил врага прикладом в лоб, чтобы он не убивал нас больше и не мучил наш народ страхом смерти. Затем моряк обернулся в темноте земляной щели и размахнулся винтовкой на другого врага, но не упомнил, убил он его или нет, и упал в беспамятстве, с закатившимся дыханием от взрывной волны. По немецкому рубежу, атакованному русскими моряками, начала сокрушающе бить немецкая артиллерия, чтобы место стало ничьим. Старший батальонный комиссар Поликарпов издали смотрел в бинокль на поле сражения. Он видел тех, кто пал к земле и не поднялся более, и тех, кто превозмог встречный огонь противника и дошел до щелей врага на взгорье, чтобы закончить его жизнь штыком и прикладом. Комиссар запомнил, как пал сраженным Прохоров, как приостановился и неохотно опустился на землю младший политрук Афанасьев и неровно, но упрямо удалялся вперед на противника краснофлотец Красносельский, видимо уже раненный, однако стерпевший до конца свою муку. Правый и левый фланги еще шли, но середины уже не было. Средняя часть наступающего подразделения была вся разбита и легла к земле под огнем; был или не был там кто в живых, комиссар Поликарпов не знал; поэтому он сам решил идти туда и пополз по земле вперед.

Позади него был Севастополь, впереди — Дуванкойское шоссе. Немного левее шоссе поворачивало и шло прямо на юг, на Севастополь. Против закругления шоссе, по ту сторону его, лежало полынное поле, а немного дальше находилась высота, на которой теперь были враги. С высоты врагу уже виден был город, последняя крепость и убежище русского народа в Крыму.

Правый и левый фланги атакующей морской пехоты вошли на взгорье, на скат высоты, и скрылись в складках земной поверхности, в окопах противника, занявшись там рукопашным боем. Огонь врага прекратился. Поликарпов поднялся в рост и побежал по взгорью. Четверо моряков с правого фланга присоединились к Поликарпову и помчались вперед, вслед комиссару, пользуясь тишиною на этой еще не остывшей от огня смертной земле.

Поликарпов заметил краснофлотца Нефедова, лежавшего замертво на земле. У комиссара тронулось сердце печалью. Он вспомнил Нефедова, павшего теперь славной смертью, а прежде это был веселый, привлекательный, но трудный человек. И вот он лежит мертвый, он остался уже позади бегущего вперед комиссара.

Внезапный и одновременный удар огня из нескольких пулеметов раздался со второго рубежа немцев; этот рубеж проходил возле самой вершины высоты. Огонь был жесткий и точный; Поликарпов обернулся к бойцам и сделал им знак, чтобы они залегли и сам залег впереди них.

Вдобавок к пулеметам начали бить минометы, и общий огонь стал суетливым и неосмысленным. «Зачем столько огня против пятерых, — подумал Поликарпов. — Пугливо, без расчета бьют!»

Поликарпов осторожно обернулся лицом назад — к бойцам. Они лежали врозь, правильно, хорошо вжившись в землю, тесно прильнув к ней в поисках защиты от гибели.

До переднего немецкого края, куда ворвались на флангах краснофлотцы, осталось пройти метров сто, и обратно, до Дуванкойского шоссе, было столько же.

Минометный огонь усилился; маленькие толстые тела мин с воем неслись над телами людей и рвались на куски, словно от собственной внутренней ярости. Оставаться на месте было нельзя, чтобы не умереть бесполезно.

Поликарпов двинулся вперед.

— За мной! Вперед, на злодеев, мать их…

Но мина прошла мимо него и рванулась невдалеке, а пули секли воздух столь часто, что он, казалось, иссыхал и крошился.

Комиссар оглянулся на моряков, они лежали неподвижно; железная смерть пахала воздух низко над их сердцами, и души их хранили самих себя.

Поликарпов почувствовал удар ревущего воздуха в лицо и приник обратно к земле; стая тяжелых мин пронеслась над отрядом. Комиссар залег вполоборота к своим людям, чтобы видеть, все ли они целы. Пока они все еще были живы. Один Василий Цибулько что-то не шевелился, лежа ничком. Поликарпов подполз к нему ближе и увидел, что Цибулько тоже начал шевелиться — стало быть, и он был живой. Цибулько изредка приподымал свое лицо от земли и вновь приникал к ней вплотную. Опухшие, потрескавшиеся от ветра уста его были открыты, он прижимался ими к земле и отымал их, а затем опять жадно целовал землю, находя в том для себя успокоение и утешение. Даниил Одинцов задумчиво смотрел на былинку полыни; она была сейчас мила для него. «Это все хорошо, — решил Поликарпов, — но нам пора вперед», и он снова крикнул краснофлотцам, едва ли услышанный за свистом и грохотанием огня:

— За мной! — и поднялся в рост, обернувшись на мгновение к бойцам.

Все бойцы привстали; однако близкий разрыв артиллерийского снаряда поверг их снова ниц, и сам комиссар был брошен воздухом на землю.

В третий раз комиссар поднялся безмолвно, но тут же упал, не поняв сам причины и озлобившись на враждебную силу, сразившую его. Он скоро очнулся и почувствовал, как холодеет, словно тает и уменьшается вся внутренность его тела, но мозг его работал по-прежнему ясно и жизненно, и комиссар понимал значение своих действий. Он увидел свою левую руку, отсеченную осколком мины почти по плечо. Эта свободная рука лежала теперь отдельно возле его тела. Из предплечья шла темная кровь, сочась сквозь обрывок рукава кителя. Из среза отсеченной руки тоже еще шла кровь помаленьку. Надо было спешить, потому что жизни осталось немного.

Комиссар Поликарпов взял свою левую руку за кисть и встал на ноги, в гул и свист огня. Он поднял над головой, как знамя, свою отбитую руку, сочащуюся последней кровью жизни, и воскликнул в яростном порыве своего сердца, погибающего за родивший его народ:

— Вперед! За Родину, за вас!

Но краснофлотцы уже были впереди него; они мчались сквозь чащу смертного огня на первый рубеж врага, чувствуя себя теперь свободно и счастливо, словно комиссар Поликарпов одним движением открыл им тайну жизни, смерти и победы.

Поликарпов поглядел им вслед довольными побледневшими от слабости глазами и лег на землю в последнем изнеможении.

Двое краснофлотцев дорвались до первых коротких щелей — окопов противника — и въелись в них. В одном окопе лежал без памяти, но еще живой Иван Красносельский; возле него валялись опрокинутыми два мертвых немца.

Окопы были достаточно хорошо отрыты вглубь, и огонь со второго рубежа противника здесь ощущался безопасно.

— Ну, тут-то мы жители! — сказал Цибулько Одинцову.

— Тут-то что же! — согласился Одинцов. — Тут ресторан-кафе на Приморском бульваре, только всего!

— А ребята как там устроились? — спросил Цибулько. Одинцов смотрел наружу.

— Они вон в том блиндаже остались, — сказал Одинцов. — Там им удобней.

Цибулько и Одинцов помогали Красносельскому, и тот пришел в себя. Кроме ранения в щеку у него оказалась рана в грудь навылет; нижняя нательная рубашка присохла к телу в двух местах — возле правого соска груди, куда вошла пуля, и около родинки на спине, где пуля вышла наружу. Цибулько умело перевязал Красносельского, изорвав на бинты свою рубашку. Наружные ранки на теле Красносельского уже подсохли и начали заживать, неизвестно было только, что сделала пуля внутри.

— Ну как ты себя чувствуешь-то? — спросил Цибулько. — После боя в эваку пойдешь иль так обойдешься, под огнем отдышишься?

— Теперь мне много легче, — сказал Красносельский. — Плохо было, когда я в атаку шел, тогда истома меня всего брала, а пока до врага дошел — я обветрился, обозлел и выздоровел. Тут вот я опять устал, пока двоих кончил. А теперь мне ничего. Плохо, когда ранение бывает спервоначалу, когда только в бой входишь, воюешь тогда вполсилы. А теперь мне ничего — я отошел от смерти.

Но дышалось Красносельскому тяжко, и пот шел по его лицу.

— Отдыхай! — крикнул ему Цибулько, покрывая голосом стрельбу врага. — А мы пока без тебя повоюем.

Цибулько нашел место в тупом конце окопа и стал оттуда поглядывать в сторону неприятеля. Одинцов же вывалил мертвых немцев наружу и прибрал окоп от комьев земли, от осколков, от всего, что не нужно для жизни и боя.

Стало уже вечереть, — стрельба немцев стала редкой, они палили сейчас ради одного предостережения, отложив свои главные заботы, видимо, до завтрашнего утра.

— А где наш батальонный комиссар товарищ Поликарпов? — спросил Красносельский.

— Ночью уберем его с поля… — сказал Одинцов. — Такие люди долго не держатся на свете, а свет на них стоит вечно.

— Это точно! — произнес Цибулько. — «Вперед, говорит, за Родину, за вас!..» За нас с тобой! Родиной для него были все мы, и он умер.

— Он кровью истек? — спросил Красносельский.

— Точно, — сказал Цибулько.

На высоте настала тьма, но Севастополь был светел: над ним сияли четыре люстры осветительных ракет, и по телу города била издали тяжелая артиллерия врага. По врагу из мрака моря стреляли через город пушки наших кораблей. Цибулько и Одинцов загляделись на город, на блистающую мертвым светом поверхность моря, уходящую в затаившийся темный мир, где вспыхивали сейчас зарницы работающей корабельной артиллерии.

Красносельский лег на дно окопа и задремал для отдыха. Он дремал, больное тело его отдыхало, но в сознании его непрерывно шел тихий поток мыслей и воображения. Он слушал артиллерийскую битву за Севастополь, чувствовал прах, сыплющийся на него со стен окопа от сотрясения земли, и улыбался невесте в далекой уральской деревне. Ей там тихо сейчас, тепло и покойно — пусть она спит, а утром пробуждается, пусть она живет долго, до самой старости, и будет сыта и счастлива — с ним или с другим хорошим человеком, если сам Красносельский скончается здесь ранней смертью, но лучше пусть она будет с ним, а другому человеку пусть достанется другая хорошая девушка или вдова — и вдовы есть ничего.

А в уральской деревне давно уже умолкла песня одиноких девушек: там время ушло далеко за полночь, и скоро нужно было уже подниматься на сельскую работу. Невеста Ивана Красносельского тоже спала, и теперь она не плакала: ее лицо, прекрасное не женской красотой, но выражением удивления и невинности, было спокойно сейчас, и лишь нежное, кроткое счастье светилось на нем: ей снилось, что война окончилась и эшелоны с войсками едут обратно домой, а она, чтобы стерпеть время до возвращения Вани, сидит и скоро-скоро сшивает мелкие разноцветные лоскутья, изготовляя красивый плат на одеяло…

В полночь в окоп пришли из блиндажа политрук Николай Фильченко и краснофлотец Юрий Паршин. Фильченко передал приказ командования: нужно занять рубеж на

Дуванкойском шоссе, потому что там насыпь, там преграда прочнее, чем этот голый скат высоты, и там нужно держаться до погибели врага; кроме того, до рассвета следует проверить свое вооружение, сменить его на новое, если старое не по руке или неисправно, и получить боепитание.

Краснофлотцы, отходя через полынное поле, нашли тело комиссара Поликарпова и унесли его, чтобы предать земле и спасти от поругания врагом. Чем еще можно выразить любовь к мертвому, безмолвному товарищу?

Политрук Николай Фильченко оставил командование отрядом на Даниила Одинцова и пошел в тыл, к Севастополю, на пункт снабжения, чтобы ускорить доставку боепитания.

Осветительные ракеты медленно и непрерывно опускались с неба, сменяя одна другую; их и сейчас было четыре люстры, четыре комплекта ракет под каждым парашютом. Их быстро и точным огнем расстреливали на погашение наши зенитные пулеметы, но противник бросал с неба новые светильники взамен угасших, и бледный грустный свет, похожий на свет сновидения, постоянно освещал город и его окрестности — море и сушу.

На краю города, в одном общежитии строительных рабочих, все еще жили какие-то мирные люди. Фильченко заметил женщину, вешающую белье возле входа в жилище, и двоих детей, мальчика и девочку, играющих во что-то на светлой земле. Фильченко посмотрел на часы: был час ночи. Дети, должно быть, выспались днем, когда артиллерия на этом участке работала мало, а ночью жили и играли нормально. Политрук подошел к низкой каменной ограде, огораживающей двор общежития. Мальчик лет семи рыл совком землю, готовя маленькую могилу. Около него уже было небольшое кладбище — четыре креста из щепок стояли в изголовье намогильных холмиков, а он рыл пятую могилу.

— Ты теперь большую рой! — приказала ему сестра. Она была постарше брата, лет девяти-десяти, и разумней его. — Я тебе говорю: большую нужно, братскую, у меня покойников много, парод помирает, а ты одна рабочая сила, ты не успеешь рыть. Еще рой, еще, побольше и поглубже — я тебе что говорю!

Мальчик старался уважить сестру и быстро работал совком в земле.

Фильченко тихо наблюдал эту игру детей в смерть.

Сестра мальчика ушла домой и скоро вернулась обратно. Она несла теперь что-то в подоле своей юбчонки.

— Не готово еще? — спросила она у трудящегося брата.

— Тут копать твердо, — сказал брат.

— Эх ты, румын-лодырь, — опорочила брата сестра и, выложив что-то из подола на землю, взяла у мальчика совок и сама начала работать.

Мальчик поглядел, что принесла сестра. Он поднял с земли мало похожее туловище человечка, величиною вершка в два, слепленное из глины. На земле лежали еще шестеро таких человечков, один был без головы, а двое без ног — они у них открошились.

— Они плохие, такие не бывают, — с грустью сказал мальчик.

— Нет, такие тоже бывают, — ответила сестра. — Их танками пораздавило: кого как.

Фильченко пошел далее по своему делу. «И мои две сестренки тоже играют где-нибудь

теперь в смерть на Украине, — подумал политрук, и в душе его тронулось привычное горе, старая тоска по погибшему дому отца. — Но, должно быть, они уже не играют больше, они сами мертвые… Нужно отучить от жизни тех, кто научил детей играть в смерть! Я их сам отучу от жизни!»

За насыпью Дуванкойского шоссе четверо моряков рыли могилу для комиссара Поликарпова.

Одинцов перестал работать:

— Комиссар говорил, что мы для него — всё, что мы для него — Родина. И он тоже Родина для нас. Не буду я его в землю закапывать.

Одинцов бросил саперную лопатку и сел в праздности.

— Это неудобно, это совестно, — говорил Одинцову Цибулько. — Надо же спрятать человека, а то его завтра огонь на куски растаскает. Потом мы его обратно выроем — это мы

его прячем пока, до победы!.. Неудобно, Даниил!

Но Одинцов не хотел больше работать. Паршин и Цибулько отрыли неглубокое ложе у подножья насыпи и положили там Поликарпова лицом вверх, а зарывать его землей не стали. Они хотели, чтобы он был сейчас с ними и чтобы они могли посмотреть на него в свой трудный час. Мертвую отбитую левую руку моряки поместили вдоль груди комиссара и положили поверх нее, как на оружие, правую руку.

После того Одинцов приказал Паршину и Цибулько спать до рассвета. Красносельский, как выздоравливающий, спал уже сам по себе и всхрапывал во сне, дыша запахом сухих крымских трав. Паршин и Цибулько легли в уютную канаву у подошвы откоса, поросшую мягкой травой, свернувшись там по-детски, и, согревшись собственным телом, сразу уснули.

Одинцов остался бодрствовать один. Ночь шла в редкой артиллерийской перестрелке; над городом сиял страшный, обнажающий свет врага, и до утренней зари было еще далеко.

Наутро снова будет бой. Одинцов ожидал его с желанием: все равно нет жизни сейчас на свете и надо защищать добрую правду русского народа нерушимой силой солдата. «Правда у нас, — размышлял краснофлотец над спящими товарищами. — Нам трудно, у нас болит душа. А фашист, он действует для одного своего удовольствия — то пьян напьется, то девушку покалечит, то в меня стрельнет. А нас учили жить серьезно, нас готовили к вечной правде, мы Ленина читали. Только я всего не прочитал еще, прочту после войны. Правда есть, и она записана у нас в книгах, она останется, хотя бы мы все умерли. А этот бледный огонь врага на небе и вся фашистская сила — это наш страшный сон. В нем многие помрут, не очнувшись, но человечество проснется, и будет опять хлеб у всех, люди будут читать книги, будет музыка и тихие солнечные дни с облаками на небе, будут города и деревни, люди будут опять простыми и душа их станет полной». И Одинцову представилась вдруг пустая душа в живом, движущемся мертвяке, и этот мертвяк сначала убивает всех живущих, а потому теряет самого себя, потому что ему нет смысла для существования и он не понимает, что это такое, он пребывает в постоянном ожесточенном беспокойстве.

Одинцов стоял один на откосе шоссе и глядел вперед, в смутную сторону врага. Он оперся на винтовку, поднял воротник шинели и думал и чувствовал все, что полагается пережить человеку за долгую жизнь, потому что не знал, долго или коротко ему осталось жить, и на всякий случай обдумывал все до конца.

Потом воображение, замена человеческого счастья, заработало в сознании Одинцова и начало согревать его. Он видел, как он будет жить после войны. Он окончит музыкальную школу при филармонии, где он учился до войны, и станет музыкантом. Он будет пианистом, и если сумеет, то и сам начнет сочинять новую музыку, в которой будет звучать потрясенное войной и смертью сердце человека, в которой будет изображено новое священное время жизни.

Одинцов посмотрел на товарищей: спят Цибулько и Паршин, спит Красносельский, раненный в грудь насквозь; навеки уснул комиссар. Плохо им спать на жесткой земле: не для такого мира родили их матери и вскормил народ, не для того, чтобы кости отрывали от тела их живых детей. Одинцов вздохнул: много еще работы будет на свете и после войны, после нашей победы, если мы хотим, чтобы мир стал святым и одушевленным, если мы хотим, чтобы сердце красноармейца, разорванное сталью на войне, не обратилось в забытый прах…

К рассвету прибыли на машине политрук Фильченко и полковой комиссар Лукьянов; они привезли с собой боеприпасы, вооружение и пищевые продукты.

Лукьянов осмотрел позицию и увез с собой в город тело Поликарпова, пообещав наутро снова приехать на этот участок. Фильченко велел Одинцову лечь отдохнуть, потому что невыспавшийся боец — это не работник на войне.

— Иди ляжь! — сказал Фильченко. — В шубе — не пловец, в рукавицах — не косец, а сонный — не боец.

Одинцов лег в канаву возле разоспавшегося, храпящего Красносельского, приспособился к земле и уснул: он не очень хотел спать, но, раз надо было, он уснул.

Рассвело. Николай Фильченко переложил своих бойцов поудобнее, чтобы у них не

затекли во сне руки, ноги и туловище. Когда он их ворочал, они бормотали ему ругательства, но он укрощал их:

— Так удобней будет, голова! Мать во сне увидишь.

Он и сам бы сейчас, хоть во сне, поглядел бы на свою мать и дорого бы дал, чтобы обнять еще раз ее исхудавшее тело и поцеловать ее в плачущие глаза.

Наступила тишина. Далекие пушки неприятеля и наших кораблей, и до того уже бившие редко, вовсе перестали работать, светильники над Севастополем угасли, и стало столь тихо, что трудно было ушам, и Фильченко расслышал плеск волны о мол в бухте. Но в этом безмолвии шла сейчас напряженная скорая работа мастеровых войны — механиков, монтеров, слесарей, заправщиков, наладчиков, всех, кто снаряжает боевые машины в работу.

Фильченко поглядел на товарищей. Они раскинулись в последнем сне, перед пробуждением. У всех у них были открыты лица, и Фильченко вгляделся отдельно в каждое лицо, потому что эти люди были для него на войне всем, что необходимо для человека и чего он лишен: они заменяли ему отца и мать, сестер и братьев, подругу сердца и любимую книгу, они были для него всем советским народом в маленьком виде, они поглощали всю его душевную силу, ищущую привязанности.

По-детски, открытым ртом дышал во сне Василий Цибулько. Он был из трактористов Днепропетровской области, он участвовал уже в нескольких боях и действовал в бою свободно, но после боя или в тихом промежутке, когда битва на время умолкала, Цибулько бывал угрюм, а однажды он плакал. «Ты чего, ты боишься?» — сердито спросил его в тот раз Фильченко. «Нет, товарищ политрук, я нипочем не боюсь, — ответил Цибулько, — это я почувствовал сейчас, что мать моя любит и вспоминает меня; это она боится, что я тут помру, и мне ее жалко стало!» В своем колхозе, рассказывал Цибулько, он устраивал разные предметы и способы для облегчения жизни человечества: там ветряная мельница накачивала воду из колодца в чан; там на огородах и бахчах Цибулько установил страшные чучела, действующие тем же ветром, — эти чучела гудели, ревели, размахивали руками и головами, и от них не было житья не только хищным птицам, но и людям не было покоя. Наконец Цибулько начал кушать в вареном виде одну траву, которая в его местности спокон века считалась негодной для пищи; и он от той травы не заболел и не умер, а наоборот — у него стала прибавляться сила, почему появилось убеждение, что та трава на самом деле есть полезное питание.

Цибулько обо всем любил соображать своей особенной головой; он воспринимал мир как прекрасную тайну и был благодарен и рад, что он родился жить именно здесь, на этой земле, будто кто-то был волен поместить его для существования как сюда, так и в другое место.

Фильченко вспомнил, как они лежали рядом с Цибулько четыре дня тому назад в известковой яме. На их подразделение шли три немецких танка. Цибулько вслушался в ход машин и уловил слухом ритмичную работу дизель-моторов. «Николай! — сказал тогда

Цибулько. — Слышишь, как дизеля туго и ровно дышат? Вот где сейчас мощность и компрессия». Василий Цибулько наслаждался, слушая мощную работу дизелей; он понимал, что хотя фашисты едут на этих машинах убивать его, однако машины тут ни при чем, потому что их создали свободные гении мысли и труда, а не эти убийцы тружеников, которые едут сейчас на машинах. Не помня об опасности, Цибулько высунулся из известковой пещеры, желая получше разглядеть машины; он любовно думал о всех машинах, какие где-либо только существуют на свете, убежденно веря, что все они — за нас, то есть за рабочий класс, потому что рабочий класс есть отец всех машин и механизмов.

Теперь Цибулько спал; его доверчивые глаза, вглядывающиеся в мир с удивлением и добрым чувством, были сейчас закрыты; темные волосы под бескозыркой слиплись от старого, дневного пота, и похудевшее лицо уже не выражало счастливой юности — щеки его ввалились и уста сомкнулись в постоянном напряжении; он каждый день стоял против смерти, отстраняя ее от своего народа.

— Живи, Вася, пока не будешь старик, — вздохнул политрук.

Иван Красносельский до флота работал по сплаву леса на Урале; он был плотовщиком. Воевал он исправно и по-хозяйски, словно выполняя тяжелую, но необходимую и полезную работу. В промежутках между боями и на отдыхе он жил молча и с товарищами водился без особой дружбы, без той дружбы, в которой каждое человеческое сердце соединяется с другим сердцем, чтобы общей большой силой сохранить себя и каждого от смерти, чтобы занять силу у лучшего товарища, если дрогнет чья-либо одинокая душа перед своей смертной участью.

Фильченко догадывался, почему Красносельский не нуждался в такой дружбе. Он был привязан к жизни другою силой, не менее мощной — его хранила любовь к своей невесте, к далекой отсюда девушке на Урале, к странному тихому существу, питавшему сердце моряка мужеством и спокойствием. Фильченко давно заметил, еще до войны, что Красносельский, бывая на берегу, никогда не гулял в Севастополе с девушками, мало и редко пил вино, не предавался озорству молодости, — не потому, что не способен был на это, а потому, что это его не занимало и не утешало и он тосковал в таких обычных забавах. Он жил погруженным в счастье своей любви; им владело постоянное, но однократное чувство, которое невозможно было заменить чем-либо другим, или разделить, или хотя бы на время отвлечься от него. Этого сделать Красносельский не мог, и воевал он с яростью и ровным упорством, видимо, потому, что хотел своим воинским подвигом приблизить время победы, чтобы начать затем совершение другого подвига — любви и мирной жизни.

Красносельский был человеком большого роста, руки его были работоспособны и велики, туловище развито и обладало видимой физической мощью, — он должен бы свирепствовать в жизни, но он был кроток и терпелив: одна нежная, невидимая сила управляла этим могучим существом и регулировала его поведение с благородной точностью.

Фильченко задумался, наблюдая Красносельского: велика и интересна жизнь, и умирать нельзя.

Юра Паршин был четыре раза ранен, два раза тяжело, но не умер. Небольшой, средней силы, веселый и живучий, способный пойти на любую беду ради своего удовольствия, он допускал свою гибель лишь после смерти последнего гада на свете. На корабле, еще в мирное время, он дважды сваливался с борта в холодную осеннюю воду, пока не было понято, что он это делал нарочно — ради того, чтобы корабельный врач выдавал ему для согревания спирт, потому что человек продрог. Паршин знал и любил много своих севастопольских подруг, и они тоже любили его в ответ и не ревновали друг к другу, что так необычно для женской натуры. Однако тайна привлекательности Юры Паршина была проста, и понимание ее увеличивало симпатию к нему. Она заключалась в доброй щедрости его души, в беспощадном отношении к самому себе ради любого милого ему человека и в постоянной веселости. Он мог принять вину товарища на себя и отбыть за него наказание; он мог выручить подругу, если она нуждалась в его помощи. Однажды, будучи в командировке в Феодосии, он познакомился с местной девушкой; она, почувствовав в нем настоящего человека, попросила Паршина сделать ей одолжение: жениться на ней, но только не в самом деле, а фиктивно. Ей так нужно было, потому что она стыдилась своего материнства от любимого человека, который оставил ее и уехал неизвестно куда, не совершив с ней формального брака. Паршин, конечно, с радостью согласился сделать такое одолжение молодой женщине. В следующий его приезд в Феодосию была сыграна свадьба. После свадьбы он просидел всю ночь у постели своей названой жены, всю ночь он рассказывал ей сказки и были, а наутро поцеловал ее, как сестру, в лоб и протянул ей руку на прощанье. По у женщины, слушавшей его всю ночь, тронулось сердце к своему ложному мужу, она уже увлеклась им и задержала руку Паршина в своей руке. «Оставайтесь со мной», — попросила она. «А надолго?» — спросил моряк. «Навсегда», — прошептала женщина. «Нельзя, я непутевый», — отказался Паршин и ушел навсегда.

Видя в Паршине его душу, люди как бы ослабевали при нем, перед таким открытым и щедрым источником жизни, светлым и не слабеющим в своей расточающей силе, и обычные страсти и привычки оставляли их: они забывали ревность в любви, потому что их сердцу и

телу становилось стыдно своей скупости, они пренебрегали расчетливым разумом, и новое легкое чувство жизни зарождалось в них, словно высшая и простая сила на короткое время касалась их и влекла за собой.

Чем занимался Юра Паршин до войны и до призыва во флот, трудно было попять, потому что он говорил всем по-разному и даже одному человеку два раза не повторял одного и того же. Истина о самом себе его не интересовала, его интересовала фантазия, и, в зависимости от фантазии, он сообщал, что был токарем на Ленинградском металлическом заводе (и он действительно знал токарное дело), либо затейником в парке культуры имени Кирова, либо коком на торговом корабле. Служебные анкеты он заполнял с тою же неточностью, чем вызывал недоразумения.

На войне Паршин чувствовал себя свободно и страха смерти не ощущал. Его сердце было переполнено жизненным чувством и сознание занято вымыслом, и это его свойство служило ему как бы заградительным огнем против переживаний опасности. Смерти некуда было вместиться в его заполненное, сильное своим счастьем существо.

Четыре раза он был ранен. Четыре раза врывалась к нему в тело сталь, но не уживалась там, и моряк четыре раза оживал вновь. Из этого Паршин убедился, что он обязательно уцелеет до конца войны и увидит нашу победу.

Политрук Фильченко смотрел сейчас на скорчившегося от холода, но улыбающегося неизвестному сновидению Паршина.

— Жалко вас всех, чертей! — сказал политрук вслух. — Что ж! Если мы погибнем, другие люди родятся, и не хуже нас. Была бы Родина, родное место, где могут рождаться люди…

Фильченко представлял себе Родину, как поле, где растут люди, похожие на разноцветные цветы, и нет среди них ни одного, в точности похожего на другой, поэтому он не мог ни понять смерти, ни примириться с ней. Смерть всегда уничтожает то, что лишь однажды существует, чего не было никогда и не повторится во веки веков. И скорбь о погибшем человеке не может быть утешена. Ради того он и стоял здесь, — ради того, чтобы остановить смерть, чтобы люди не узнали неутешимого горя. Но он не знал еще, он не испытал, как нужно встретить и пережить смерть самому, как нужно умереть, чтобы сама смерть обессилела, встретив его.

Политрук оглянулся. К насыпи, к их позиции мчалась машина. Где-то далеко ударила залпом батарея врага; ей ответили из Севастополя. Начинался рабочий день войны. Солнце светило с вершины высот; нежный свет медленно распространялся по травам, по кустарникам, по городу и морю, — чтобы все продолжало жить. Пора было поднимать людей.

Моряки встали с земли, кряхтя, сопя, бормоча разные слова, и стали очищать одежду от сора и травы.

— Разобрать оружие и боеприпасы по рукам! — приказал Фильченко.

Моряки разобрали по рукам доставленное ночью оружие и снаряжение — винтовки, патроны, гранаты, бутылки с зажигательной смесью — и приладили их к себе; некоторые же оставили свои старые винтовки, как более привычные. Цибулько откатил в сторону новый пулемет и сел за его настройку в работу.

Полковой комиссар Лукьянов подъехал на машине. Краснофлотцы выстроились.

— Здравствуйте, товарищи! — поздоровался комиссар. — Моряки ответили. Лукьянов поглядел в их лица и помолчал.

— Резервы подойдут позже, — сказал комиссар, — они выгрузились ночью и сейчас снаряжаются. Вы сейчас ударные отряды авангарда. Позади вас — рубеж с нашей пехотой. Ожидается танковая атака врага. Сумеете сдержать, товарищи? Сумеете не пропустить врага к Севастополю?

— Как-нибудь, товарищ старший батальонный комиссар! — ответил Паршин.

Комиссар строго поглядел на Паршина; однако он увидел, что за шутливыми словами краснофлотца было серьезное намерение, и комиссар воздержался от осуждения

краснофлотца.

— Надо сдержать и раскрошить врага! — произнес комиссар. — Позади нас Севастополь, а впереди — все наше, большая вечная Родина. Враг, как волосяной червь, лезет в глубь нашей земли, без которой нам нет жизни, — так рассечем врага здесь огнем! Будем драться, как спокон веку дрались русские — до последнего человека, а последний человек до последней капли крови и до последнего дыхания!

Комиссар поговорил еще отдельно с политруком Фильченко, сказал нужные сведения и сообщил инструкцию командования, а затем предложил краснофлотцам хорошо и надолго покушать.

— Еда великое дело для солдата! — сказал комиссар Лукьянов на прощанье и уехал, забрав две старые сменные винтовки.

Краснофлотцы взялись за пшеничный хлеб, за колбасу и консервы.

— После такой еды землю пахать хорошо! — выразил свое мнение Цибулько. — Целину можно легко поднять, и не уморишься!

— Щей не хватает, — сказал Одинцов, — и горячей говядины.

— Сейчас удобно было бы газу в сердце дать: водочки выпить, — пожалел Паршин.

— Обойдешься, сейчас не свадьба будет, — осудил Паршина Красносельский.

— Ишь ты! — засмеялся Паршин. — Он обо мне заботится. Ну, ладно, вино не в бессрочный отпуск ушло: после войны я, Ваня, на твоей свадьбе буду гулять и тогда уже жевну из бутылки!

— У нас на Урале не из рюмок пьют и не из бутылок, — пояснил Красносельский. — У нас из ушатов хлебают, у нас не по мелочи кушают…

— Поеду вековать на Урал, — сразу согласился Паршин. После завтрака Николай Фильченко сказал своим друзьям:

— Товарищи! Наша разведка открыла командованию замысел врага. Сегодня немцы пойдут на штурм Севастополя. Сегодня мы должны доказать, в чем смысл нашей жизни, сегодня мы покажем врагу, что мы одухотворенные люди, что мы одухотворены Лениным, а враги наши только пустые шкурки от людей, набитые страхом перед тираном Гитлером! Мы их раскрошим, мы протараним отродье тирана! — воскликнул воодушевленный, сияющий силой Николай Фильченко.

— Есть таранить тирана! — крикнул Паршин.

Фильченко прислушался.

— Приготовиться, — приказал политрук. — По местам!

Морские пехотинцы заняли позиции по откосу шоссе — в окопах и щелях, отрытых стоявшим здесь прежде подразделением.

По ту сторону шоссе, на полынном поле и на скате высоты, где гнездились немцы, сейчас было пусто. Но откуда-то издалека доносился ровный, еле слышный шорох, словно шли по песку тысячи детей маленькими ножками.

— Николай, это что? — спросил у Фильченко Цибулько.

— Должно быть, новую какую-нибудь заразу придумали фашисты… Поглядим! — ответил Фильченко. — Фокус какой-нибудь, на испуг или на хитрость рассчитывают.

Шорох приближался, он шел со стороны высоты, но склоны ее и полынное поле, прилегающее к взгорью, были по-прежнему пусты.

— А вдруг фашисты теперь невидимыми стали! — сказал Цибулько. — Вдруг они вещество такое изобрели — намазался им и пропал из поля зрения!..

Фильченко резко окоротил бойца:

— Ложись в щель скорей и помирай от страха!

— Да это я так сказал, — произнес Цибулько. — Я подумал, может, тут новая техника какая-нибудь… Техника не виновата: она наука!

— Пускай хоть они видимые, хоть невидимые, их крошить надо в прах одинаково, — сказал свое мнение Паршин.

— Без ответа помирать нельзя, — сказал Красносельский. — Не приходится!

— Стоп! Не шуми! — приказал Фильченко.

Он всмотрелся вперед. По склонам вражеской высоты, примерно на половине ее расстояния от подошвы до вершины, справа и слева поднялась пыль. Что-то двигалось сюда с тыльной стороны холма, из-за плеч высоты.

Краснофлотцы, стоя в рост в отрытой земле, замерли и глядели через бровку откоса, через шоссе, на ту сторону.

Паршин засмеялся.

— Это овцы! — сказал он. — Это овечье стадо выходит к нам из окруженья…

— Это овцы, но они идут к нам не зря, — отозвался Фильченко.

— Не зря: мы горячий шашлык будем есть, — сказал Одинцов.

— Тихо! — приказал политрук. — Внимание! Товарищ Цибулько, пулемет!

— Есть пулемет, товарищ политрук! — отозвался Цибулько.

— Всем — винтовки!

— Есть винтовки! — отозвались краснофлотцы.

Овцы двумя ручьями обтекли высоту и стали спускаться с нее вниз, соединившись на полынном поле в один поток. Стадо направлялось прямо на Дуванкойское шоссе. Уже слышны были овечьи напуганные голоса: их что-то беспокоило, и они спешили, семеня худыми ножками.

Одна овца вдруг приостановилась и оглянулась назад, на нее набежали задние овцы, получилось стеснение, и из овечьей тесноты привстал человек в серо-зеленой шинели и замахнулся на животных оружием.

«Это умная овца!» — подумал Фильченко про ту, которая остановилась, и решил действовать.

— Цибулько, пулемет по гадам среди нашей скотины!

— Вижу, — откликнулся Цибулько.

Теперь Фильченко увидел среди овец еще шестерых немцев, бежавших согнувшись в тесноте овечьей отары.

— Цибулько!

— Есть, ясно вижу цель, — ответил пулеметчик и затрепетал от нетерпения у пулеметной машины.

— Цибулько! — крикнул политрук. — Зря овец не губи, они племенные. Огонь!

Пулемет заработал. Струя пуль запела в воздухе. Два врага сразу поникли, и задние овцы

со спокойным изяществом перепрыгнули через павших людей.

Стадо приблизилось почти вплотную к противоположному откосу насыпи. Теперь немцев легко было различить среди плотной массы овечьего стада. Их было человек пятьдесят. Некоторые били с ходу из автоматов по насыпи шоссе, другие молча стремились вперед.

Фильченко приказал Красносельскому стать вторым номером у пулемета, а сам вместе с Паршиным и Одинцовым открыл точный огонь из винтовок по немецким автоматчикам.

Пулемет Цибулько работал яростно и полезно, как сердце и разум его хозяина. Половина врагов уже легла к земле на покой, но еще человек двадцать или больше немцев были целы: они успели добежать до противоположного откоса насыпи и залегли там; теперь их пулеметом или винтовками достать было невозможно. А тут еще набежали овцы, которые шли теперь прямо по головам краснофлотцев, дрожа и жалобно, по-детски, вскрикивая от страшной жизни среди человечества.

«Э, харчи хорошие гонят немцы в Севастополь!» — успел подумать Паршин.

— Цибулько! — крикнул Фильченко. — Дай нам дорогу вперед — через шоссе! Огонь по овцам!

Цибулько начал сечь овец, переваливающихся через дорожную насыпь на подразделение. Ближние передние овцы пали, а бежавшие за ними сообразили, где правда, и бросились по сторонам, в обход людей.

— Всем — гранаты! — крикнул Фильченко. — Вперед! — Он бросился с гранатой через шоссе и ударил гранатой по немцам; через немцев еще бежали напуганные, пылящие, сеющие горошины овцы, и немцы их рубили палашами, чтобы освободиться от этих чертей, которых они взяли себе в прикрытие.

Моряки сработали гранатами быстро; они смешали кровь и кости овец с кровью и костями своих врагов.

Краснофлотцы вернулись на свою позицию.

— Ну как? — спросил Цибулько у Фильченко.

— Пустяк, — сказал политрук. — Больше с овцами дрались.

— Какой это бой! — вздохнул Паршин. — Это ничто.

— Кури помалу, — разрешил Фильченко.

Красносельский сволок с откоса битых овец в одно место, чтобы ночью их увезли в город людям на пищу.

Из-за высоты по шоссе и по рубежу, что проходил позади моряков, начала бить артиллерия врага. Пушки били не спешно, не часто, но настойчивой долбежкой, не столь поражая, сколько прощупывая линии советской обороны. И немцы, вероятно, ожидали получить ответ, потому что время от времени их артиллерия умолкала, словно слушая и размышляя. Но оборона не отвечала, и немцы изредка били опять, как бы допрашивая собеседника.

Комиссар Лукьянов короткими перебежками привел резерв — до полуроты морской пехоты — и расположил его на флангах подразделения Фильченко, оставив инициативу на этом участке за Фильченко.

Лукьянов выслушал сообщение политрука о небольшом бое с немцами среди овец и сказал свое заключение:

— Ну что ж. Это их боевая разведка была: бой будет позже.

Комиссар ушел. Вскоре немецкая артиллерия перешла на боевой, ураганный режим огня.

«Пустошь делают впереди себя, — понял Фильченко. — Значит, скоро будут танки».

Он увел свое подразделение в блиндаж, покрытый всего одним накатом тонких бревен, но здесь все же было тише. Сам же Фильченко остался у входа в блиндаж, чтобы посматривать через насыпь и следить за выходом танков.

Шоссе и его откосы выпахивались снарядами до материковой породы; трупы овец и немцев калечились посмертно, и то засыпались землей на погребение, то вновь обнажались наружу.

Левый склон высоты запылил у подножья, где высота переходила в полынное солончаковое поле. Артиллерийский огонь не ослабевал. Темное тело переднего танка вышло на полынное поле, за ним шли еще машины. Они шли вперед под навесом артиллерийского огня.

Фильченко укрылся в блиндаже от близкого разрыва, закидавшего его черной гарью и землей. «Надо уцелеть, — подумал он — сейчас артиллерия смолкнет».

Когда пушки умолкли, Фильченко вывел подразделение на позицию. Танки подходили к насыпи; их было пока что семь: по полторы машины, без малого, на душу бойца.

— Вася! — крикнул Фильченко в сторону Цибулько. — Пулемет по смотровым щелям первой машины! Красносельский, Паршин, бутылки и гранаты! Действуйте! Огонь!

Цибулько дал первую очередь, вторую, но танк бушевал всею своей мощностью и шел вперед на моряков. Паршин и Красносельский поползли через насыпь на ту сторону дороги.

— Точней огонь, пулеметчик! — вскрикнул Фильченко.

Цибулько приноровился, нащупал щель пулевой струею — всей ощутимостью своей продолженной руки, и впился свинцом в смотровую щель машины. Танк круто рванулся вполповорота вокруг себя на одной гусенице и замер на месте: он подчинился смертному судорожному движению своего водителя. Возле танка, встал на мгновение в рост Красносельский и метнул в него бутылку; черный смолистый дым поднялся с тела машины,

затем из глубины дыма появился огонь и занялся высоким жарким пламенем.

Цибулько бил из пулемета уже по другим танкам. Сначала он давал короткие прицельные, ощупывающие очереди, затем впивался в цель насмерть длинной жалящей струей. Красносельский и Юра Паршин действовали за шоссейной насыпью. Они ютились в воронках, за комьями разрушенной земли, за телами павших овец, вставали на момент и метали бутылки и гранаты в ревущие механизмы.

Фильченко и Одинцов ожидали за насыпью своего времени. Сразу задымили густым дымом, а затем засветились сияющим пламенем еще два танка. Осталось в живых четыре. Но немцы скупы на потери, они свое добро не любят тратить до конца.

Четыре танка приостановились и развернулись на месте, обнажив за собой пехоту.

— Пора! — крикнул Фильченко. — Вася! По живой силе — огонь!

Цибулько вонзил струю огня в пехоту противника, сразу залегшую в землю.

Фильченко и Одинцов перебросились через насыпь. Но Красносельский и Паршин опередили их; они на животах уже подползали к залегшей пехоте врага и, чуть привстав, метнули в нее первые гранаты.

Четыре уцелевших танка молча пошли в отход: они не открыли огня, потому что немецкая пехота и русские матросы неравномерно распределились по полю и огнем с танков можно уложить своих.

Фильченко и Одинцов с ходу запустили гранаты по темным телам пехотинцев. Пулемет Цибулько не давал врагам возможности подняться. Когда они приподымались, Цибулько бил их точным секущим огнем; если они шевелились или ползли, Цибулько переходил на «штопку», то есть вонзал огонь под углом в землю сквозь тело врага. Но у пулеметчика была трудная задача: он должен был не повредить своих, сблизившихся на смыкание с противником.

Немцы, однако, тоже соображали кое-что; они поняли, что лучше на время отойти, чем до времени умереть. Человек тридцать сразу вскочили с земли, жалобно закричали и побежали вслед танкам. Фильченко и Одинцов бросили в них гранаты, потом добавили по ним из винтовок, и человек десять пали обратно на землю. Остальные пехотинцы — с полсотни — подняться уже не могли никогда.

Цибулько дал последнюю долгую очередь по бегущим и выщелочил из них еще семерых врагов, и по ним еще били с флангов.

Краснофлотцы возвратились на свою позицию в дорожной насыпи, уже обжитую и привычную, как дом. Они возвратились утомленные, как после трудной работы, и тотчас задремали, пользуясь наступившей тишиной в воздухе и на земле. На посту остался один Фильченко.

Через полчаса над полынным полем и над шоссейной дорогой низко пронеслись немецкие штурмовики. Они одновременно обстреливали землю из пулеметов и бомбили ее, и без того всю израненную. Дремавшие в окопе моряки не поднялись; бодрствующий Фильченко не стал их будить; день еще долго будет идти, и бой еще будет, пусть они отдыхают пока.

После ухода самолетов опять настала тишина. И в тишине кто-то окликнул Фильченко по имени.

Вдоль насыпи бежал корабельный кок Рубцов. Он с усилием нес в правой руке большой сосуд, окрашенный в невзрачный цвет войны; это был полевой английский термос.

— А я пищу доставил! — кротко и тактично произнес кок. — Разрешите угостить бойцов, товарищ политрук?

— Разрешаю, — значительным голосом сказал Фильченко.

— Благодарю вас, — поклонился кок. — Где прикажете накрыть стол, под горячий, огненный шашлык? Мясо — вашей заготовки!

— Когда же ты успел шашлык сготовить? — удивился Фильченко.

— А я умелой рукой действовал, товарищ политрук, и успел! — объяснил кок. — Вы же тут поспеваете овец заготовлять, о вас уже половина фронта все знает. Сколько вы овец

подшибли, и то люди знают, ну — точно!

— Да откуда же это люди знают, когда мы сами того не знаем! — засмеялся Фильченко.

— А на фронте ж, как в деревне, на улице: чего не нужно — так все враз знают, а что надо — так, гляди, и забыли! — сказал кок.

Рубцов нашел ровное место возле самой насыпи, расстелил чистую скатерть, разложил на ней приборы, поставил тарелки — все находилось в особом ящике при термосе, — а затем вынул из термоса алюминиевый сосуд, парующий и благоухающий мясом.

Краснофлотцы, дремавшие во время воздушной бомбежки, теперь проснулись и вышли из окопа наружу, на мясной запах.

— Это ты что за кафе на войне устроил? — строго сказал Фильченко.

— Кафе на фронте полезно, товарищ политрук, — объяснил кок Рубцов, — оно победе не помешает, нисколько, нет! Вот гроб — это лишнее, его я не захватил. А кафе — это великое дело, товарищ политрук: это мирное время на память бойцам!

Моряки внимательно рассматривали полевое кафе Рубцова, потом одновременно поглядели на кока и захохотали во все свои молодые, отдышавшиеся глотки.

— Бегаешь ты вот тут по переднему краю, шлепнут тебя, кок, по посуде на голове! — предупредил Паршин Рубцова.

— Нет, я чуткий, я буду живой, — отверг кок такое предположение. — А я ж для вас стараюсь, чтоб тело ваше питать!

— Врешь! — сказал Цибулько. — Не бреши!

— Так я брешу, Вася, малость, — сознался кок. — Ну, я тоже хочу немножко себе на грудь чего-нибудь схватить!

— Чего тебе надо на грудь схватить? — прохрипел Красносельский.

— Ну, так, — сказал кок, — пусть орден, пусть будет медаль, я бойцов под огнем кормлю, а чем кок хуже сестры?

— Вот кок-то мировой! — сказал Одинцов. — Он и герой, он и карьерист, можно медаль ему дать, а можно и плюху! Он имеет на две вещи сразу!

— Жрать давай! — не утерпел Цибулько.

— Пожалуйста, — пригласил кок, — у вас же во рту все время слова были, шашлыку места нету!

Подразделение Фильченко целиком уселось на траву за скатерть, а коку велено было стать на пост и глядеть вперед — следить за врагом.

Покушав, моряки решили, что кок Рубцов «может». Это слово означало на их дружеском языке высшую оценку какого-либо действия; сейчас они оценили таким способом шашлычную работу кока.

— Кок, ты можешь! — крикнул Рубцову Паршин.

— Знаю. Я же работник творческий! — равнодушно отозвался кок.

— Этот кок далеко пойдет, — сказал Одинцов, — у него и талант и нахальство есть.

После обеда моряки выстроились. Фильченко скомандовал: «Смирно! Равнение на кока!»

Это было воинским выражением благодарности за шашлык, и кок ушел в тыл, вполне довольный своим героическим мероприятием по накормлению бойцов.

Моряки остались одни. Время было уже за полдень. Фильченко поставил часовым Одинцова, а остальным своим людям велел отдыхать. Бойцы легли по откосу снаружи, чтобы погреться немного на весеннем солнце.

— Фу ты, черт, я пить захотел! — обиделся Паршин на свою привычку пить после пищи. — Хорошо в бою: ничего не хочешь! А как только мирно живешь, так все время тебе чего-нибудь хочется: то кушать, то пить, то спать, то тебе скучно, то…

И Паршин подробно перечислил, что требуется мирно живущему человеку; такому человеку и жить некогда, потому что ему постоянно надо удовлетворять свои потребности. А живет, оказывается, счастливой и свободной жизнью лишь боец, когда он находится в

смертном сражении, — тогда ему не надо ни пить, ни есть, а надо лишь быть живым, и с него достаточно этого одного счастья.

— Вижу танки! — сказал Одинцов с насыпи.

— По местам! — приказал Фильченко. — Принять танки огнем!

Он вышел на позицию и стал терпеливо считать танки, выходившие из-за высоты. Их оказалось пятнадцать: по три машины на душу бойца, а прежде было по полторы; стало быть, немцы удвоили порцию. И тотчас же началась скорая артиллерийская стрельба; немцы били сейчас беглым огнем, отвлекая внимание русских, чтобы занять их силы на широком фронте и внезапно прорвать оборону в одном месте, вонзившись туда танками.

— Уважают нас, — сказал Цибулько, сосчитав машины, — ишь сколько выставляют против меня одного: пятнадцать, деленное на пять и помноженное на тысячу лошадиных сил! Я доволен!

Одинцов задумался. Приближающийся грохот бегущих танков, артиллерийский огонь, беспокойная, шумная и какая-то нарочитая настойчивость врага — все это словно не серьезно, все это хотя и опасно, но похоже на действие человека, который нападает от испуга, стараясь спастись от гибели посредством злости и суеты.

Мощные танки шли напрямую; возможно, что немцы хотели теперь выйти на Дуванкойское шоссе и по шоссе рвануться сразу на Севастополь — так оно было бы более парадно.

Цибулько вслушался сквозь скрежет гусениц и дребезг стальных кузовов в частое мелодичное дыхание дизель-моторов и произнес самому себе: «Эх, и все это против меня! Здравствуйте, инженер Рудольф Дизель! Я на вас не обижаюсь, я уважаю вас за великое изобретение двигателя, я, Цибулько, простой краснофлотец, но великий человек!»

Фильченко сказал, обратившись ко всем:

— Товарищи!

Хотя он говорил тихо, а на земле сейчас было шумно, однако все слышали его.

— Товарищи! Я хочу сказать вам, что нам будет трудно. Я хочу сказать, что мы отойти не можем, мы будем биться здесь до самых своих костей…

— И костями можно биться, — произнес Паршин. — Рванул из скелета и бей. Комиссар товарищ Поликарпов хотел же биться своей оторванной рукой!..

— Товарищи! — говорил Фильченко. — Я говорю вам — друзья, у меня такое же сейчас чувство на сердце, как у вас, поэтому вы меня понимаете ясно. Приказываю вам стоять на этой земле и не умирать, чтобы драться долго, пока мы не поломаем здесь машины и кости врага!

Цибулько подошел к Фильченко и поцеловал его. И все, каждый с каждым, поцеловали друг друга и посмотрели на вечную память друг другу в лицо.

С успокоенным, удовлетворенным сердцем осмотрел себя, приготовился к бою и стал на свое место каждый краснофлотец. У них было сейчас мирно и хорошо на душе. Они благословили друг друга на самое великое, неизвестное и страшное в жизни, на то, что разрушает и что создает ее, — на смерть и победу, и страх их оставил, потому что совесть перед товарищем, который обречен той же участи, превозмогла страх. Тело их наполнилось силой, они почувствовали себя способными к большому труду и они поняли, что родились на свет не для того, чтобы истратить, уничтожить свою жизнь в пустом наслаждении ею, но для того, чтобы отдать ее обратно правде, земле и народу, — отдать больше, чем они получили от рождения, чтобы увеличился смысл существования людей. Если же они не сумеют сейчас превозмочь врага, если они погибнут, не победив его, то на свете ничто не изменится после них, и участью народа, участью человечества будет смерть. Они смотрели на танки, идущие на них, и желали, чтобы машины шли скорее; лишь смертная битва могла их теперь удовлетворить.

На фланги подразделения Фильченко вышли из-за танков автоматчики; их приняли огнем моряки и краснофлотцы Фильченко и та полурота, которую привел комиссар Лукьянов. Значит, у флангов Фильченко была своя забота, на помощь их рассчитывать было

нельзя. Да и фланги Фильченко, справа и слева, имели всего по тридцать бойцов, а противник давил на каждый фланг силою полбатальона.

Там, на флангах, разгорался частый стрелковый бой, но в центре, на линии хода танков, Фильченко велел прекратить стрельбу, чтобы не обнаруживать своих слабых сил.

Битву моряков с танками должен начать Василий Цибулько. Фильченко приказал ему выждать, дав машинам приближение метров на сто.

На подходе ведущий танк рванул вперед прыжком, и все танки за ним резко увеличили свою скорость.

И тогда Цибулько начал битву; он давно уже насторожил пулемет и следил прицелом за движением танка, теперь он пустил пулемет в работу. Привычная рука и чуткое сердце Цибулько действовали точно: первая же очередь пуль ушла в щель головного танка, машину занесло в сторону, и она стала со всего хода в руках своего мертвого водителя. Но второй танк с отважной яростью влетел на шоссейную насыпь, наехав почти в упор на подразделение Фильченко. Мгновенно, опережая свою мысль, Цибулько привстал, приноровился всем телом и швырнул связку гранат под этот танк.

Цибулько забыл о себе и товарищах, и вся группа бойцов была оглушена близким взрывом и сбита с ног воздушной волной. Танк замер на месте, затем медленно от собственного веса сполз юзом по противоположному откосу, на котором еще оставалась на весу половина его туловища. Поднявшись, Цибулько ударил своей левой рукой о камень, чтобы из руки вышла боль, но боль не прошла, и она мучила бойца; из разорванных мускулов шла густая сильная кровь и выходила наружу по кисти руки; лучше всего было бы оторвать совсем руку, чтоб она не мешала, но нечем было это сделать и некогда тем заниматься.

Два танка сразу появились на шоссе. Цибулько забыл о раненой руке и заставил ее действовать как здоровую. Он снова припал к пулемету и бил из него в упор по машинам, норовя поразить их в служебные скважины брони. Но пулемет затих, питать его больше стало нечем: прошла последняя лента. Тогда Цибулько, не давая жизни машинам, бросился в рост на ближний танк и швырнул под его гусеницу, евшую землю на ходу, связку гранат. Раздался жесткий, клокочущий взрыв — огонь стал рвать сталь, и разрушенный танк умолк навечно.

Цибулько не слышал пулеметной стрельбы из этого тапка; однако теперь он почувствовал, что в теле его поселились словно мелкие посторонние существа, грызущие его изнутри: они были в животе, в груди, в горле. Он понял, что весь изранен, он чувствовал, как тает, исходит его жизнь и пусто и прохладно становится в его сердце; он лег на комья земли и сжался, как спал в детстве у матери под одеялом, чтобы согреться.

Иван Красносельский не дал другому танку хода на Севастополь; он выбежал к нему наперерез и бросил в него раз за разом три бутылки с жидкостью. Танк занялся пламенем и, пройдя еще немного, остановился догорать. Красносельский обернулся к товарищам; еще четыре танка вырвались и били, устрашая, с ходу из пушек и пулеметов. Одинцов и Паршин лежа ползли в мертвой зоне обстрела. Паршин метнул с земли бутылку в танк, горючая жидкость влипла в броню и занялась огнем. Снаряд с воем пронесся мимо головы Красносельского; боец ожесточился, что его может убить фашист, и закричал на машину страшным голосом, забыв, что ему внимать там не будут, потом резко и точно запустил бутылку в смертоносное тело машины и обрадовался пламени пожара. У Красносельского осталась еще одна бутылка со смесью; он бросился в яму, потому что свежий танк, обойдя горящий, шел на человека. Сейчас Красносельский узнал чувство хозяйственного удовлетворения: он уже уничтожил две машины, можно уничтожить еще одну, от этого все-таки убудет смерть на свете и жить людям станет легче; уничтожая врага, Красносельский словно накоплял добро, и он понимал пользу своего труда.

Полосуя огнем пространство, танк мчался вперед, низкий, упорный и мощный.

— Стой, стервец! — крикнул Красносельский и вонзил в гремящую сталь жалкую бутылку.

Машину обдало огнем; верхний люк танка откинулся, и оттуда показалось смутное лицо врага. Красносельский вскинул винтовку, но враг опередил его скорострельным пистолетом, и Иван Красносельский пал на землю с сердцем, разбитым свинцом. Умирая, он глядел в небо, он жалел, что его невеста останется без него сиротой, потому что никто ее так не будет любить, как он любил; он закрыл глаза, полные слез, и больше они не открылись у него.

Паршин ударил бутылкой в следующий цельный танк, бросившийся по шоссе прямым ходом на Севастополь. Но пламя слабо принялось на машине, и танк продолжал ход, сбивая с себя скоростью дым и огонь. Тогда Паршин побежал вслед танку с гранатой, но Фильченко и Одинцов перехватили этот танк прежде Паршина: они рванули его гранатами по ходовому механизму, так что из него брызнул металл, и машина, поворочавшись на месте, омертвела. Однако Паршин уже не мог справиться с собой и добавочно дал жару машине, метнув в нее бутылку, чтобы смерть врага была вернее.

На шоссе горели танки, но новые, свежие машины, изменив курс, мчались по полынному полю и стремились выйти на поворот шоссе, минуя горящие и омертвелые танки. Остерегаясь огня врага, бившего сейчас картечью из подходивших танков, Фильченко, Одинцов и Паршин прыгнули в ближний окоп и прошли по нему в блиндаж.

В сумраке укрытия Фильченко внимательно оглядел своих товарищей, не ранены ли они и не тронуты ли робостью их души. Одинцов и Паршин часто дышали, лица их покрылись гарью и земляной грязью, но в глазах их был свет силы и неутоленное ожесточение боем.

— Что, Юра? — спросил Фильченко у Паршина.

— Ничего! — хрипло сказал Паршин. — Давай их остановим всех — не страшно, я видел смерть, я привык к ней!

Паршин в волнении, не зная, что ему делать и как остановить себя, погладил почерневшей ладонью земляную стену блиндажа.

— Давай их крошить, командир! А то я один пойду!.. Я никогда не любил народ так, как сейчас, потому что они его убивают. До чего они нас довели — я зверем стал!.. Сыпь мне в рот порох из патронов — я пузом их взорву!

— Ты сам знаешь, патронов больше нет, — произнес Фильченко и снял с себя винтовку. Одинцов дрожал от горя и ярости.

— Пошли на смерть! Лучше ее теперь нет жизни! — пробормотал он тихо.

Враг гремел близко. Фильченко молча и надежно подвязал себе к поясу одну гранату, а две гранаты оставил товарищам; кроме этих последних трех гранат, больше у них не было никаких припасов на врага. Поэтому теперь нельзя было промахнуться или ударить слабо, теперь нужно бить точно и насмерть с первого раза.

Фильченко ничего не приказал товарищам. Он вышел из блиндажа и исчез в громе пушечной стрельбы с набегающих танков и в скрежете их механизмов, гнетущих подорожные камни. Он подполз к повороту шоссе и замер на время в ожидании.

Одинцов и Паршин, подобно Фильченко, подвязали к поясам по гранате и вышли на огонь навстречу машинам противника. Они увидели Фильченко, залегшего у поворота дороги, куда должны выйти танки в обход подбитых машин, и притаились во вмятине земли. Они понимали, что теперь им важнее всего пробыть живыми еще хоть несколько минут, и берегли себя пугливо и осторожно.

Фильченко тоже волновался: он тревожился, что ошибся в расчете — и танки не выйдут на шоссе, а пойдут по обочине с той стороны. И пока он перебежит через шоссе и доберется до машины, его рассекут из пулемета и он умрет, как глупая кроткая тварь, — на потеху врага. Он томился, вслушиваясь в приближающийся ход машины по ту сторону дорожной насыпи, и боялся, что это последнее счастье минует его. Стреляли теперь с машин реже и только из пушек, направляя огонь по тому рубежу обороны, который находился ближе к Севастополю, позади моряков. На флангах, в удалении все время слышалась стрельба из винтовок и автоматов — там небольшие подразделения черноморцев сдерживали

въедающихся вперед немцев.

Передний танк перевалил через шоссе еще прежде поворота и начал сходить по насыпи на ту сторону, где находился Фильченко. Командир машины, видимо, хотел идти на прорыв рубежа обороны по полевой целине.

Мощная тяжелая машина сбавила ход и теперь осторожно свергалась с откоса земли; водитель, должно быть, не желал гнать ее как попало и снашивать ее дорогое устройство. Жалкие живые былинки, росшие по откосу, погибшая овца и чьи-то давно иссохшие кости равно вдавливались ребрами танковых гусениц в терпеливый прах земли.

Фильченко приподнял голову. Настала его пора поразить этот танк и умереть самому. Сердце его стеснилось в тоске по привычной жизни. Но танк уже сполз с насыпи, и Фильченко близко от себя увидел живое жаркое тело сокрушающего мучителя, и так мало нужно было сделать, чтобы его не было, чтобы смести с лица земли в смерть это унылое железо, давящее души и кости людей. Здесь одним движением можно было решить, чему быть на земле — смыслу и счастью жизни или вечному отчаянию, разлуке и погибели.

И тогда в своей свободной силе и в яростном восторге дрогнуло сердце Николая Фильченко. Перед ним, возле него было его счастье и его высшая жизнь, и он ее сейчас жадно и страстно переживает, припав к земле в слезах радости, потому что сама гнетущая смерть сейчас остановится на его теле и падет в бессилии на землю по воле одного его сердца. И с него, быть может, начнется освобождение мирного человечества, чувство к которому в нем рождено любовью матери, Лениным и советской Родиной. Перед ним была его жизненная простая судьба, и Николаю Фильченко было хорошо, что она столь легко ложится на его душу, согласную умереть и требующую смерти, как жизни.

Он поднялся в рост, сбросил бушлат и в одно мгновение очутился перед бегущими сверху на него жесткими ребрами гусеницы танка, дышавшего в одинокого человека жаром напряженного мотора. Фильченко прицелился сразу всем своим телом, привыкшим слушаться его, и бросил себя в полынную траву под жующую гусеницу, поперек ее хода. Он прицелился точно — так, чтобы граната, привязанная у его живота, пришлась посредине ширины ходового звена гусеницы, и приник лицом к земле с последним вздохом любви и ненависти.

Паршин и Одинцов видели, что сделал Фильченко, они видели, как остановился на костях политрука потрясенный взрывом танк. Паршин взял в рот горсть земли и сжевал ее, не помня себя.

— Коля умер, — сказал Одинцов. — Нам тоже пора. Пять свежих танков появились на шоссе и стали медленно спускаться по откосу, обходя подорванную машину.

Двое моряков поднялись.

— Даниил! — тихо произнес Паршин.

— Юра! — ответил ему Одинцов.

Они словно брали к себе в сердце друг друга, чтобы не забыть и не разлучиться в смерти.

— Эх, вечная нам память! — сказал, успокаиваясь и веселея, Паршин.

Они побежали на танки, сделав полукруг, чтобы встретить их грудь в грудь. Но Одинцов упал к земле прежде, чем успел встретить машину вплотную, потому что пулеметчик с танка почти в упор начал сечь свинцом грудь краснофлотца. Одинцов, умирая, силой одного своего еще бьющегося сердца напряг разбитое тело и пополз навстречу танку — и гусеница раздробила его вместе с гранатой, превратив человека в огонь и свет взрыва.

Паршин, подбежав к другому танку, ухватился за служебный поручень и успел прокатиться немного на чужой машине, а затем, услышав взрыв на теле Одинцова, оставил поручень и отбежал от танка вперед по его ходу. Там Паршин сбросил бушлат и обнажил на себе живот с гранатой, чтобы враги видели того, кто идет против них. А затем, подождав, когда танк приблизился к нему, свободно и расчетливо лег под гусеницу.

Остальные, еще целые танки приостановились на шоссе и на сходах с него. Потом они заработали своими гусеницами одна навстречу другой и пошли обратно — через полынное

поле, в свое убежище за высотой. Они могли биться с любым, даже самым страшным противником. Но боя со всемогущими людьми, взрывающими самих себя, чтобы погубить своего врага, они принять не умели. Этого они одолеть не умели, а быть побежденными им тоже не хотелось.

И вот все окончилось. Немецкие автоматчики, обходившие с флангов место боя танков с моряками, утихли еще раньше: одни были перебиты, а оставшиеся жить окопались.

На месте боя подразделения, которым командовал политрук Фильченко, остались видимыми лишь мертвые танки и один живой человек. Живым остался один Василий Цибулько: он понимал, что скоро умрет, но пока еще был живым. Он выполз на бровку шоссе в стороне от места боя танков со своими товарищами и видел почти все, что было там совершено.

Теперь он увидел, как с рубежа обороны подходила к шоссе рассыпным строем наша воинская часть. От кровотечения и слабости Цибулько то видел все ясно, то перед ним померкал свет и он забывался.

Очнувшись, Цибулько рассмотрел возле себя людей и узнал среди них комиссара Лукьянова. Люди перевязали Цибулько, потом подняли на руки и понесли его к Севастополю. Ему стало хорошо на руках бойцов, и он, как мог, начал рассказывать им и Лукьянову, тоже несшему его, что видел сегодня. Но всего рассказать он не успел, потому что умолк и умер.

Сампо

Не пойду, пока живу я
И пока сияет месяц…
В избы мрачные Похьелы,
В те жилища Сариолы,
Где героев пожирают,
Где мужей бросают в море.
Калевала

На реке Пожве в Карелии была малая деревня, Пожва тож, а в той деревне был колхоз по названию «Добрая жизнь», и всю деревню с колхозом звали Добрая Пожва.

Ото всей Доброй Пожвы осталось теперь одно водяное колесо, потому что оно было мокрое и не сгорело в пожаре. А все другое добро, издавна нажитое и сбереженное, погорело в огне и сотлело в угли, уголь же дотлел далее сам по себе, искрошился в прах, и его выдул ветер прочь.

По деревне Доброй Пожве немцы и финны били из пушек, ее палили бомбами с неба, и деревянная Добрая Пожва погорела и умерла.

Одно водяное колесо осталось целым; оно, как и прежде, в мирное время, вращалось на своем деревянном валу и крутило деревянную же шестерню: только цевки этой шестерни теперь не задевали другой шестерни: вся снасть погорела, и то, что эта снасть крутила в работу на пользу народа — целое машинное устройство, — тоже сотлело в огне.

Лишь одно водяное колесо безостановочно трудилось теперь впустую: поверх по желобу на него, как и прежде, вступала вода, она наполняла ковши и своим весом велела колесу кружиться день и ночь, потому что поток воды был живой и он не убывал.

Битва русских и карел с белофиннами и немецкими фашистами прошла в этом краю, и удалилась отсюда, и не стала более слышна. В наступившей безлюдной тишине одно водяное колесо в Доброй Пожве поскрипывало от старости и работало напрасно.

Вокруг росли и шевелились обгорелыми ветвями леса, и безмолвно лежала под ними чуткая материнская земля, все породившая, но сама неподвижная и неизменная. Однако от этой земли, серой и равнодушной, отвыкнуть было нельзя никому, кто на ней родился однажды. И кузнец, карел Нигарэ, тоже не мог отвыкнуть от привычной земли. Он вернулся в пустую Добрую Пожву, где он когда-то родился и жил всю жизнь до войны.

Нигарэ служил в морской пехоте, спешенной с Ладожской флотилии, рядовым бойцом. Чтобы лучше и привычней было, его в части прозвали Киреем, и он теперь сам привык к себе, что он есть Кирей; он вытерпел в боях всю зимнюю кампанию и не был поврежден врагом, но недавно его оглушило близким взрывом бомбы, и он пал на поле сражения без памяти; опомнившись, он остался целым, но говорить слова стал хуже, он начал заикаться, и при звуках музыки или поющего человеческого голоса или от вида цветущих растений он сразу плакал в сердечной тревоге. Тогда его отпустили из армии на бессрочное время, и Кирей прошел с партизанами через фронт, а здесь, возле родного места, отошел от них, чтобы побыть дома, а после опять вернуться к партизанам и помогать им в починке оружия и железных изделий, в чем Кирей с молодых лет был достаточный мастер. Кирей понимал, что, покуда идет война, даже покалеченный или убогий человек должен быть в деле при войне, потому что другой жизни, кроме войны, нету, пока по избам и земле Карелии ходит мучитель-неприятель.

Кирей обошел тихим шагом всю погибшую, погорелую Добрую Пожву и сел возле шумящего, одиноко работающего водяного колеса.

Человек стал грустным. Его осветило вечернее солнце, уже слабое на севере в эту пору позднего лета. На пеньке сидел утомленный, постаревший человек в изношенной серой шинели; лицо его стало теперь худым и обросло бородой серого, выветрившегося цвета, тело состояло более всего из костей, а свободного мяса давно уже не было, и глаза его доброго льняного цвета спокойно глядели на опустевшую землю, не выражая сейчас ничего, кроме равнодушия. Тело краснофлотца Кирея усохло в боях, отощало в тревоге и в походах, а сердце его, увидев смерть Доброй Пожвы, наполнилось горем до той меры, когда оно больше уже не принимает мученья, потому что человек не успевает одолевать его своим сердцем. И тогда весь человек делается словно равнодушным, он только дышит и молчит, и горе живет в нем неподвижно, сдавив его душу, ставшую жесткой от своего последнего терпения, — но горе тогда уже бессильно превозмочь человека на смерть.

Кирей не нашел в Доброй Пожве ни одного жителя, и его жена и четверо детей тоже пропали со света. Теперь осталось тут одно водяное колесо и еще подалее него погрузилось в почву мертвое железное тело электрической машины, которую в мирное время вращало водяное колесо. От этой электрической машины шла проволока по всей Доброй Пожве и далее окрест — на ферму, на огород и на лесопилку. Сила воды крутила машину, а от машины рождалось электричество, которое работало все, что полезно человеку. Электричество делало свет и тепло в избах, равно оно обогревало скотину и птицу в зимнюю стужу, чтобы скотина не убывала в теле, а птица давала мясо, перо и яйцо; электричество мололо зерно на мельнице, мяло лен, крутило прялки, давало воду по трубе к середине деревни, чтоб ходить за ней было близко, разделывало лес на доски, корчевало пни, дробило камень на постройку дорог и грело молоко для питания детей. И еще работало электричество — все, что надобно для пользы и в чем есть нужда, потому что силы машины хватало для работы и еще оставался остаток.

Жить было тогда сытно, свободно и рукам нетрудно. Кирей, когда у него родился младший сын, устроил от электричества маленькую машину-самосуйку, чтоб она качала потихоньку колыбель ребенка, а мать не трудилась и дремала возле него. Позже, уже перед войной, председатель колхоза велел Кирею поставить на мельнице вальцы, чтобы молоть из зерна самую мягкую сладкую муку, потому что стало рожаться много детей, а малолетним мука грубого помола вредна для желудка, и у них начинаются поносы от жесткого хлеба. Кирей начал было вязать бревенчатый фундамент под вальцовую мельницу, но не управился и ушел на войну, а теперь и следа не стало от его работы.

Кирей вспомнил сейчас, как его жена, кроткая нравом, похожая лицом на ребенка, хоть и сама уже рожавшая детей, как его жена читала ему однажды вечером вслух старую карельскую книгу Калевала. Там было написано про одного мастера Ильмаринена, который сделал самомольную мельницу Сампо: она сама молола зерно, и хлеб шел из нее даром, чтобы кормить всех досыта и чтобы не нужно никому было заботиться о пропитании.

— Это неправда, — сказал тогда Кирей своей жене. — Это зря написано в книге. Зачем хлеб даром нужен? Народу без заботы жить нельзя, у него сердце салом покроется и ум станет глупым.

— А хорошо бы так было, — сказала в то время жена. — Мели да мели зерно, а ни сеять, ни жать не надо…

— Это плохо, — рассудил Кирей. — По телу жир пойдет, в голове пустые мысли будут… Нам такое ни к чему, у нас лучше есть, чем Сампо, у нас — электричество.

— Оно не такое, оно не даром, — сказала жена, — к нему старание нужно.

— Потому оно и лучше, что оно не даром, а требует от человека разуменья, — ответил Кирей. — Нужно, чтоб человек имел развитие, а не жил в одно свое мясо…

— Может, и правда твоя, — задумчиво сказала жена. — Всё у нас было, а всё будто чего-то недоставало, неизвестно чего…

— Неизвестно чего не бывает, — произнес Кирей. — Колхоз наш полон добра был, иль всё тебе мало?

Жена промолчала; неизвестно, чего она думала и чего хотела. И все это теперь миновало. В Доброй Пожве было сделано лучше, чем в сказке о самомольной мельнице Сампо; электричество было искусней сказочной силы, умевшей лишь молоть зерно, и разумнее, потому что требовало от человека задумчивой работы и жить ему зря не давало.

Что же теперь нужно было делать бедному, больному Кирею, когда вся жизнь в Доброй Пожве, бывшая сильнее и разумнее, чем написано в сказке, погорела, исстрадалась и погибла, как не бывшая никогда, когда остался только ветер и пустая земля?.. Кирей не знал, что ему нужно теперь делать и как быть. И он стал делать сначала то, что было прежде; пусть будет все обратно, что умерло и погорело в Пожве.

Пришелец пошел на место своей избы, потрогал там погорелую землю и решил вновь сложить жилище. Обойдя деревню, он нашел топор без топорища, увидел бревнышко в лесу и сел стругать перочинным ножом новое топорище… Народ не может умереть до последнего человека, кто-нибудь останется, и старые люди вернутся жить на прежнее место, а вдобавок к ним нарожаются новые люди, и Добрая Пожва построится разумнее прежнего, и опять электричество станет светить и работать на пользу и счастье. Опять будет хорошо, но только убитые и умершие никогда не возвратятся в свои избы и лучшая жизнь им не достанется.

Что же это такое? Кирей перестал трудиться, почувствовав мучающее горе в сердце, которое уже не может зажить в нем ни от какого добра или счастья. Его жена и дети домой не придут, и Сампо — электричество — для них более не нужно. Жене нужно было кроме хлеба и хорошей жизни еще что-то, неизвестно что, — она о том говорила. Что же это было, что неизвестно было ей самой и что ей было необходимо? Пусть бы она была живой, и дети живыми… Но они погибли.

«Отчего же они погибли? — с затруднением спросил Кирей, глядя на всю опустевшую, замученную землю. — У нас все было, а они умерли… Иль и правда, у нас недостаток был чего-то, о чем жена горевала, и оттого погорела и померла вся наша Добрая Пожва… Я того не знаю, я только живу и мучаюсь один».

Кирей мало чего знал. Сделав топорище к топору, он начал подрубать дерево в лесу, решив по привычке к жизни строиться сызнова. Боль в сердце от горя и воспоминаний мешала ему иногда работать, и тогда он опускал топор и думал, занятый своей печалью: «Отчего наше добро не осилило сразу ихнее зло?.. Оно же было могучее — добро и сила нашей жизни!»

Кирей осерчал и с размаху стал вновь трудиться топором. Он не знал всей тайны жизни и не знал того, почему зло хоть на время может одолевать добро и убивать безвозвратно любимых людей. А это горе уже не на время, а навеки.

До самого позднего вечера с усердием трудился Кирей, терпя свою печаль. Он хотел, чтоб опять настало такое время, когда в новой Доброй Пожве электричество будет молоть зерно, освещать тьму, нагнетать воду и крутить самопрялки. Но это все будет одно лишь добро, а его мало для жизни, потому что добрая жизнь податлива на смерть, как видно стало

на войне.

«Мы сделаем так теперь, — соображал в своем уме Кирей, — чтоб в новой Доброй Пожве мололось не одно хлебное зерно, а смалывалось еще в смерть зло жизни. Электричество того делать не умеет, и никто, должно, не умеет. Но мы помучаемся и тогда сумеем. Хлеб тоже нужен, а одолеть смерть от зла, от врага-неприятеля еще нужнее. Жена-покойница чуяла правду, и умерла она оттого, что мы ее не чуяли».

Кирей решил отстроить пока что одну избу и сделать в ней кузню для починки партизанского оружия. А далее он хотел жить до конца, до самой дальней смерти, пока станет мочи, чтобы строить всю Добрую Пожву, какой она была, и еще лучше, и сработать своими руками самое важное и неизвестное; добрую силу, размалывающую сразу в прах всякое зло.

Самому Кирею уже ничего не нужно было, потому что его сердце ушло в вечное горе о погибших детях и жене. Но он понимал, что сам был виноват в их смерти, раз не мог устроить им жизни без гибели. Он понимал, что и другие люди тоже погибли по слабости его рассудка и по его вине, и по вине таких, кто подобен ему. И совесть перед мертвыми давала ему теперь силу для жизни. Кирей не хотел уйти к любимым мертвым, не отработав своей вины для живых. Пусть живые будут не его дети и чужие люди, однако их сердце никогда не должно быть порушено ни железом врага, ни горем вечной разлуки.

Седьмой человек

1

Через фронт к нам пришел человек. Сначала он заплакал, потом осмотрелся, покушал пищи и успокоился.

Человек был одет худо — в черные тряпки, привязанные к туловищу веревками, и обут в солому. Мягкого тела у него осталось мало, не больше, чем на трупе давно умершего человека, — сохранились лишь кости, и вблизи них еще держалась его жизнь. По лицу его пошла темная синева, словно по нему выступила изморозь смерти, и оно у него не имело никакого обыкновенного выражения, и только всмотревшись в него, можно было понять, что в нем запечатлена грусть отчуждения ото всех людей, — грусть, которую сам этот исстрадавшийся человек, должно быть, уже не чувствовал или чувствовал как свое обычное состояние.

Он жил, наверно, лишь по привычке жить, а не от желания, потому что у него отбирали и отчуждали все, чем он дышал, чем кормился и во что верил. Но он все еще жил и изнемогал терпеливо, точно до конца хотел исполнить завещание своей матери, родившей его для счастливой жизни, надеясь, что он не обманут ею, что мать не родила его на муку.

Уже душа его — последнее желание жизни, отвергающее гибель до предсмертного дыхания, — уже душа его явилась наружу из иссохших тайников его тела, и поэтому лицо его и опустевшие глаза были столь мало одушевлены какой-либо жизненной нуждою, что не означали ничего, и нельзя было определить характер этого человека, его зло и добро, — а он все жил.

По документам он значился Осипом Евсеевичем Гершановичем, уроженцем и жителем города Минска, 1894 года рождения, служившим ранее старшим плановиком в облкустпромсоюзе; но по жизни он был уже другим существом, может быть — святым великомучеником и героем человечества, может быть — изменником человечества в защитной, непроницаемой маске мученика. В наше время, во время войны, когда враг решил умертвить беспокойное разноречивое человечество, оставив лишь его изможденный рабский остаток, — в наше время злодеяние может иметь вдохновенный и правдивый вид, потому что насилие вместило злодейство внутрь человека, выжав оттуда его старую священную сущность, и человек предается делу зла сначала с отчаянием, а потом с верой и

удовлетворением (чтобы не умереть от ужаса). Зло и добро теперь могут являться в одинаково вдохновенном, трогательном и прельщающем образе: в этом есть особое состояние нашего времени, которое прежде было неизвестно и неосуществимо; прежде человек мог быть способен к злодеянию, но он его чувствовал как свое несчастие и, миновавши его, вновь приникал к теплой привычной доброте жизни; нынче же человек насильно доведен до способности жить и согреваться самосожжением, уничтожая себя и других.

2

Гершанович к нам пришел при помощи партизан, которых удивил и заинтересовал столь редкий человек, — редкий даже для них, испытавших всю свою судьбу, — способный вместить в себя смерть и стерпеть ее; они его провели, укрывая собою, и пронесли на руках мимо укрепленных очагов противника, чтобы он отошел сердцем от страдания, от самого воспоминания о нем и стал жить обыкновенно.

Речь Гершановича походила на речь человека, находящегося в сновидении, точно главное его сознание было занято в невидимом для нас мире, и до нас доходил лишь слабый свет его удаленных мыслей. Он назвал себя седьмым человеком и говорил, что с ручной гранаты он не подвинул предохранителя, потому что предохранитель был тугой и было некогда его двигать, а тугим предохранитель оказался оттого, что работа отдела технического контроля поставлена не на должную высоту, не так, как в его Минском облкустпромсоюзе.

Затем Гершанович говорил нам более ясно, что он брал домой вечернюю работу; ему нужны были деньги, потому что детей он нарожал пять человек и все его дети росли здоровыми, ели помногу, и он радовался, что они поедают его труд без остатка, и он приучал себя спать мало, чтобы хватало времени на сверхурочную работу; но теперь ему можно было спать долго и ему можно даже умереть — кормить ему больше некого: все его дети, жена и бабушка лежат в глиняной могиле возле Борисовского концлагеря, и там еще с ними лежат вдобавок пятьсот человек, тоже убитых, — все они голые, но сверху они покрыты землей, летом там будет трава, зимой лежит снег, и им не будет холодно.

— Они согреются, — говорит Гершанович. — Скоро и я к ним приду, я соскучился без семьи, мне ходить больше некуда, я хочу проведать их могилу…

— Живи с нами, — пригласил его один красноармеец.

— Я буду здесь жить, а они будут там не жить! — воскликнул Гершанович. — Им так нехорошо, им невыгодно — где же правда?.. Нет, я пойду к ним через смерть во второй раз. Один раз не дошел, теперь опять пойду.

И он вдруг вздрогнул от темного воспоминания:

— И опять я не умру. Убивать буду, а сам не умру.

— Почему? Это как придется, — сказал ему слушавший его красноармеец.

— Так опять придется, — произнес Гершанович. — Фашисту жалко смерти, он скупой, он одну смерть нам на семерых давал — это я им такую рационализацию изобрел, а теперь еще меньше будет давать: немец бедный стал.

Мы не поняли тогда, что хотел сказать Гершанович, мы подумали: пусть он бормочет.

Вскоре к нам пришли четверо партизан. Они, оказывается, давно знали Гершановича как бойца партизанской бригады имени N и сказали нам, что Гершанович — это великий мудрец и самый умелый партизан в своей бригаде. Семья его действительно была расстреляна под Борисовом, когда там расстреляли сразу полтысячи душ, во избежание едоков и евреев.

— А его самого смерть ни разу не взяла, хоть он и не прочь, — сказал один новоприбывший партизан. — Оно понять можно — почему это так: Осип Евсеич человек умный, и смерть ему нужна не глупее его, а фашист воюет шумно, бьет по дурости, — это еще нам не погибель… В Минске Осипу Евсеичу пуля прямо в голову шла — и с ближнего

прицела, — а в голову внутрь она не вошла, он ее заранее мыслью упредил…

Мы сказали, что этого не может быть.

— Может, — сказал партизан. — Это кто как воюет. Если воевать умело, то — может быть.

В доказательство он первый попробовал пальцами затылок у Гершановича; потом то же место попробовали мы — там под волосами была вмятина в черепе от глубокого ранения.

3

Поживши еще немного с нами, поев хорошей пищи, Гершанович стал более разумным и обыкновенным на вид, и тогда он снова ушел в дальний тыл врага, вместе с четырьмя партизанами. Он хотел вторично пройти тою же дорогой, где его не одолела смерть, где он не довершил своей победы, и потом вернуться к нам в скором времени.

Одетый в белорусскую свитку, обутый в лапти и вооруженный, Гершанович ушел ночью во тьму врага, ради его гибели и ради того, чтобы проведать своих мертвых детей.

Дойдя до Минска по партизанским дорогам, Гершанович отошел от своих спутников и снова, как и в первое свое путешествие, вышел в сумерки на окраину города. Он шел одиноко в тихом сознании, понимая мир вокруг себя как грустную сказку или сновидение, которое может навсегда миновать его. Он уже привык к безлюдию, к смертным руинам немецкого тыла и к постоянному ознобу человеческого тела, еще бредущего здесь живым.

Гершанович пошел мимо лагеря для русских военнопленных. Там за проволокой никого сейчас не было видно. Потом поднялся вдали русский солдат и пошел к проволоке. Он был одет в обгорелую шинель и без шапки, одна нога его была босая, другая обернута в тряпку, и он шел по снегу. Двигаясь на истощенных, трудных ногах, он бормотал что-то в бреду, — слова своей вечной разлуки с жизнью; затем он опустился на руки и лег вниз лицом.

У въезда в лагерь было людно. «И тогда было людно, — вспомнил Гершанович, — здесь всегда есть люди».

На скамье, возле контрольной будки часового, сидели двое фашистов, — это были старшие стражники из гестапо. Они молча курили трубки и улыбались тому, что видели перед собой.

Двое русских пленных в исправной воинской одежде и сытые на лицо гнали из лагеря других двоих людей, тоже русских пленных, но столь исхудалых, ветхих и равнодушных, что они казались уже умершими, бредущими вперед чужою силой.

Фашисты сказали что-то русским, и те двое, что были исправны на вид, толкнули двух своих товарищей, которые покорно упали, потому что они были беспомощными от слабости. Потом двое кормленых русских насильно подняли ослабевших и бросили их оземь. Затем сытые русские остановились в ожидании, желая отдохнуть. Немцы закричали им, что нужно трудиться далее, пока из слабых и ненужных выйдет весь дух жизни. Кормленые изменники исполнительно приподняли изнемогших красноармейцев и вновь бросили их головой на мерзлые кочки.

Фашисты засмеялись и велели работать скорее. Гершанович стоял в отдалении и смотрел; он понимал, что это убийство происходит ради экономии патронов, на которые немцы в тылу очень скупы, и, кроме того, фашистам из убийства необходимо было сделать воспитательное назидание для еще живых пленников.

Изнутри лагеря к воротам подошли пять человек пленных и безмолвно глядели на смертное истязание своих товарищей. Немцы их не прогоняли; они смотрели на русских с улыбкой привычной, почти равнодушной ненависти, приказав теперь работать изменникам реже. Но тем работать теперь было уже бессмысленно: они приподымали с земли и вновь бросали на кочки одни трупы с размозженными головами, с запекшейся охладелой кровью; люди, должно быть, скончались от внутреннего изнеможения, еще когда их ударили о землю первый раз: в них уже нечем было держаться дыханию. Однако фашисты продолжали эту

казнь трупов, желая, чтобы ее воспитательное значение проявилось для живых в свою полную пользу.

Гершанович тихо направился к сидевшим на скамье немцам. К ним же в то же время подошли уставшие изменники и, вытянувшись, попросили добавочных харчей к пайку, что им полагалось за службу.

Немцы молча усмехались: затем один ответил им, что надбавки к пайку больше не будет: на хлебный обоз напали партизаны, и теперь нужно взять хлеб у партизан обратно. Ступайте в наш карательный корпус, сказали фашисты, и отбирайте хлеб у партизан, тогда будете сыты, а у нас хлеба для вас нету…

Гершанович подвинул чеку на гранате под полой своей свитки и с ближней дистанции, с точностью метнул гранату в четверых врагов.

Граната яростно рванулась огнем, словно вскрикнула последним голосом человека, и враги людей, замерев на мгновение неподвижно, пали затем к земле.

В прошлый раз у другого въезда в этот же лагерь граната у Гершановича не взорвалась, он только разбил ею голову одного врага, как мертвым куском металла, но теперь он обрадовался и с удовлетворенной душой побежал прочь.

Однако часовой в контрольной будке остался живым; он начал стрелять вслед Гершановичу и в воздух.

Пять вооруженных самооборонцев появились из павильона, где когда-то продавались прохладительные напитки, и с шумом, крича друг на друга, чтобы не испугаться самим, напали на Гершановича и обезоружили его.

4

Осипа Гершановича доставили в районную комендатуру, где он уже однажды бывал. Здесь в подвале каждых шестерых людей расстреливали одной пулей — так нужно было для экономии боеприпасов. Для того всех шестерых ставили близко в затылок друг другу, а в один рост их подравнивали тем, что маломерным подкладывали под ноги чьи-то сочинения в толстых книгах.

В комендатуре у Гершановича спросили — будет ли он что-нибудь говорить, чтобы остаться живым. Гершанович ответил, что, наоборот, говорить он не будет ничего, так как желает умереть, и не следует его мучить избиением — не потому, что не надо, а чтобы не тратить напрасно силу полевой жандармерии, чтобы в солдатах осталось целой лапша с бараниной, которую они кушают за счет государства.

Офицер, возможно, подумал, что слова Гершановича разумны, и он велел увести его. Однако Гершанович, пока не был мертвым, жил, и боролся, и надеялся победить.

Этот офицер был не тот, который допрашивал Гершановича в первый раз, поэтому Гершанович вторично предложил свое изобретение: можно одной пулей убивать не шестерых, а семерых, седьмой умирает не сразу, а потом, но тоже все равно умирает, для государства же получается экономия на огне в четырнадцать процентов.

— Седьмой не погибает, — сказал офицер. — Пробойная сила пули значительно ослабевает уже в шестой голове. Мне докладывали, что раньше здесь пробовали ставить седьмого, он уцелел и скрылся из незарытой могилы, раненный в затылок.

— Он умел уцелеть, — разъяснил Гершанович, — он был понимающий, и то голова его болела, ему ее повредили. Я знаю!

— Кто это был? — спросил офицер.

— А я знаю кто? Мало ли кто: жил один человек, жил мало, его убивали, он опять жил и умер сам, скучал по семейству…

Офицер подумал:

— Испытаем новый выпуск модернизированного мушкета — вы будете седьмым, но для опыта я поставлю и восьмого.

— Ну, конечно! — охотно согласился Гершанович.

— Интересно, — говорил офицер, — в мозгу ли у вас останется пуля или пробьет в лоб и выйдет в восьмого? У этих мушкетов жесткий огонь, но их пробойная сила неизвестна…

— Это интересно, — сказал Гершанович, — мы с вами это узнаем, — и подумал про офицера, что он глупый человек; затем конвойный солдат увел узника.

5

В общей камере, населенной будущими покойниками, шла обычная жизнь: люди чинили одежду, беседовали, спали или размышляли о том, какая у них есть жизнь и какая она должна быть по мировой правде. Камера не имела окон; круглые сутки в ней горела маленькая керосиновая лампа, и только вновь прибывший заключенный мог сказать время, но вскоре время опять забывали, о нем спорили, и никому не известно было достоверно — день или ночь идет на свете, а это всех интересовало.

Гершанович нашел себе место на полу и лег отдохнуть; его беспокоила теперь мысль — кто будет восьмым на расстреле; ему, этому восьмому, обеспечено верное спасение, если восьмой не окажется трусом или глупым человеком. «Плохо, — думал Гершанович. — Его пуля ударит слабо, если меня она убьет, — ну она кость ему может повредить, только и всего, — а он подумает, что его убило, и умрет от страха и сознания».

Прошло немного времени; Гершанович еще не успел отдохнуть, но всей камере уже велели выходить. Гершанович этого ожидал; он знал по первому разу, что немцы долго не содержат назначенных к смерти, чтобы не кормить их и не поить и вообще не думать о них, тратя напрасно размышление.

Второй раз в жизни опускался Гершанович по тем же темным каменным ступеням на смерть в подземелье. Он не узнал среди своих товарищей, шедших с ним на гибель, ни одного знакомого лица, и по их словам он догадался, что этих людей недавно привезли из Польши.

Ефрейтор сосчитал восемь человек, и в их числе Гершановича, шедшего вторым, а прочих оставил на лестнице.

В подвале светил робкий свет одинокой свечи, и возле света стоял тот офицер, который допрашивал Гершановича. Офицер, любитель оружия, рассматривал какую-то укороченную винтовку. «Все выгадывают на пользе, экономике, — рассудил Гершанович. — А нам экономить нельзя, пусть две пули на каждого немца придется, и то будет доход!»

Ефрейтор начал устанавливать заключенных в затылок.

— Я седьмой! — загодя напомнил Гершанович.

— Первым не хочешь умирать? — спросил ефрейтор. — Перехитрить нас хочешь? Умирай седьмым, по льготе, положи себе кирпич под ноги, у тебя роста не хватает.

Гершанович положил кирпич под ноги и встал на свое смертное место. Он посмотрел на восьмого, последнего человека — перед ним была лысина старика, покрытая пухом младенчества.

«Будет смерть, — сообразил Осип Гершанович. — А что такое? Здесь я жил неплохо; на тот свет попаду — и там буду стараться быть, и там мне будет хорошо, и детей своих увижу. А если ничего там нет, так, значит, я буду как мои мертвые дети, наравне с ними, — и это будет тоже хорошо и справедливо: зачем я живой, раз в земле мое убитое сердце?»

— Готово? — спросил офицер. — Дышите глубже! — приказал он заключенным и затем пообещал им. — Сейчас вы уснете сладким детским сном!

Гершанович, наоборот, перестал дышать и прислушался в наступившей тишине, желая услышать для своего развлечения выстрел; но он его не услышал и сразу сладко уснул: добрый ум его забылся сам по себе, обороняя человека от безнадежности.

Проснувшись, Гершанович попробовал свой лоб — он был гладкий и чистый. «Пуля у меня в уме», — решил человек. Тогда он попробовал свой затылок и нащупал там лишь старую вмятину прежнего увечья. «Я все еще живой, я на этом свете, я же так и думал, —

размышлял узник. — Их новый мушкет — это не изобретение, их начинка патрона слаба, я так и знал. Ну скольких они убили одной пулей? Ну троих, четверых, наверно, а прежде до меня, до шестого, пуля доходила: слабеет враг людей, слабеет — я чувствую!»

Гершанович, лежа, пригляделся в сумраке, еще озаренном тайным, еле дышащим, вздрагивающим издали светом. Возле него лежал его передний сосед — лысый старик с детским пухом на чистой коже головы. Гершанович приложил свою руку к голове старика; голова его остыла, и весь человек умер, хотя он и не был поврежден ничем. «Вот я и думал — не нужно пугаться, — решил Гершанович. — От испуга может свет кончиться, а что тогда будет? Не нужно пугаться!»

Он сообразил, где находится; это было подземелье, где их, восьмерых людей, расстреливали, и свеча еще вдали не догорела. «Плохо, что мы тут, — рассуждал Гершанович. — Будет смерть. Ну что ж! Перед смертью тоже бывает немного жизни. В прошлый раз меня увезли в могилу, оттуда можно было жить…»

К нему склонился офицер. Гершанович почувствовал его по чужому дыханию, по смрадной нечистоте его внутренности, выносимой с дыханием наружу.

— Ну, как это у вас большевики говорят? — сказал офицер. — Не вышло?! Седьмым стал в очередь, жить захотелось еврею!

— По-моему, это у вас не вышло, — ответил Гершанович, — я живой!

— Ты уже мертвый! — определил офицер и наставил в лоб Гершановичу дуло своего личного маленького револьвера.

Гершанович поглядел в бледные, изжитые тайным отчаянием глаза офицера и сказал ему:

— Палите в меня… Здесь у меня жизнь, а там мои дети — у меня везде есть добро, мне везде хорошо… Мы здесь были людьми, человечеством, а там мы будем еще выше, мы будем вечной природой, рождающей людей…

Пуля вошла в глаз Гершановичу, и он замер; но еще долгое время тело его было теплым, медленно прощаясь с жизнью и отдавая обратно земле свое тепло.

6

Спустя много времени к нам через фронт явился пожилой партизан и рассказал нам эту историю гибели Гершановича. Он был восьмым, последним человеком в очереди смертников, а впереди него стоял Гершанович. Он сумел настолько сподобиться мертвым и настолько сократил свое дыхание, что даже остыл телом, и тем обманул, ради жизни, немецкого офицера и даже ввел в заблуждение пробовавшего его затылок Гершановича.

Свеча в подземелье потухла, другой зажигать не стали, и этот старик, без точной проверки его смерти, был свезен и брошен в овраг вместе с истинными покойниками, а затем тихо ушел оттуда. Из экономии рабочей силы фашисты не всегда роют могилы, в особенности зимой — в мерзлом грунте.

Добрый Кузя

1

До войны, бывало, слабоумный дурачок Кузя ходил по своей деревне Абабково и собирал милостыню хлебом. Он ходил редко, когда уже совсем отощает, был кроток душой и боялся людей. Жил Кузя в избе один, ни родных, ни семейства у него не было, и он лежал обыкновенно на печи в дремоте, терпя свою жизненную участь, пока не ослабевал от голода. Тогда он подымался, брал котомку и шел осторожно по деревне, боясь помешать чем-либо людям. Но люди, увидев бредущего молчаливого Кузю, сами звали его к себе.

— Кузя, иди, хлебца подадим.

Кузя медленно поворачивал к хозяйской избе и бережно брал ломоть хлеба, укладывал его затем осторожно в котомку, чтобы он цел был и не крошился в дороге. Собрав немного, Кузя уже оборачивался идти к себе в избу.

— Кузя, аль ко двору пошел? — спрашивала его хозяйка с крыльца. — Иди хлебушка возьми.

— А мне теперь не надобно, — говорил Кузя в ответ. — У меня его, видишь, полная сума, — когда я его еще поем? Я к тебе потом приду, когда всю милостыню на свою душу потрачу…

— Ишь, вот какой он у нас! — обижалась и гордилась хозяйка. — Один такой на всю деревню: и даешь, так он не возьмет — не надо, говорит, потом приду. Знать, душа в нем другая, не то, что во всех живет…

Кузя, собрав милостыню, поскорее шел домой, норовя уйти проулками и задами деревни, минуя лицевую улицу. Он сторонился людей, потому что боялся им сделать нечаянно зло каким-либо своим словом или навести их на мысль о печали жизни своим бедным видом; и у него у самого болело сердце от людей, если он долго бывал с ними, словно кровью исходило его неутоленное чувство к ним, и он не знал, как утолить и утешить его. Возвратясь в избу, он забирался на печь, и зимой, и летом, и там плакал, пока не утомлялся и не засыпал. Потом он долгие дни жил в одиночестве, сберегая хлеб, чтобы реже ходить побираться.

Во время войны люди подавать милостыню стали мало. Тогда Кузя начал ходить по ближнему лесу и собирал себе на пропитание грибы. Работать он ничего не мог, потому что на работе надо слушаться людей, а он их боялся и не понимал, и его впечатлительная душа постоянно отвлекалась от всего полезного для его жизни посторонним и ненужным.

Вскоре война подошла близко к деревне Абабково, в которой проживал Кузя. В избе у Кузи поселились на постой красноармейцы, четыре человека. Они ели на глазах у Кузи помногу казенной еды — хлеб, говядину, выжирки, чухонское масло, разжевывали хрящи и жилы и запивали всю пищу чаем с сахаром, а потом пили отдельно кипяток и заедали его пропеченным хлебом из чистой просеянной муки. Красноармейцы угощали и Кузю, и он тоже ел немного из страха перед ними, потому что они серчали на него, если он стеснялся кушать их еду. Потом в избе у Кузи стали жить еще пятеро красноармейцев, а трое поместились в крытом дворе; кроме них, по всему Абабкову тоже жило на постое войско, и по всем другим деревням и окрестным лесам шли, останавливались на ночлег и вновь направлялись в поход великие войска.

— Сколько ж такое коров нужно вырастить, проса порушить, постного масла набить, сахару сготовить, чтоб такое войско пропитать? — спрашивал Кузя у красноармейцев. — Много, должно быть?.. Аль земля да теплые дожди управляются всякое добро уродить? Должно, что управляются, а то бы тогда и войны не было — чем кормить войско?.. Я-то ничего не видел, и мне знать не дано, но я так думаю от мысли и боюсь, что вдруг да чего не хватит на войско — чем нам тогда обороняться?..

— На армию, брат, много надобно всякого добра, — отвечали Кузе красноармейцы. — Да ведь земля у нас просторная, солнце на небе теплое, дожди падают в достатке, вот оно и рождается, доброе, в избытке… Чего тут пугаться, — нам всего хватит… Ты ешь побольше и надейся, что добро в бойце не пропадет, оно ему нужно для пользы победы…

Кузя, послушав красноармейцев, оробел и расстроился еще более. По ошибке и глупости своей жизни Кузя иногда близко понимал истину, и он подумал сейчас: «Это правда, что сказал человек: в бойце добро земли и тепло всего неба делается силой в пользу войны со злом, а во мне добро погорает зря, потому что я слабоумный и печальный, и мне надо помереть».

— А я так вот ни к чему живу, — сказал вслух Кузя бойцам. — На работе я маломочный, хозяйства не веду, а харчи трачу…

— Это к чему ж ты так? — спросил его один боец. — Теперь надо каждому стараться

народную пользу творить и против неприятеля упираться, а то нам всем лабец будет…

— А во мне разума нету: я отпущен жить на пензию, — объяснил Кузя свое положение.

— Ну тогда чего ж ты горюешь? — удовлетворился боец. — Без разума какой ты человек, — ты сирота народа, ты не считаешься, с тебя ответа нету. Ума у меня тоже нету, зато я душой правило жизни чувствую.

Бойцы промолчали, стесняясь утешать одними словами горе этого обездоленного разумом человека. Высказался лишь один красноармеец, бывший годами старше всех:

— Без ума-то оно жить, может, трудней, зато помирать легче.

— Легче, — охотно согласился Кузя, — и я скоро помру.

2

Почтальон в прежнее время каждый месяц приносил Кузе перевод на деньги — пенсию, но Кузя их ни разу не брал, считая, что это неправильно — получать жалованье от государства за свою горюющую, бесполезную душу. Потом почтальон стал приходить редко, раз в три месяца или в полгода, и только спрашивал:

— Одумался или еще больше подурел? Возьмешь деньги на инвалидность второй группы? Нет? Значит, принципиальность мешает, а беспринципности в тебе нету? Не надо. Государство на тебя не обидится: ему убытка нету, ему побольше бы таких пенсионеров, — и почтальон уходил.

Теперь Кузя насчитал, что у него накопилось пенсии в райсобесе города Кувшинова на десять тысяч рублей с лишним, да изба его с крытым двором чего-нибудь да стоила, и грибов сушеных было полпуда, и одежда с него останется, хоть она ношеная. Если все его добро сложить, то получится, что один красноармеец целый год может кормиться и воевать на одни его средства. А если красноармейцу не хватит пропитания, чтобы одолеть врага, то он ослабеет и умрет, а негодный к жизни Кузя будет цел. И тогда вся Россия станет похожа на Кузю: она изнеможет, загорюет и пойдет побираться неизвестно куда и будет жить только при смерти.

— Уж лучше я помру, — решил Кузя. — На одного едока будет меньше, а копейка моя от пензии, от избы и от грибов пойдет в дело победы, и я ее не потрачу. Мертвые полезны, они никому не в убыток.

Кузя лег на печь и стал помирать. Ему это было нетрудно, потому что в нем была решимость неподвижного глупого ума и терпение святого сердца. Он лежал, не принимая пищи и питья, и медленно, тихо ослабевал.

Бойцов на постое в его избе в ту пору не случилось, а когда красноармейцы пришли на постой и увидели ослабевшего умолкшего хозяина, то они заявили о том уполномоченному сельсовета.

3

Уполномоченный сельсовета Иван Петрович Шумаков был человек старый, и с самого начала войны он томился одной мыслью — тайной победы. Он хотел выдумать сам себе, как нужно победить врага. Он верил, что тайна победы есть, и она простая, только она до времени находится где-то в стороне от его головы, точно в воздухе; следует только охватить, приневолить ее своим умом, и тогда будет ясно, чем нужно насмерть и навеки одолеть врага.

Шумаков скоро явился к Кузе и спросил его, чем он тревожится.

— Я помирать собрался, — сказал Кузя. — Ты отпиши теперь избу мою и крытый двор при ней, сухие грибы во дворе, одежду на мне — на войско. И пензию в Кувшинове-городе тоже отпиши на войско, я годов восемь ее не получал, там деньги большие…

— Доход большой, — задумался Шумаков. — Я тебе и то еще добавлю и отпишу в доход, что ты жизнь свою не дожил и пропитания напрасно на себя не извел… Слабоумные-то они лет до ста живут, а ты вот дурачок у нас сознательный: ты зря жить и жевать не

хочешь… Спасибо тебе.

— Отпиши в доход и мою жизнь, что непрожитой осталась за мной, — согласился Кузя.

— Обожди, — предупредил Кузю Иван Петрович. — Обожди еще кончаться, подыши два дня. Кладбище-то у нас где? — до него шесть километров, а лошади все в поле заняты, у нас там главная забота, — на чем я тебя на кладбище повезу?

— Я обожду кончаться, — произнес Кузя.

— Обожди, обожди, — попросил Шумаков. — Мы тебе потом за все сразу благодарность вынесем в постановлении…

Хотел еще Иван Петрович спросить у Кузи: как нам дальше быть с немцем-врагом, чтобы победить его поскорее и подешевле, — но передумал: чего Кузя знает, какое у него развитие? Родился он на свет ошибочно, прожил горестно и умирает сдуру…

Через три дня Шумаков зашел в Кузину избу; там было сейчас пусто и постояльцы не ночевали.

— Кузя, ты готов? — спросил Иван Петрович с порога избы.

Но Кузя ничего не ответил ему, потому что он только что скончался и теперь остывал от тепла жизни.

Шумаков ушел из избы, а потом возвратился и привел с собою двух женщин — свою жену и соседку, чтобы они обрядили покойника на вечный путь; сам же сел составлять опись добра и имущества для передачи их целиком государству.

Прибирая покойного, соседка говорила о Кузе, что хорошо — что он помер: кому он нужен был на свете, зачем он жил и зачем томился, только себя мучил и людям надоедал…

— А кто ж его знает — зачем он жил, — тихо сказала жена Ивана Петровича. — Мы-то не знаем, кто нужен на свете, а кто нет… Может, кто не нужен-то, он нужнее и дороже всех окажется… Откуда нам знать.

Иван Петрович задумчиво и удивленно поглядел на свою жену, сшивавшую рядно на покойника.

— Моя-то баба правду говорит, — сурово сказал Шумаков. — А ты чего тут непутевое задумываешь? — обратился он к соседке. — Кому Кузя на свете мешал? Он о целом нашем государстве думал. Он, может, не дурачок, а умнейший человек был, только оказать себя перед людьми стыдился, потому что у него сердце такое болящее было. А ты чего бормочешь тут, ишь бока-то наела в военное время…

Когда покойника приготовили, Иван Петрович велел женщинам запрячь лошадь и отвезти человека на кладбище, а сам пошел ко двору.

Дома он обошел хозяйство и сосчитал свое добро. Муки и зерна у него оказалось пудов возле сорока, ячменя тоже немалая толика, картошек пудов полтыщи, а там еще были в подполье овощи, травы, грибы соленые и сушеные и прочее добро.

— Сын у тебя на войне, вести от него давно нету, — сказал себе Иван Петрович, — народ души своей на войну не жалеет, Кузя вон помер для экономии жизни, а ты харчами весь обложился и заместо умерших второй век хочешь жить… Сукин ты сын.

Шумаков развалил в ожесточении поленницу дров, чтобы порушить привычный домашний порядок, связавший его сердце.

Жена вернулась после полудня на пустой подводе. Иван Петрович велел жене не распрягать лошади и не уводить ее на конюшню, а накладывать тотчас же на подводу зерно и муку в мешках и увозить все прочь со двора.

Жена послушала мужа и сказала ему:

— Аль и ты Кузькой стал?.. Шел бы и ты на тот свет, а я бы тебя повезла туда…

— Я бы и тебя, дурную, в кооперацию отвез, — ответил Иван Петрович, — да там не принимают таких — не товар, говорят…

Он сам погрузил свой хлеб на воз и поехал с ним в районную кооперацию, а жену оставил дома, чтоб она подумала одна и постепенно привыкла к его новому мероприятию.

В Кувшинове-городе он сдал хлеб на базу кооперации и получил в руки приказ в бухгалтерию о выплате ему суммы денег. Иван Петрович пошел в бухгалтерию и там разорвал свою денежную бумажку, а все средства велел отдать Советской России и прочему человечеству, чтобы они легче терпели свои нужды, а после победы не пошли побираться.

1942

Иван Толокно — труженик войны
(В сторону заката солнца)

I

Пока спал, он примерз к земле. «Это у меня тело отдохнуло и распарилось, и шинель отогрелась, а потом ее прихватило к стылому грунту», — проснувшись, определил свое положение сапер Иван Семенович Толокно.

— Вставай, брат! — сказал себе Толокно. — Ишь земля как держит: то кровью к ней присыхаешь, то потом — не отпускает от себя.

Он с усилием оторвался от промерзшей земли, обдутой здесь ветрами до прошлогодней умершей травы.

В той части, где служил Толокно, саперов с уважением называли верблюдами. Каждый сапер, кроме автомата с нормальным боевым запасом и пары ручных гранат, имел при себе лопату, ломик, топор, сумку с рабочим инструментом, бикфордов шнур, личные вещи и еще кое-что, смотря по назначению саперного подразделения. Все эти предметы человек имел неразлучно при себе: он шел с ними вперед, бегал, полз, работал под огнем, отбивался от врага, мешавшего его труду, спал в снегу или в яме, ел и писал письма домой в надежде на встречу после победы, в надежде на жизнь, которая будет вечно счастливой.

Проснулся Толокно вечером, на закате солнца. Командир подразделения, капитан Смирнов, собрал в овраге своих людей, осмотрел их, проверил снаряжение и спросил каждого о самочувствии.

— Я всегда чувствую себя хорошо, товарищ капитан, — ответил Толокно командиру.

— А почему всегда? — заинтересовался капитан.

— А по необходимости! — объяснил Толокно. Капитан указал рукой на заходящее большое солнце.

Бойцы посмотрели в великое пространство, ожидающее их, — потоки разноцветного света на небе походили сейчас на торжественную музыку, трогающую человека за сердце.

Затем капитан объяснил бойцам их задачу на нынешнюю ночь. Следовало теперь же, вместе с приданной саперному подразделению группой разведчиков, выйти к речному руслу, изыскать место для переправы танков и сделать отлогий выход в отвесном берегу реки на сторону противника, а потом, после совершения этой работы, нужно двигаться вперед на танках вместе с десантной группой пехоты и по указанию, которое будет дано впоследствии, вонзиться в землю и отработать систему траншей, укрытий и блиндажей.

— Бойцы и товарищи! — сказал командир. — Мы ведем дороги на закат солнца. Мы, красноармейцы, мы для врага то же самое, что обратный клапан в машине, который только в одну, как раз в ту, сторону открывается, а назад — нипочем, назад он стоит намертвую… Я так считаю, что хватит огненному железу войны ползать по нашей земле — ей хлеб пора рожать!

— Пора! — сказали бойцы, и душа их тронулась болью и воспоминанием.

И после заката солнца они пошли во тьму, нагруженные инструментом для работы и оружием против смерти.

II

Затемно разведчики привели саперов к речному потоку. Иван Толокно и другой сапер, Петр Расторгуев, осторожно пошли вниз по течению, чтобы разведать местность.

Толокно вышел на лед, лед был тонок, и под ним близко чувствовалась живая вода.

В небе засияли две осветительные ракеты врага, и вся река и пойма ее озарились тем неподвижным пустым светом, каким освещаются сновидения человека. Иван Толокно лег на живот и пополз своим направлением. Впереди себя он расслышал равномерное пение воды подо льдом.

Разведчики уже вышли на тот берег и тайно продвинулись вперед, чтобы наблюдать неприятеля и чтобы помочь своим саперам в нужде и опасности.

Толокно дополз до подтаявшего льда и увидел, что вода впереди выходит из-под покрова наружу и струится на воле, шумя на перекате по каменистому беспокойному ложу. Толокно сполз в воду по опустившемуся под ним льду. Он попробовал воду рукой и решил, что в ней можно обтерпеться.

Толокно и Расторгуев пошли по шумной обнаженной воде. Глубина здесь была малая, иногда вода не доходила и до щиколотки; однако древние камни, размером в целого человека, создавали неодолимую преграду машинам.

Толокно и Расторгуев озадачились: все здесь было бы удобно, но камни лежали чередою по всему перекату от берега до берега, а выше и ниже переката река уже имела глубину, и вброд ее перейти невозможно.

Вступив в воду, капитан Смирнов подошел к своим бойцам и сказал им, что здесь надо немедля устроить брод.

— Телом, что ль, грузные камни будем рвать? — спросил Расторгуев.

— Еще чего! — сказал Толокно. — Огнем тут будем шуметь, когда немец невдалеке надзирает. А потом он тут нам половодье устроит…

— Сдвинем камни вниз вручную! — сказал командир.

— А силы хватит у нас? — усомнился Расторгуев. — Камень здесь в грунт врос, это неподъемное дело! Его и не расшатаешь, ишь он леденеет и мокнет, как лаковый стал…

— Ничего, возле смерти человек сильнее, — высказался Толокно.

Две мины рванулись неподалеку и въелись осколками в лед.

III

Капитан через связного передал приказ командиру разведывательной группы: начать ниже переката затяжной маскировочный бой, а всех саперов капитан собрал работать на перекат. Однако немцы, не зная ничего точно, чувствовали намерение русских и вели ощупывающий минометный огонь по району переката. Саперы же не могли ответить врагу огнем, чтобы не обнаружить себя; они ютились в тенях за могучими камнями, в тяжелой воде, до боли в сердце остужающей их тела.

Иван Толокно, работавший до войны десятником на строительстве уральских заводов, понимал всякое дело. Любую работу он начинал со сноровки, с обдумывания способа, которым нужно произвести работу.

Шестеро саперов хотели было по-старинному раскачать камень, вровень дыша друг с другом и говоря что-нибудь в один лад, но камень не послушался силы людей и в ход не пошел.

Толокно присел в воду и, погрузив в нее руки, ощупал камень у основания, затем он отыскал руками и вынул наружу из ложа реки небольшие камни, чтобы разглядеть их при свете вражеских ракет. Найдя, что нужно, — продолговатый камень, похожий на клин, Толокно снял с себя все, что не должно намокнуть, положил это имущество подалее на лед и сел на дно реки. Вода теперь доставала ему по горло.

Обухом топора он начал вгонять клин под сиденье большого камня, желая оторвать его от речного грунта. Работал Толокно топором под водой на ощупь, и руки в мерзлой воде

ходили вязко, немея от усталости. Но Толокно был привычен к работе и одолевал в терпении стужу, жгущую его тело, прочность и вес могучего камня. Жилы рубцами выступили на его больших руках, обветренных, обмороженных, давно покрывшихся толстой, точно заржавленной кожей, оберегающей рабочее жизненное тепло в жилах и мышцах его рук. Изредка Иван Толокно поднимал руки с топором из воды на воздух, чтобы они немного отошли, а затем снова спешил расклинить камень и стронуть его с места.

Вдалеке, вниз по течению реки, наши разведчики начали стрельбу по неприятельской стороне, чтобы неприятель перестал обращать внимание на перекат. Однако немцы тоже открыли встречную стрельбу по разведчикам, но и перекат не переставали покрывать редким минометным огнем — на всякий случай. Сапер Нечаев был убит осколком мины в голову, унести его было некогда, и его положили на лед.

Расторгуев подклинивал тот же камень, что и Толокно, усевшись рядом с ним. Живая вода вошла в зазор, образованный клиньями, и с сосущим звуком ослабила основание камня, сросшееся с ложем реки. Тогда Толокно велел четырем саперам раскачивать камень во всю свою силу, пока он не двинется, не давая ему ложиться в покой; сам же Толокно быстро вгонял под камень все, что находил подходящего в речном потоке возле себя.

Капитан Смирнов взял пример с Ивана Толокно и поставил по четыре и по шесть человек саперов на каждый грузный камень, чтобы после подклинивания трогать их с места живой силой реки и людей.

Камень Ивана Толокно пошел первый, и его оттащили метров на шесть вниз по течению.

— Достаточно! — сказал капитан.

Немецкие осветительные ракеты погасли в небе. Капитан Смирнов пошел по перекату.

— Скорее, скорее давайте, ребята! — говорил он саперам.

Толокно сменил закоченевшего сапера, Трофима Пожидаева, и опустился за него в воду по горло, чтобы без задержки расклинить и оторвать камень.

— Скорее! — торопил командир. — Скоро танки хода запросят.

От тьмы стало как будто еще холоднее. Из-за кручи неприятельского берега начал бить пулемет неприцельным огнем, и пули ложились по перекату кое-где.

— Не утерпел враг погодить немного! — осерчал Толокно, сидя в воде, стругающей его тело ознобом.

— Тут война, товарищ Толокно! — сказал капитан.

— Известно, товарищ капитан! — ответил Толокно. — А тут саперы Красной Армии, а у саперов обе руки — правые: одна камень долбит, а другая стреляет…

Подработанные сидни-камни трогались с вековых своих мест.

Разгромоздив перекат от этих камней, капитан прошел поперек потока и освидетельствовал его, желая убедиться, что проход свободен.

Саперы вышли из воды под обрыв неприятельского берега. Враг занимал позиции несколько далее берега, и под обрывом было спокойно. На воздухе саперы враз обмерзли и обледенели, но вскоре они отогрелись, и им стало жарко в работе. Саперы взяли в лопаты глинистый береговой отвес и начали въедаться в него пологой траншеей, чтобы танки без усилия могли выйти здесь из реки и помчаться в сторону врага.

Полушубки оттаяли на саперах, от них пошел пар. Капитан Смирнов время от времени измерял пологость траншеи, чтобы не рыть лишнего, но и не затруднить танковых моторов, и смотрел на своих бойцов.

Мины и пулеметные струи стремились через головы саперов на перекат и там поражали воду и лед.

«Сколько один Иван Толокно настроил в своей жизни жилищ и всякого добра?» — думал капитан Смирнов.

И он спросил об этом у Толокно, рушившего сейчас грунт впереди себя.

— Не упомню, товарищ капитан, — ответил Толокно. — Сорок пар рубах от пота еще в мирное время сопрели на мне. Четыре шинели и два полушубка на войне истер, седьмую

одежду на себе донашиваю, а кости все целыми живут, и тело ничего! Дышит.

«И этот Иван Толокно, может быть, сегодня же падет на землю сраженным насмерть!» — подумал Смирнов.

Когда траншейный выход был близок к окончанию, капитан велел связному отойти вверх по реке и дать оттуда сигнал ракетой, что танкам, дескать, путь открыт и пехоте также нет трудных препятствий.

Немцы тоже стали беседовать между собой разноцветными ракетами. Иван Толокно глядел на небо, светящееся тихими цветными молниями тех ракет, осыпающихся медленно угасающими искрами.

IV

После полуночи всюду стало тише. Отвлекающий ложный бой разведчиков с противником прекратился. Саперы прилегли на отдых в отрытой дорожной траншее и задремали до прихода танков.

В нужное время капитан разбудил бойцов и велел им приготовиться к посадке на танки.

Иван Толокно не спеша поправил на себе снаряжение и прислушался к утихшей ночи: ничего не было слышно, кроме равномерного пения речного потока по каменистому перекату,

Потом Толокно услышал скрежет мелких камней под гусеницами танков, ворчание моторов и шипение взволнованной воды; а подхода машин к реке он не различил, столь безмолвно они подкрались и столь хорошо были отрегулированы их механизмы.

Траншею танки проходили самым тихим ходом, чтобы саперы успели разместиться на них — вдобавок к тем бойцам, которые уже находились на телах машин.

И танки резко, точно с прыжка, взяв ход, устремились на врага во мрак.

Иван Толокно попал на машину вместе с капитаном Смирновым. Он нашел теплое место на броне и отогревал там руки.

Враг обнаружил машины и стал бить издали артиллерийским огнем. Укрываясь от поражения, танки то сокращали ход, то мчались вперед, как ветер, то шли уклончивым маневром, но все время соблюдали главную, заданную линию движения.

На полной скорости, с воем напряженных моторов, танки влетели в деревню с заглохшими, выморочными избушками. Бойцы на танках приготовились вести автоматный огонь; но здесь никого не было видно, и только из крайней маленькой избы, что была на выходе, полосовал пулеметный огонь. Один наш танк с ходу налетел на ту избушку и похоронил в ней врага.

Если и остались в этой деревушке немцы, то пусть остаются дышать до нашей пехоты; машинам же было некогда и невыгодно тратить свою мощь на всякого мелкого попутного врага.

Немцы били из пушек все более тесным огнем, и Толокно почувствовал, что в воздухе словно немного потеплело. Впереди, по ходу машины, Толокно разглядел неясное, темное место, озаряемое мгновенным, но повторяющимся заревом рвущейся в небе шрапнели, и понял, что это горит деревня. Но из этой деревни, из-за ее обрушенной церкви, из ее могил и колодцев синими кинжалами сверкал огонь сопротивления.

Танк, на котором находился Толокно, шел теперь на всей ярости своего мотора и гремел вперед пушечным огнем, и бойцы, бывшие на машине, кричали, не помня и не слыша себя, воодушевленные мощью боя.

По команде бойцы оставили танк и пошли в охват деревни.

V

Капитан Смирнов вывел своих саперов на западное поле, обойдя деревню и оставив бой позади себя; здесь саперы должны были отстроить новый узел обороны и

сопротивления, пока танки, десантники и следующая за ними мотопехота будут блокировать и уничтожать врага в деревне.

Смирнов взял с собой Ивана Толокно для разметки работ.

В рассветном сумраке лежало перед ними зимнее русское поле, покрытое темными впадинами оврагов.

Капитан Смирнов хотел разбить линию траншеи с выходом ее в дзот по склону балки, начав траншею у бровки этой балки. Но Толокно посоветовал начать вскрытие траншеи раньше, еще на поле, где рос малый кустарник, чтобы и кустарник был у нас за спиной, на нашей земле, — он может пригодиться бойцам. Капитан согласился с этим хозяйственным расчетом.

Второй дзот Толокно задумал строить в самом устье оврага, чтобы пастбища на водоразделе меж двумя оврагами целиком остались за нами.

— Да ты что, Иван Толокно! — разгневался командир. — Мы что, мы сюда скотину пасти пришли? Мы кто — крестьяне, что ль?

— Я на всякий случай сказал, — смирился Толокно. — Мы не крестьяне, мы бойцы, но мы и то и другое…

— Ступай — зови людей! — сказал капитан.

Саперы привычно взялись за земляную работу: она им напоминала пахоту, и бойцы отходили за ней душой, и чем глубже, тем в земле было теплей и покойней.

Наутро бой все еще гремел в деревне; капитан Смирнов немного беспокоился, что сюда не подходит наша авангардная часть, как должно быть по плану сражения. Он решил усилить свое охранение и послал вперед на посты еще пятерых бойцов, в добавление к назначенным прежде, и в их числе Ивана Толокно. «Пусть он заодно отдохнет», — решил командир.

Толокно очистил о снег лопату, взял под мышку автомат, поправил гранаты на поясе и пошел в сторону заката солнца. Командир указал ему направление и расстояние, и Толокно вскоре скрылся за ближним водоразделом.

Он шел ближе к врагу, чтобы увидеть его первым, если враг пойдет на помощь своим солдатам, умирающим сейчас в русской деревне. Толокно дошел до одинокого ствола обгорелой, погибшей сосны и здесь остановился и осмотрелся: вокруг было чисто и свободно, как всюду в равнинной России, где мало лесов. От подножия мертвой сосны начинался спуск в большой, разработанный потоками овраг, а по ту его сторону земля снова подымалась.

Сапер хотел было закурить в тишине, но прежде поглядел вперед. Ветра не было, но в воздухе что-то напевало вдали.

Из-за оврага тихо вышел рокочущий танк с белым крестом и пошел на мертвую сосну и человека.

Иван Толокно посмотрел на машину и почувствовал свое горе, и жалость к себе в первый раз тронула его сердце. Он работал всю жизнь, он смертельно уставал. А теперь фашисты стреляют в него из пушек; теперь злодеи хотят убить труженика, чтобы сама память об Иване исчезла в вечном забвении, словно человек не жил на свете.

— Ну, нет! — сказал Иван Толокно. — Я помирать не буду, я не могу тут оставить беспорядок, без нас на свете управиться нельзя.

Из танка вырвался свет пулеметного огня. Толокно залег за стволом дерева и ответил врагу из автомата по щелям его глаз в машине.

Танк в упор надвинулся на дерево и подмял его под себя. Сосна треснула у корня и удивила сапера синим цветом на разрыве своего тела. Толокно отодвинулся в сторону от падающего дерева и очутился между ним и гусеницей танка, сжевывающей снег до черной земли.

Он увидел, что над ним стало светло: значит, танк прошел далее, пропустив под собою, меж гусеницами, лежащего человека и поверженную сосну.

Иван Толокно, не теряя времени, бросился за танком с гранатой, ухватился за

надкрылок и в краткий срок был в безопасности, на куполе пушечной башни врага.

Танк без стрельбы, молча, шел в сторону, откуда пришел Иван Толокно. Это было для Ивана попутно и хорошо. Он решил взять машину в плен или подорвать ее гранатами, если она откроет огонь по труженикам-саперам либо повернет обратно. «Должно быть, это ихний разведчик блуждает, — размышлял Толокно, — а может, на подмогу к своим в одиночку идет. Этот танк сделали стрелять и давить, а он чужого сапера везет, своего хозяина».

Вскоре на броню танка безмолвно и внезапно вскочили наши люди, — может, они были из боевого охранения, а может — разведчики. Немцы остановили машину, потом повернули было обратно в свою сторону, и Толокно уже хотел оставить машину, чтобы подорвать ее гранатой, но немцы опять тронулись в нашу сторону, и Толокно успокоился. «Дурак, а понимает — жить хочет», — подумал он,

В своем подразделении, куда Толокно, сдав сначала танк с экипажем трофейной команды, благополучно возвратился, командир поблагодарил и поцеловал сапера, а повар сказал:

— А мы думали, что тебя уж больше не будет!

— Нет, — ответил Иван Толокно, — я буду постоянно, ты всегда пищу держи для меня!

1943

Оборона Семидворья

I

— Вперед, ребята, смерти нет! — воскликнул старший лейтенант Агеев и поднял кулак в знак наступления.

Ведущий поднялся с земли, с исходного положения, и, выставив левой рукой лопатку перед своим лицом, чтобы оградить его, побежал вперед. За ним вслед пошли бойцы подразделения.

Командир роты Агеев остался с небольшим резервом на месте и наблюдал за ходом атаки. Огонь артиллерии шел накатом над головами и работал на опережение атакующей цепи, указывая и давая красноармейцам свободу движения вперед; но немцы все еще дышалп встречным огнем.

— Ничего, сейчас они помрут и не воскреснут! — сказал старший лейтенант Агеев.

Прежде он был моряком, потом его спешили в составе морского экипажа, и он пошел воевать по степям и равнинам, не зная до сей поры ни ранения, ни смерти. Он был невелик ростом, но родители его родили, а земля вскормила столь прочным существом, что никакое острие нигде не могло войти в его твердо скрученные мышцы, — ни в руки, ни в ноги, ни в грудь, никуда. Пухлое лицо Агеева имело постоянное кроткое, доверчивое выражение, отчего он походил на переросшего младенца, хотя ему сравнялось уже двадцать пять лет; но маленькие карие глаза его, утонувшие под лбом, светились тлеющими искрами, тая за собою внимательный и незаметный разум, опытный, как у старика.

— Скажи этой Былинке — видят ли они точно моих людей! — сказал Агеев связисту Мокротягову. — Обрадовались и лупят. По-моему, хватит огня, либо пусть несут его дальше.

— Есть, — отозвался Мокротягов и стал звонить Былинке — артиллерии.

Но артиллеристы видели точно: они приподняли накат огня и работали теперь на отсечение противника от путей его отхода или от помощи, которую ему могут подать из ближнего резерва.

Из малой семидворной деревеньки, что надлежало занять Агееву, все еще клокотали пулеметы врага, и атакующее подразделение начало зарываться в огородную почву на открытом, убойном месте, ослабев от потерь и желая передохнуть от гибели. До деревенской

околицы бойцам осталось пройти всего метров сто, однако труден путь для живого сердца в этом невидимом, жалобно поющем потоке свинца.

Агеев понял положение.

— На последнем вздохе остановились! — сказал Агеев. — Чего они там залегли — помирать захотели?.. Пронять врага штыком до костей, где огонь его не достал!

— Едва ли, товарищ старший лейтенант, — там у нас не те люди, что зря ложатся, — ответил связист. — Они отдышку делают.

— Отдышку! — сказал Агеев. Он внимательно посмотрел на небо, где теплом восходил огонь и дым войны, и на опаленный изнемогший кустарник, росший здесь по земле, — на все, что жило и творилось сейчас в действительности.

Все вещества в раздельности существовали в природе, но из них можно было собрать и соединить любое нужное тело; равно и истина находилась сейчас где-то вблизи Агеева, в видимом мире, но она находилась в рассеянии и без пользы для человека, командиру же нужно было собрать эту истину в одно свое сознание, чтобы понять, как нужно одолеть противника. Существует решение любого вопроса, но важно, чтобы это решение образовалось в одной голове; кто этого сделать не может, для того земля и небо бесполезны.

Агеев прилег к земле к телефонному ящику и взял трубку.

— Былинка! — закричал он артиллерии. — Кирпич говорит… Размышляйте о том, что видите! Вы огонь пускаете, а сами дремлете… Прошу точного взаимодействия: мое переднее подразделение не преодолевает встречного пулеметного огня и впилось в землю. Потушите немецкую свечку впереди моей головы! Вы видите их огонь. Приблизьте немного свой огонь к голове моих людей, дайте прямой удар — не жалейте стали, поберегите нашу кровь… Хорошо… есть!

Он положил трубку, но в аппарате прогудел вызов. Агеев послушал. С командного пункта пока спрашивали, что предполагает делать старший лейтенант.

— Взять эту семидворку — вот что я предполагаю! — ответил Агеев. — У меня всегда одно предположение — расклепать врага на части. Нет, батальонного резерва мне не нужно, у меня своего резерва достаточно для операции. Есть, понимаю… Выполню — и не любой ценой, а малой кровью, я дорого им не плачу, — они не те люди, а мы те! Я подымаю свой резерв!

У него в резерве было семь человек. Он посмотрел в сторону неприятеля; немецкий пулемет не истощался в работе и по-прежнему бил по земле огнем. Но на той земле лежали, вкапываясь в нее от смерти, старые товарищи Агеева.

Он помнил их неразлучным сердцем и с тревожной совестью следил за работой дивизионной артиллерии. Разрывы снарядов опорожняли землю возле самого немецкого пулеметного гнезда, но пулемет — с малыми перерывами на зарядку и охлаждение — все еще работал в спокойном терпении.

«Ишь ты, там тоже ничего сидят солдаты, — подумал Агеев. — Это, наверно, там погреб остался под сельской многолавкой».

Он приказал своим людям поодиночке обойти деревню с флангов и выйти на проселок, — с тем чтобы истребить там остаток врага на выходе. Мокротягову Агеев велел оставить пока свое связное имущество на месте и поработать винтовкой и гранатой. И Мокротягов, согнувшись, пошел перелеском, куда нужно, по ту сторону сотлевшей в огне русской деревни.

Другие бойцы тоже пошли раздельно по заданному направлению, сам же Агеев, оберегаясь, начал пробираться к своему залегшему подразделению.

Снаряд тяжело и замедленно прошел в воздухе, удаляясь на врага.

— Уважь меня! — попросил его Агеев. — Ишь, лодырь, как полетел: потихоньку! Ну, приноровись — и давай их в клочья!

Снаряд, словно послушавшись русского командира, рванул вверх прах в деревне и пресек дыхание неприятельского пулемета на его живом огне.

Агеев видел, как атакующая цепь, хранившая себя в земле, поднялась и пошла со

штыками на последнее сокрушение врага.

Командир поспел в деревню к разделочному, завершающему бою, к рукопашной схватке. Немцев в живых еще оказалось штыков двадцать пять, сберегшихся в ямах и порушенных закутках крестьянского хозяйства. Агеев заметил одного пожилого немца, уползавшего бурьяном на выход из деревни; к нему наперерез бежал один наш боец с нацеленным штыком, но Агеев упредил его и первым вышел на немца. Враг поднялся на командира и замахнулся автоматом, потому что стрелять ему было уже тесно и некогда. Командир же вовсе не стал употреблять своего оружия — он кратко, с мгновенной мощью, опустил свой кулак на скулу противника, вложив в этот удар все свое сердце, и лицо врага из продольного стало враз поперечным, и он пал к земле с треснувшими костями головы.

Резерв Агеева не успел миновать деревни, чтобы выйти на проселок, и все люди резерва также сошлись с неприятелем в рукопашной. Из врагов на проселок не вышел никто, все они остались вековать в здешней сельской земле.

Бойцы собрались все вместе, чтобы отдышаться, и сели возле своего командира. Артиллерия била теперь далеко вперед, на предупреждение противника.

Мокротягов стер ветошкой липкую чужую сырость со своего штыка и внимательно посмотрел на него:

— Штык, говорят, молодец, — сказал Мокротягов. — А кто такой кулак? Вон нынче наш командир одного хряпнул кулаком — планируй, что намертво.

— Кулак — кто? — произнес Агеев. — Если штык молодец, то кулак, считай, что родной отец…

— А ведь верно! — согласился один боец с размышляющими осторожными глазами. — Кулак тебе всего сподручней, и он тебе без ремонта, без припаса живет — как отрос однова, так и висит при тебе в боевой готовности.

— Пока тебе его не отшибут! — сказал Мокротягов.

— Ну что ж, отшибут — левшой будешь, — не согласился размышляющий боец. — А и левую повредят — вестовым останешься, и то — солдат. При ногах человек всегда солдат, а уж ноги не будет, тогда ты никто; оставь войско, иди в кустари, лежи в тепле, и согревай поясницу, и поминай про войну внукам… А портянки тебе еще с вечера лежат сухие — добро поживать инвалидам.

— Какие портянки? К чему они тебе? — спросил Мокротягов. Ты же тогда безногий должен быть!

— Ну, а все ж таки, — возразил боец. — Может, у меня хоть одна нога останется: тем более ее в тепле и сухости беречь нужно. Одна нога — сиротка; рука — нет, та и одна живет нескучно…

Агеев прекратил беседу, готовую продолжаться до скончания жизни, если людям дать волю.

— Становись! — приказал Агеев.

Он задумался перед фронтом своих людей и тихо произнес:

— Труден наш враг, товарищи бойцы. Смертью он стоит против нас, но мы не страшимся смерти. После немца мы пойдем против смерти и также одолеем ее, потому что наука и знание будущих поколений получат высшее развитие. Тогда люди будут не такие, как мы, в них от наших страданий зачнется большая душа. Так что смерти нам по этому расчету быть не должно, а случится она, так это мы стерпим! Но для такого дела мало, однако, товарищи, умертвить врага огнем и штыком. Надо, главное, не отдать ему своей победы, не уступить вот этой нашей деревни и всей прочей родной земли. Война без отнятия у врага своей земли, что поле без урожая, — нам так нельзя. Приказываю вам — держать здесь оборону, покуда весь немец, который полезет сюда, обратно, не износится.

II

Агеев давно понял, что на войне бой бывает кратким, но труд долгим и постоянным. И

более всего война состоит из труда. Лопата и топор теперь потребны солдату наравне с автоматом, потому что лишь однажды нужно завоевать свою землю, но отстоять ее от повторных ударов врага, может быть, надо десять раз. Солдат теперь не только воин, он строитель своих крепостей, и, лишь упираясь в них, он может томить врага насмерть и без отдачи назад идти вперед. С крепостями победа дается большим потом, но малой кровью, а без крепости — большой кровью.

Ради того Агеев разделил свою роту: одних людей оа послал на проселок — нести службу боевого охранения, а другим велел строить дерево-земляные укрепления и заниматься в роте по хозяйству, для чего тоже нужна большая забота. Спать было пока некогда, но бойцу сперва надо быть живому, а без сна он терпеть может. Агеев и сам работал вручную, он собирал в погубленной деревне обгорелый, но еще пригодный лесной материал и делал на нем разметку для вязки узлов. Покрытие хода сообщения Агеев приказал строить в четыре наката, а огневых точек — в шесть.

— Аль мы тут век будем вековать, товарищ старший лейтенант? — спросил тот размышляющий боец, что любил все обсуждать и обо всем беседовать.

— Нет, мы тут должны мало быть, — сказал ему Агеев, — потому мы тут и городим такую крепость. А если б в два наката строили, тогда бы многие, правда, век тут вековали, а один накат — все на вечность бы легли…

— До самого воскрешения убитых, что ль, пока наука за силу возьмется?

— Да, до той поры так бы и проспали здесь. Тебе охота?

Боец поразмыслил.

— Оно бы все равно, раз потом советский народ войдет в свою полную силу и своей наукой нас снова к жизни подымет. А можно и повременить помирать — вдруг потом ошибка случится.

— Хватит тебе! — приказал Агеев. — Остановись бормотать. У тебя всегда ум идет, как задние колеса в чумацкой телеге: одно колесо по колее, а другое по целине…

— Так оно так и должно быть, товарищ старший лейтенант, одно колесо везет, а другое землю щупает. У человека то же: одно тянет, а другое окорачивает, иначе бы…

— Теши лежни в накат, — тебе я говорю! — приказал командир.

Вечер на закате угасал в ночь, и с востока надвигалась теплая покойная тьма. Редкая артиллерийская стрельба шла вдалеке на правом фланге, а вблизи никакого огня не было.

Агеев огляделся в местности и почувствовал, что тут ему хорошо. Будь бы мирное время, он всю жизнь мог бы здесь прожить счастливым: тут есть лес, земля должна рожать хорошо, есть суходол для выгона скотины, а в осохшей балке можно сложить прудовую плотину — срубить бы здесь новую избу и жить своим семейством среди народа…

Но сейчас Агеев хотел лишь того, чтобы тишина простояла до рассвета; тогда можно было бы закончить все земляные работы и положить накаты. Однако Агеев остерегался, что враг может не дать ему времени. Он кликнул к себе Мокротягова и велел ему добраться до узла связи на старой передовой, чтобы узнать, почему до сей поры не дают сюда телефонного конца: что они там, в домино, что ль, играют?

Через полчаса Мокротягов вернулся с двумя связистами; он их встретил на пути, они уже тянули сюда конец связи.

— Что же вы, черти! — сказал Агеев связистам. — Что, по-вашему, война?

Мокротягов знал, как нужно сказать, и ответил:

— Война — это высшее производство продукции, а именно — смерти врага-оккупанта, и наилучшая организация всех взаимодействующих частей, товарищ старший лейтенант!

— Точно, — согласился Агеев. — Давайте связь и становись все трое на земляные работы.

По связи Агееву сообщили положение противника по данным разведки и приказали крепче вжиться в землю, потому что с утра противник, возможно, начнет наносить контрудары.

— Ладно, — сказал Агеев. — А вы подбросьте мне саперов, харчей и боезапас.

— Свободных саперов нету, — ответили Агееву. — Ты там старайся жить поскупее, а драться по-богатому. Понятно? Но харчи и боезапас пришлем тебе вскорости. Ты гляди — ты тех людей, которых мы к тебе с добром пришлем, у себя не оставляй, а то вы любите чужой народ усыновлять…

Агеев положил трубку и подумал в молчаливой печали: «Он правду говорит: трудно сейчас нашему народу — весь мир он несет на своих плечах, так пускай же мне будет труднее всех».

Он пошел к уцелевшей кладке каменного фундамента, возле которого бойцы отрывали грунт для пулеметного гнезда, и там взял лопату. И он стал утешать себя и смирять в работе, грея лопату в заматерелой, тяжкой земле. Бойцы поспешали вослед командиру, хоть и непосильно им было спешить: ели они давно и за двое последних суток отдыхали лишь однажды, когда лежали на огороде под огнем, но и тогда они копали землю под собой. Теперь они чувствовали, как до самых костей томится их тело при каждом усилии работы, но они терпеливо вонзали железо в грунт и рвали его прочь, потому что сейчас лишь в этом была нужда войны и жизни.

— Все говорили, что души в человеке нету! — сказал Мокротягов, ощупывая теплое лезвие своей лопаты. — А что же есть? Одно бы сухое тело давно уморилось и умерло бы…

Боец, обо всем размышляющий, приволок в одиночку тяжелую стойку. Отдышавшись, он начал ее устанавливать в теснине земляного хода и расслышал, что говорил Мокротягов.

— Немец бы, если б он мною был, он бы помер и сопрел бы уж, — сказал этот боец. — А я все воюю, и, должно, придется победу еще одержать! Вот премудрость-то… Знаешь что, товарищ Мокротягов, — ты, конечно, связист, ты понимаешь чуть-чуть…

— Опять ты бормочешь там! — закричал из тьмы земляного котлована Агеев.

— Я бормочу, а сам действую, товарищ старший лейтенант! — сообщил боец.

Уже давно свечерело. Снаружи послышались посторонние голоса. Обозные люди пешком принесли горячую пищу в термосах и боеприпасы. Агеев велел своим людям покушать, а сам вышел из котлована наружу, чтобы проведать посты боевого охранения. Он посмотрел на возвышенные звезды, глядевшие с неба навстречу ему своим перемежающимся, словно шепчущим светом.

— Не понимаю вас, — ответил Агеев звездам, — после войны пойму, сейчас заботы много.

Его заботило, что вся эта семидворная деревенька и район вокруг нее хорошо пристрелены немцами, все расстояния также известны им в точности. Как же тут быть, чтобы удержаться с малой силой?

III

Время ушло за полночь к утреннему рассвету. Агеев находился возле проселочной дороги, уходившей в сторону утихшего врага.

Всего у него было здесь четыре поста; два из них он оставил на сторожевой службе, но разделил их на четыре поста, чтобы линия просмотра и охранения не уменьшилась. А восемь человек из других двух постов он повел за собою в убогое, темное поле, не рожавшее теперь ничего. Там он отыскал с бойцами мощную воронку и велел спланировать ее откосы, обваловать и покрыть накатом, чтобы образовалось пулеметное гнездо.

С этого места хорошо простреливалась проселочная дорога и целина на подходах к флангам Семидворья.

— Мы на них земляной войной теперь пойдем! — сказал Агеев. — Будем брать у них нашу землю верстами, но укреплять каждый вершок.

— Это дело! — высказался один боец. — Оно, конечно, трудно, зато умно. А землю железо никогда не возьмет, она хоть и мягкая, да не лопается и не умирает.

— Давайте, ребята, до первого света закончим эту задачу! Ты гляди здесь, Вяхирев, — сказал Агеев, обращаясь к сержанту. — Враг тебя тут никак не минует.

В самом Семидворье бойцы, по темному ночному делу, не управились отыскать и заготовить столько годного лесного материала, чтобы его хватило на всю потребность. Поэтому пулеметные гнезда покрыли лишь в три наката, а ход сообщения оставили вовсе без покрытия. Однако Агеев решил работать в земле и во время самого боя, пока не будет нужды во всех штыках до единого. Для того он отрядил по своему выбору двадцать человек бойцов в землекопы и дал им урок, чтоб они отрывали долгий окоп в сторону врага, начав его от середины хода сообщения и вели его вперед до самого взгорья и под самое взгорье, что валом возвышалось невдалеке. Агеев решил обороняться, въедаясь навстречу противнику, а еще более того, он желал иметь постоянно в запасе укрытия и места для огневых позиций, если построенные гнезда будут разрушены. Командир приказал начать работу немедля и оставить ее лишь ради боя по его команде.

— Мы должны теперь научиться маневрировать в земле под огнем! — объяснил он задачу бойцам. — Работы будет много, а урона в людях мало, и мы сначала упремся врагу в грудь, а потом попрем его насквозь и тронемся далее вперед!

— А как же нам сообразить, товарищ старший лейтенант, чтоб всем гуртом один проход копать и пятки друг другу лопатами не посечь? — спросил постоянно размышляющий, говорящий боец.

— Сообрази сам! — ответил Агеев.

Боец озадачился, и слышно стало, как в бормотании работала его неясная мысль.

— Долго думаешь, — сказал Агеев. — Каждому бойцу своя дистанция и свой урок, каждый сразу вкапывается в землю, а потом бойцы перекапывают между собой в грунте перепонки и соединяют всю линию работы в одно. Ясно теперь? Работу начинать по моей команде… А теперь закончим отделку наших крепостей по-житейскому, чтоб в них как в чистых избах было, есть еще время до рассвета! Мокротягов, становись к аппарату на связь!

Таинственное звездное видение ночи стало смеркаться в небе, не понятое людьми; враг не давал людям времени, чтобы они из Семидворья подняли глаза к небу, и враг не дал нынче срока людям увидеть рассвет и восход солнца.

Воздух загудел вдали, и Агеев приказал бойцам занять свои места. На посты боевого охранения он послал связного, — с тем, чтобы все тамошние бойцы соединились в новом укрытии под командой сержанта и вели наблюдение, а по надобности — огонь.

Три бомбардировщика вышли из сумрака над Семидворьем и бросились по очереди к земле на сокрушение ее.

Бойцы в земле были безмолвны и чутко сжимали в руках свою надежду — оружие. Агеев вслушался в свист вонзающейся в воздух пикирующей машины и крикнул своим людям:

— Не по цели идет… Спокойно, бессмертные мои! Самолет с жестким усилием мотора пошел обратно в высоту мира, гремя по небу, как по твердыне, но его заглушил пронзающий вопль бомбы.

Агеев глядел наружу в скважину из пулеметного гнезда.

— Мимо! — сказал он. — Погрешность: пятьдесят — шестьдесят метров. Вес бомбы — двести пятьдесят. Мокротягов, дай связь на командный пункт…

Но самолеты лишь начали бой. Они равнодушно продолжали работу, сделав три захода, чтобы полностью опорожниться от боезапаса; их машины и материал работали в пределах своей прочности, в норме спокойствия, и только человек существовал с содроганием, обучаясь новой жизни возле своей гибели.

После ухода самолетов Агеев сейчас же опять поставил на работу землекопную команду; он велел своим людям спешить, а троих бойцов отрядил оправить завалы возле огневых гнезд, поврежденные воздушной волной.

С проселочной дороги возвратился связной и доложил командиру, что в боевом охранении раненых и поврежденных нету никого, но убито при переходе в земляное укрепление четыре души.

— Кто же это? — спросил Агеев.

— Антонов, Селиверстов, Петенко и Сигаев, товарищ старший лейтенант! — сообщил связной.

— Командира к телефону! — крикнул Мокротягов.

— Обождать! — сказал Агеев. — Кто, ты говоришь, погиб?

Связной повторил и добавил свое пояснение:

— Они открыли огонь по самолету и обнаружили себя, а другой самолет накрыл цель.

Агеев огляделся в раннем рассветном мире. Он искал в нем соответствия своему горю и отражения гибели людей, но в мире все существовало, как было, с обыкновенным равнодушием — или Агеев был не зорок и не рассмотрел перемен в природе.

К Агееву подошел Мокротягов и прочитал ему по бумажке:

— Командный пункт сообщает: ожидать огня с воздуха и артиллерии, а потом танковой атаки их машин среднего веса. А мы зато будем поддержаны самоходной артиллерией. В конце приказано — противника сдержать, а также измучить его в потерях.

— Ответь: все ясно, приказание понято, — сказал Агеев и отошел в одиночестве.

Отошедши в пустое поле, Агеев обернулся к восходящему солнцу. Он внимательно вгляделся, как оно светит: «Ничего, — решил он, — хоть ты не потухай!»

Он вернулся к укреплению. Бойцы рыли добавочный, запасной окоп. Размышляющий, многоречивый боец уже врылся по пояс на своем уроке; он серьезно посмотрел на Агеева и кратко спросил:

— Вы что, товарищ командир?

— Ничего… Копай!

Все работающие бойцы молча следили взором за командиром, и он остановился перед ними.

— Я ничего… Товарищи, четверых из нас нет. Они уснули долгим сном, наши бойцы. Антонов мог писать стихи в газете, в нем умер Пушкин, не написавший главных сочинений. Петенко мог быть великим ученым — механиком, он имел медаль Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, и в уме его погиб такой же великий машинист, как Уатт или Ползунов, о которых я вам читал вслух по книгам, когда мы стояли в резерве. Товарищ Селиверстов никем не был, он был добрым, и он тоже умер. Сигаев был воином и великим сыном Родины: его дважды ранило под Ольховаткой, но он не ушел с поля и дрался, пока его не ранило в третий раз, и тогда он тоже не ушел из боя, а просто забылся без памяти… Нельзя без них счастливо жить, товарищи. Без них для нас весь мир — сирота. Зачем же нам позволять смерти уносить от нас самое необходимое добро. Это и по-хозяйски плохо. И мы должны сегодня же идти вперед к высшей, правильной истине, и как можно скорее. Истина же теперь, — я вам это верно говорю, — истина теперь в бою, она есть наша победа, и мы должны ее добыть. Такова наша жизнь и задача!

Сознательный, обо всем размышляющий боец прослушал внимательно все слова Агеева и тихо осудил командира:

— Пока он говорил, я землю не копал, а это по дисциплине неверно… Конечно, товарищ старший лейтенант говорит правильно: раз я убит, раз я имею в жизни свой недожиток, то мне его полагается дожить — давай его сюда обратно, это моя порция, иначе беспорядок получится.

Но в сердце этого бойца тоже была память и тоска по убитым товарищам, и он подумал: «Нет, правду говорит командир, мертвым человеком быть пусто и убыточно, а живому должно быть стыдно; ведь мертвый-то за тебя умер, сукин ты сын, а ты хочешь жить только за одного себя; это, брат, не выйдет! А если выйдет, тогда печально станет, тогда грош нам всем цена в базарный день в воскресенье…»

В небе прошумел легкий пристрелочий снаряд и разорвался на огородах за Семидворьем.

— Щупает! — сказал один боец, рывший землю с закрытыми дремлющими глазами.

— По-хозяйски щупает, — заговорил другой красноармеец, — трехдюймовым, чтоб недорого обошлось. Потом уж потяжелее даст и почаще, когда по телу попадет…

Красноармейская подвижная артиллерия сейчас же ответила по врагу из ближнего тыла. Немцы, переждав немного и подсчитав, что им выгодней, начали бить поверх Семидворья по русской артиллерии, желая ее подавить как помеху. Русские самоходные пушки, меняя позиции, изредка били в глубину врага тревожащим, отвлекающим огнем. Немцы же раз от разу учащали огонь, введя в работу целую батарею среднего калибра, не считая нескольких легких орудий. Огонь шел по небу над Семидворьем, а внизу на земле было спокойно. Агеев тотчас же понял свою пользу и вывел из укрытия два взвода на помощь работающим в земле. Он хотел скорее продолжить запасной окоп, довести его до взгорья, за которым уже кончалась деревня и шла проселочная дорога на запад, и врыть этот окоп под самое взгорье, чтобы образовать там добавочное укрытие и новое огневое гнездо.

Командир сам стал за лопату и начал вскрывать землю у подножия взгорья.

— Скорее, ребята! — приказал он бойцам. — Скорее давай кончать полевую фортификацию!

Бойцы с усердием рушили грунт, чувствуя сейчас, как тяжко подается вековой прах их привычным рукам, и стараясь, чтобы у них сами собой не закрылись глаза, натруженные без сна до кровяных жил.

— А может, немец сейчас поумнеет, и мы не успеем урок откопать, — высказался постоянно думающий боец.

— Поумнеть вовремя мало кто поспевает, — пояснил командир. — А немец и подавно не поумнеет… Ум растет у человека из сердца, а у немца сердце пустое, и туда Гитлер свою начинку положил. С той начинки разум в немце никогда не примется, и мы окончим немца!

— Да, пожалуй что, так оно и выйдет, — согласился дальний от Агеева боец Палагин. — У немцев ум заводной, а у нас хоть иногда дурной, да живой, — так мне мой отец еще с той войны говорил…

Агеев вновь поторопил бойцов. По длине более половины окопа уже близка была к отделке: теперь нужно было удлинить его еще и врыть потайной пещерой во взгорье.

Артиллерийская стрельба пошла теснее по воздуху; немцы били часто, работая на подавление русского огня, красноармейские же пушки действовали на предупреждение и беспокойство противника, они громили подходы к новому рубежу своей пехоты и давали время ей обжиться.

Агеев направился в укрепление к телефону; он хотел поговорить с командиром батальона о боевом положении всего участка; кроме того, рота нуждалась в табаке. Пока командир роты говорил с батальоном, немцы еще добавили огня; теперь два или три орудия врага начали бить по Семидворью.

Агеев хотел выйти наружу к своим людям, но его посунуло воздухом обратно в ход сообщения: снаряд разверз землю возле второй огневой точки и, должно быть, повредил его накат. Выбравшись затем на дневную поверхность, Агеев увидел, что размышляющий боец, по фамилии Афонин, лежа на животе, копал землю под самым увалом взгорья, а остальные бойцы опустились на дно готового окопа и там умолкли. Агеев сообразил по расположению двух ближних воронок, что их не могла умертвить взрывная волна, а осколок солдата в земле не возьмет.

— Чего они? — спросил командир у Афонина.

— Сейчас, — сказал Афонин и накрыл голову лопатой, услышав гул несущегося снаряда.

— Они поуснули, — объяснил Афонин потом. — Я тоже было уснул, когда меня побаюкала первая волна, но я-то опомнился.

Агеев пошел по окопу. Бойцы спали, согнувшись на корточках; им было неудобно, но лица их имели кроткое счастливое выражение и дыхание их было спокойно, словно все они отлучились в другой мир.

Два снаряда точным попаданием завалили ход сообщения, отрытый ночью, и повредили огневую укрепленную точку, где находился телефон. Спящие пошевелились и забормотали, но не очнулись от сна.

— Становись! — закричал тогда Агеев спящим и, схватив под мышки ближнего бойца, поднял его на ноги.

Бойцы пробудились и сразу не поняли, где они живут; им не снилось ничего, и они не помнили себя, когда спали, но они пережили во сне темное счастье покоя.

Огонь врага пошел на удаление и бил сейчас по огородам, работая на отсечение агеевского подразделения от тыла.

— Давай дальше вперед — в землю! — приказал Агеев проснувшимся бойцам.

IV

Окоп, подведенный к подошве малого холма или взгорья, бойцы, по указанию командира, развели на три конца и стали их вводить в глубину, под тот холм.

День теперь горел по всему свету, и жарко было на земле, согреваемой солнцем с неба и пушечным огнем.

Агеев полез с лопатой в заваленное укрепление, где был телефон. Но к нему навстречу тоже откапывался кто-то сквозь сыпучую мягкость.

— Ты кто? — крикнул Агеев в грунт.

— Я Мокротягов, товарищ командир. Пулеметы в исправности, боезапас цел, блиндаж тоже ничего, бойцы здесь курят, а связи нету…

— Иди на свет!

К Агееву подполз боец Морковников.

— Вас спрашивают на левом фланге, товарищ старший лейтенант.

Агеев пробрался по ходу сообщения к своему левому флангу. Там стоял в траншее измученный человек со следами земли на лице и одежде.

— Я офицер связи, товарищ старший лейтенант, разрешите передать сообщение…

Агеев и офицер перешли в ближнюю воронку и остались там в одиночестве.

Офицер связи рассказал Агееву обстановку боя:

— В штабе части есть точные сведения — центральный удар противника будет развит в направлении Семидворья. Мы должны здесь оказать торможение движению противника. Вам приказано держаться. Важно, чтобы противник убедился, как нам необходимо это Семидворье. А нам оно по обстановке совсем не нужно. На дальних флангах вашего подразделения пойдут вперед наши главные силы и сомкнутся на западе, впереди вашего расположения, а Семидворье к вечеру или ночью очутится внутри нашего яйца. Но сердцевина боя будет у нас — сюда будет валиться противник, а вы его заманивайте к себе на смерть своим сопротивлением. Вам надо держаться. Решение же боя будет не у вас; здесь вы ведете лишь демонстративную оборону: таков смысл ваших действий. Понятна задача, товарищ старший лейтенант?

— Понятна, товарищ лейтенант, — ответил Агеев.

— Желаю успеха, — сказал офицер связи и повторил: — Желаю успеха и победы. До свиданья… Прощайте, — добавил он затем и обнял Агеева, припав своим лицом к его плечу.

Агеев пошел ко взгорью. Передние бойцы, копавшие землю, уже скрылись вовсе под холмом, работая в недрах его, и оттуда они выдавали грунт наружу по цепи людей, стоявших в окопе. Все бойцы Агеева уже сейчас были почти в полной безопасности от осколочного и минометного огня; завалы же от близких попаданий тяжелых снарядов тоже были не страшны для людей с лопатами, укрытых в окопах и связанных между собой братством и командованием Агеева.

В полдень вступила в бой дальнобойная артиллерия противника тяжелых калибров, причем ранее действовавшие орудия тоже продолжали работать по своему назначению. Наша артиллерия в ответ добавила огня, но отставала в своей энергии от противника, что являлось тайным умыслом, понятным здесь лишь одному командиру Агееву.

Теперь в Семидворье и вокруг него земля разделялась огнем на части и лишалась жизни, а оставшаяся еще не тронутой дрожала в мучении, бережно храня в себе зародыши и

корни хлебных трав, как последнее наследство и достояние.

Бойцы одновременно отрывали три пещеры в глубине холма. Эти земляные горницы были спущены ниже поверхности и находились уже в глинистом водоупоре, глубже почвенного слоя. Так приказал сделать Агеев; он понимал, что глинистый грунт упруго, нерушимо терпит удары и глушит гул канонады, поэтому люди здесь могли успокоиться от устрашения и быть в безопасности; только прямой удар тяжелого снаряда мог завалить одно из подземных укрытий, хотя толщина грунтового подспудного свода была не менее двух метров в самом слабом месте, что при выходе из окопа.

Обойдя эти подземные крепости, Агеев велел их доделать с уютом и выбрать начисто всю сорную мелочь, а потом подмести и при первой возможности украсить помещения травой, ветвями и ротным культурным инвентарем.

Обеспокоившись за свой пост боевого охранения, помещенный в укрытие у проселка, Агеев подозвал к себе Мокротягова.

— Связи нет, и едва ли она скоро будет… Можешь сходить к нашим на проселок и назад вернуться? Только вернуться живым! Как они там, наши товарищи, — чем им помочь… Пойдут танки — пусть сначала пропускают их на нас; а когда мы их тут станем рвать гранатами, тогда и они должны открыть огонь и вцепиться противнику в хвост, это больше встревожит врага. А сперва они пусть помалкивают и берегут себя. Скажи им так.

— Точно, товарищ старший лейтенант. Все понятно.

— А твоя задача какая?

— Уцелеть и вернуться!

— Ступай! Бери автомат, лопатку — и ползи.

Мокротягов ушел на поверхность, чтобы искать себе путь в промежутках огня неприятеля.

Газ от разорвавшихся снарядов постепенно проникал и в подземные укрытия, и только живой запах пота работающих бойцов отбивал смертную сухую гарь чуждых веществ.

Агеев велел на ночных, старых фортификациях — в двух огневых точках и в ходе сообщения — оставить шесть человек, а всех остальных бойцов свести сюда, в глубину прочной земли. С этим распоряжением он послал наружу Афонина, приказав ему самому остаться там для наблюдения, особенно же для просмотра проселочной дороги до самого горизонта.

Содрогание земли происходило теперь постоянно, потому что огонь врага рушился на Семидворье потоком. Грунт в подземных укрытиях крошился и осыпался со стен и верхнего слоя. Затем он стал валиться комьями и плитами. Агеев измерял по беспокойству земли силу неприятельского обстрела. Он решил пока что прекратить всю подземную работу, чтобы бойцы опамятовались и отдохнули перед сражением; он пожалел у каждого бойца его измученное тело.

Люди с наружных фортификаций стали по очереди входить под землю. Агеев велел им размещаться лишь в двух укрытиях, садясь впритирку друг возле друга, а третье укрытие он оставил пустым — для раненых, больных и изможденных.

— Все разместились? — спросил Агеев в первом укрытии.

Дремлющие бойцы, стеснившись друг к другу, сидели в сумрачной мгле, осыпаемые дрожащим прахом.

— Все, что ль?

— Восьмеро там остались, — ответили бойцы. — Огневую на правом фланге кверху подняло и на огороды бросило. — Восьмеро там было.

Агеев вышел в окоп. Афонин волок по низу раненого бойца и на ходу утешал его:

— Забудься пока и усни; проснешься, все тихо будет и свет на добро переменится, — тебе я говорю!

— Девятый, что ль? — спросил командир.

— Мало считаете, товарищ командир, — прокричал Афонин в гуле и ударах огня, — там еще таковых в проходе сообщения пятеро повалилось. Наказанье — таких мужиков

тратить… кто их подобных теперь сызнова нарожает? Где такие бабы-матери!..

— Давай его в третье, крайнее, укрытие, там наш медпункт будет, — указал Агеев. — Кликни Симакова-фельдшера…

Фельдшер Симаков, однако, шел следом за Афониным и нес на себе другого ослабевшего бойца с сочившейся изо рта кровью.

Агеев прошел в огневую точку на левом фланге; она была наполовину завалена и покалечена, но еще годная.

Оттуда, сквозь щель для пулеметного ствола, Агеев начал сам вести наблюдение за проселочной дорогой и окрестностью в стороне врага.

Мокротягов как ушел в укрепленный пост у проселка, так и не возвращался еще. Что там осталось? Дышит ли там кто в живых?

Местность теперь всюду изменилась, против того, какой она была утром. Пыль и дым покрыли смутной наволочью всю землю, и в том сумраке внезапно и часто сверкало мгновенное пламя разрывов. Это действовала наша артиллерия, не давая врагу превозмочь пути на Семидворье.

«Хорошо!» — подумал Агеев; он любил видеть силу человечества в огне и машинах; это питало в нем верную надежду на высшую жизнь в будущем.

К нему подошел Афонин:

— Что мне делать, товарищ старший лейтенант, я все поделал, а теперь томлюсь и говорю ненужные мысли…

— Терпеть надо, Афонин, чтоб уцелеть и встретить живого врага… Сколько у нас мертвых?

— Шестеро померло, седьмой помирает, а восьмой тоже не жилец.

— Оставили они нас одних, — сказал Агеев. — Иди, Афонин, в тот конец хода сообщения, там шестеро бойцов ведут службу наблюдения: скажи им, я велел, пусть уходят в укрытие под взгорье… Мы здесь будем с тобой одни.

Афонин пошел, согнувшись, в тесной земле. И тотчас свет на земле померк, и стало темно и глухо. Агеев испугался, ему показалось, что это внезапно угасло солнце. Но он сразу понял свое заблуждение и утешился в здравом понятии: «Это один я умираю, и мне одному темно, а весь свет цел, только он живет теперь без меня». Однако Агеев вспомнил, что бой не кончен и без него там трудно придется бойцам. И тогда он вскрикнул и резко двинулся телом, чтобы рвануть свое обмершее сердце обратно к жизни. Но он почувствовал теперь, как его теснит вокруг и душит тяжкая земля, и неслышно ему ничего, даже крик его не раздается здесь, и Агеев лишь мысленно слышит его звук, а сам безмолвен и погребен. Он понял, что ему немного осталось дышать, и начал думать те главные, важные мысли, которые человек всегда откладывает додумать, занятый заботами и надеясь жить долго. Но его опять побеспокоили.

Афонин прорыл снаружи завал в блиндаже и на ощупь нашел тело Агеева.

— Это ты, командир?.. Готово дело, что ль?

Агеев увидел прояснившийся сумрак и с заклокотавшим дыханием обхватил руками шею Афонина, глядевшего на него из просвета.

— Как там у нас? Где мои люди? — спросил командир. — Что там было без меня? — Он не был уверен, снится ли ему Афонин или он был правдой, но он все равно решил действовать по правде.

— Живой еще? — сказал Афонин. — А я думал, что уже — готово дело… Ну, пошли дальше жить, раз ты хочешь.

Афонин выволок Агеева в ход сообщения и поставил его на ноги.

— Ишь как, значит, это правда! — сказал Агеев; он увидел свет над землей, но свет этот вдруг помрачился вырванной кверху землей, а затем опять прояснился.

«Это хорошо, — подумал Агеев. — Бой еще идет. Хорошо в бою быть живым».

И снова Агеев увидел, как обычный свет солнца на мгновение сменился нежным голубым сиянием взрыва, чистоты которого он не замечал прежде, и тьмою разрушаемой

измученной земли. Агеев удивился тому, что и в огне смерти есть то же кроткое сияющее вещество, которое содержится, должно быть, в его сердце и в теле человека.

— Что тут было без меня, Афонин? — спросил Агеев. Афонин доложил ему по форме, но Агеев ничего не услышал.

— Я глухой! — сказал командир.

Афонин повторил свое сообщение: Агеев смотрел на его лицо и постепенно понимал: средний каземат во взгорье разрушен попаданием фугаса большого калибра, а что касается шестерых бойцов на правом фланге хода сообщения, то они убиты взрывной волной, и вдобавок их пронзили осколочные снаряды, но бойцы как стояли живыми, так и остались стоять мертвыми, потому что окоп в том месте был узкий, его не дорыли на ширину и упасть умершему телу там неудобно.

— Пусть они стоят там! — приказал Агеев.

— Это что ж тогда получится, товарищ командир? — заинтересовался Афонии. — Тактика, что ль, такая?

Агеев глядел вдаль и не слышал Афонина. Он добрался по обрушенному окопу до взгорья. Там в ходу сообщения между пулеметными гнездами, шестеро мертвых бойцов стояли в ряд по плечи в земле, обратив к нему потемневшие, спокойные, словно задумавшиеся лица. И автоматы лежали возле них в боевом положении. У одного бойца голова, однако, вдруг поникла в сторону, и он почти припал щекою к песчаной отсыпи.

— Пойди стань возле них, — сказал Агеев Афонину. — Возьми побольше гранат. Ты слышишь — стрельбы по нас нету, я не вижу больше огня…

«Я-то все вижу и слышу, товарищ глухой старший лейтенант, сейчас к нам немцы грянут, — отвечал про себя Афонин. — Сам не слышит, а соображает правильно. А пить и есть охота, даже душа болит от такой низости. Да где ж тут попьешь и покушаешь — до победы не проси…»

V

В Семидворье теперь наступила тишина; снаряды шли по высоте, и огонь земли не трогал.

К Агееву подбежал изнемогший, черный с лица Мокротягов. Он прибыл с проселка.

— Танки врага, товарищ командир!..

Агеев, не расслышав, понял его точно. Он стал на возвышение земли и посмотрел на горизонт. Оттуда, правда, шло пыльное облако, сверкая против солнца белым огнем выстрелов.

— Целы там наши? Кричи мне в ухо! — сказал командир Мокротятову.

— Двоих подранило, но не трудно. Остальные целиком здоровы.

— Кто там командует — Вяхирев?

— Точно, товарищ старший лейтенант, — сержант Вяхирев!

— Понятно… Что при тебе — автомат? Иди становись туда, где стоят мертвые; там есть живой Афонин. Встречать будешь противника оттуда. Понял? Шуми мне громче, у меня уши ослабли.

— Есть! — прокричал Мокротягов. — А как связь, товарищ старший лейтенант?

— После боя позаботимся… Ступай становись! Сейчас со связью не выйдет дело.

Агеев вызвал из укрытия старшину Сычова.

— Я буду там, где наши мертвые — в том ходе сообщения. Ты видишь, где они? Понятно тебе?.. Мы первые встретим противника, и он пойдет на нас машинами. Ты следишь за обстановкой и выводишь подразделение, когда тебе выгодно, но позже того, как я приму первый удар на свою цель. Понятно? Потом я сам возьму общее командование.

— Есть, — понял Сычов.

— Готовь людей и действуй! — приказал Агеев. — Помни — смерти нет, если мы отстоим нашу родину, где живет истина и разум всего человечества.

— Есть, — согласился Сычов и улыбнулся своей мысли. — Да вы не думайте долго о нас, товарищ командир, и не болейте своей душой… Солдат должен уметь помирать навеки и всерьез, если к тому бывает нужда и от того народу польза. А то какой же он солдат? Тогда он помирать избалуется, раз ему смерть нипочем, раз ему сызнова положена жизнь! Разрешите идти, товарищ старший лейтенант.

Агеев не услышал Сычова и молчал, и старшина пошел к бойцам, оглянувшись затем на безответного командира. Агеев понял его и улыбнулся ему вослед. Командир любил своего старшину за все его обычные признаки и свойства — за рябое обширное лицо, за солдатское терпение, за строгое обеспечение всем положенным рядового бойца и за равнодушное, но расчетливое поведение в бою. В мирном положении Сычов был обыкновенно озабочен и даже встревожен текущими делами по роте. Но в бою все заботы отходили от него прочь и сознание его, ничем более не занятое, работало лишь иа пользу боя, и так как он бессмысленно не волновался за свою участь — будет он живой или нет, — то мысль его была здравая, а действия разумными. Он боялся не вообще смерти, а смерти убыточной, когда боец погибает, истратив впустую один патрон; когда же боец погибал, порядочно истощив врага, такой смерти Сычов но боялся: он считал, что раз уж ее миновать нельзя, то она должна дорого стоить врагу. На войну Сычов смотрел как на хозяйство, в котором, как хлеб в колхозе, должна в изобилии производиться смерть неприятеля, и он аккуратно считал и записывал труд своей роты по накоплению павшего врага.

Сычов вел войну экономически и бережливо; если рота бывала иногда без боевого дела или стояла на отдыхе во втором эшелоне, а бойцы поправлялись и не жалели на себя пищи, Сычов не попрекал бойцов, однако размышлял, что бесполезная трата довольствий на войне равняется пролитию крови своего народа, и тогда он молча серчал. Когда рота в трех боях уничтожила столько же врагов, сколько в ней самой первоначально было бойцов, старшина с хозяйским удовлетворением доложил о том командиру: «Вот, — сказал он, — мы теперь себя оправдали и выкупили полностью», — и улыбнулся столь самодовольно, будто за малые деньги построил скотный двор или за полцены купил нужную вещь в свое семейство. Агеев любил старшину за умелость в бою и дельность в ротном хозяйстве, но не понимал его характера. Командир не мог вести войну на хозрасчете, как крестьянский двор, и чувствовал горе от потери своего бойца всегда: убил ли он перед смертью пятерых врагов или никого не убил. Сычов же считал лишь дела, а не души и гибель двоих немцев против смерти одного русского полагал мерой правильной. Может быть, это было и верно, но иногда Агеев думал, что напрасно немцы не знают лично старшину Сычова, тогда бы они остерегались воевать дальше, ибо такие люди, как Сычов, подытожат своего врага насмерть с точностью и обязательно. Против такого солдата, который воюет с той же алчной страстью, как копит дом для своего семейства, нету средств победы.

Агеев увидел свет разрыва снаряда над Семидворьем и поспешил на свое место — к Афонину, Мокротягову и погибшим бойцам. Немцы с хода изредка постреливали из танковых пушек, желая произвести добавочный ужас этой пальбою.

— Сколько их — ты не считал? — спросил Агеев у Афонина.

— Прикидывал, — прошумел Афонин в ухо командиру. — Я поверх завала на блиндаж лазил. Машин возле десятка будет… А правда, товарищ командир, может наука достичь того, что мы выздоровеем от смерти?

— Правда, Афонин, — сказал командир. — Лишь бы нам сберечь от врага наш народ, а в нашем народе есть сердце, и в нем будет память о нас. Но народ не всех упомнит, а только самых лучших своих бойцов…

— Что же мне одна память! — обиделся Афонин.

— Ты думай! — закричал Агеев. — Или человечество глупее тебя? Его память есть дело.

Танки гремели на приближение к Семидворью. Агеев потрогал за плечо труп бойца Инцертова, стоявший возле него. «Окостенел уже человек», — подумал Агеев, чувствуя жесткость тела скончавшегося. И Агеев сам почувствовал в себе окостеневшее, жесткое

сердце, способное вытерпеть любой удар врага и не утомиться от него.

— Афонин! — крикнул Агеев. Афонин приблизился.

— Ползи к Сычову… Пятнадцать бойцов выслать из укрытья — пусть они тихо, быстро, маскируясь займут позиции на окружение Семидворья. Командиром у них пускай будет младший сержант Потапов. Их задача — не выпускать отсюда живого врага, а если неприятель пойдет на одоление, выйти к нам на помощь как нашему резерву. Девятнадцать бойцов остаются у Сычова с прежней задачей. Ты вернешься к ним; мы с Мокротяговым будем у левофланговой огневой точки, мы зароемся в песчаный завал, ты залезай туда же…

Агеев и Мокротягов укрылись в песчаном сбросе; цепь мертвых бойцов теперь была против них, в другом конце хода сообщения.

Танки противника гремели уже на проселке и проходили, должно быть, передний пост Вяхирева. Пост молчал, затаившись в земле.

— Бьют наши на проселке? — спросил Агеев у Мокротягова.

— Молчат, пока не слыхать, — ответил Мокротягов. «Правильно, — полагал Агеев, — пусть пока молчат, потом будут говорить; все равно в моей роте немец хлеба не получит».

Танки теперь шли без стрельбы, и Мокротягову уже слышно стало, как они сокрушают и мучают гусеницами подорожные самородные камни и поваленные на заграждение деревья. «Глухому воевать лучше — спокойней», — подумал Мокротягов о своем командире, смотревшем сейчас ясным взором перед собою — на своих шестерых погибших бойцов.

Мокротягов расслышал частые очереди автоматов.

— Наши у проселка открыли огонь! — крикнул он командиру. «Рано еще! — рассудил Агеев. — Но, может быть, им там видней!»

На огонь автоматов немцы ответили из пулеметов и пушек, но автоматы били настойчиво, вживаясь в бой и не выходя из него.

Два танка сразу появились в Семидворье; один перевалился через взгорье, а другой зашел с фланга и направился на шеренгу мертвецов, паля в них огнем из пулемета.

У Агеева стало свободней и легче на сердце. Враг был перед ним, на месте; все остальное было лишь терпеливым томлением ради этой неминуемой встречи.

Танк, губивший мертвецов, заглушил стрельбу, сделал поворот. Пятеро автоматчиков, таившихся на корпусе машины, прыгнули на землю, а танк пошел далее на проход, в русскую сторону. Автоматчики приникли сначала к земле и осмотрелись: вокруг них был пустой безлюдный прах и мертвые люди в траншее. Немцы осторожно проползли к ходу сообщения и опустились в него поверх павших русских.

«Чего нет Афонина? — подумал Агеев. — Заговорился в укрытии».

Второй танк, пришедший через взгорье, тоже освободился от десанта в семь человек и ушел далее транзитом, вослед первому. Новые семеро врагов, увидев своих, свободно прошли по земле и прыгнули в ход сообщения. Врагов набралось уже порядочная шеренга, и скоро их фланг должен примкнуть к песчаному отвалу, в котором укрывались Агеев и Мокротягов, если еще добавится немцев.

Третий и четвертый танки прошли поперек хода сообщения, обваливая землю на своих и не сокращая хода. На телах машин беспомощно лежали солдаты — на одной машине трое, на другой четверо. Задняя машина, миновав траншею, рванула скоростью, и два солдата свалились с нее, оставшись лежать на земле по-мертвому. Агеев понял, что это есть работа бойцов сержанта Вяхирева у проселка. «Он — ничего сержант!» — оценил командир и тронул Мокротягова:

— Пора!

Мокротягов давно ждал этой поры, и он дал из автомата затяжную очередь, правя огонь, сквозь все тела врагов, находившихся один за другим на прямой линии трубки его автомата. Агеев перехватил огонь Мокротягова на половине диска и пустил в работу свой автомат, чтобы обеспечить мгновенное истребление неприятеля дальнего фланга. Мокротягов выждал огонь командира и потратил остальную половину диска на уже повалившихся и поникших врагов, желая прочнее перестраховать их погибель. Но в то время

четыре танка вступили в Семидворье. Замерев на месте, они открыли огонь из своих пулеметов, маневрируя на небольшом пространстве и поворачиваясь вокруг себя, чтобы надежно прострелять каждый квадрат и каждую скважину земной поверхности: вдобавок же к пулеметам с машин работали автоматчики десанта, тщательно выискивая цель.

В удалении — должно быть, на проселке — все еще били короткими очередями бойцы сержанта Вяхирева, но теперь их не стало слышно за огнем пулеметов.

Агеев велел Мокротягову глубже тонуть телом в песке и пробираться сквозь него в заваленный огневой блиндаж, потому что там Мокротягову будет укромней. Мокротягов хотел исполнить указание командира, но расслышал частые взрывы ручных гранат на проселке и хотел сказать оглохшему командиру о том, что Вяхирев подрывает сейчас танки на их марше, однако Мокротягов успел лишь слабо вскрикнуть и вытянул вперед изнемогшие руки словно он желал уловить ими самого себя, уже исчезнувшего из жизни. Агеев поглядел на него; середина донышка фуражки Мокротягова вдавилась ему в темя ударом вонзившейся в голову пули, и он скончался мгновенно. «Он рядом со мной, — понял командир. — Но он сейчас дальше от меня, чем самая высокая последняя звезда на небе».

Агеев заглушенно слышал близкий огонь пулеметов и поэтому понимал ход боя. В поле его зрения появился танк; двое автоматчиков стояли на нем в рост и били в сторону взгорья — по входу в укрытие. Агеев дал по ним короткую очередь, чтобы они умолкли. Затем командир расслышал, как заработал пулемет Сычова из укрытия, и увидел, как огонь его вымел из окопа в ход сообщения троих немцев, которые тут же легли и утихли обхватив друг друга, — возле тех, что пали прежде. Сычов бил из пулемета наружу из глубины земли под взгорьем, оставаясь сам со своими бойцами в безопасности. Видимо, он работал сейчас на истребление врагов, забравшихся в окоп. Голые, обезлюдевшие танки рычали и ползли по земле, ища решения боя. Они били теперь из пулеметов лишь по входу в укрытие под взгорьем, откуда трепетал жесткий огонь Сычова.

«Жаль, нам не придали бронебойных ружей, — подумал Агеев. — Придется управиться без них». Он чутко вслушивался в сражение, как в работу мастерской, и видел, что его рота трудится в бою регулярно и спокойно, словно ведя производство обычной полезной продукции, хотя это производство было высшим, внезапно действующим искусством, а полезная продукция называлась победой над врагом и над смертью своего народа; и командир почувствовал удовлетворение оттого, что он учил и одушевлял своих бойцов, а Сычов чеканил их дисциплиной.

— Ну дальше, дальше, скорее, милые, бессмертные мои! — говорил командир. Он так напрягся вниманием, что ему казалось, он все теперь слышал.

Танки противника отошли в сторону, чтобы взять дистанцию и оттуда они ударили из пушек по взгорью. Но из ближних огородов по тылам машин заработали автоматчики младшего сержанта Потапова, и там раздались взрывы ручных гранат. Одновременно, по другую сторону Семидворья, на проселке, также открыли огонь бойцы сержанта Вяхирева, работая, должно быть, на отвлечение противника.

«Хорошо, хорошо, — понимал Агеев, — это разумно и точно».

Четыре танка врага теперь стреляли из пушек и пулеметов по всем направлениям неприцельным рассеивающимся огнем. Немцы продолжали сражаться из машин с неслабеющей энергией, но смысл самого боя они утратили, потому что не знали точно расположения противника, его силы и замыслы — они шли на Семидворье как на пустое место, чтобы миновать его с хода, оставив здесь для закрепления десантный отряд; для победы же необходимо не только желание ее и действие боевых средств, но нужно еще непрерывно чувствовать разумный смысл течения боя, — смысл, рождаемый из правильного расчета командира.

Агеев радовался точности боя своей роты, он уже знал наперед, что сейчас должно случиться и что будет потом. Он радовался и за себя и за своего бойца, который боится не врага, а бессмысленности.

Танки продолжали вести огонь с небольшого удаления. Отряды Агеева затихли было

без ответа, а затем враз, по точному чувству взаимной связи, открыли огонь по танкам. Сычов бил из укрытия, норовя вонзить очередь в живую скважину машины. Вяхирев стрелял из автоматов из-за взгорья, подойдя туда со своей уцелевшей группой с проселка. Потапов же обстреливал машины с тыла Семидворья. Немцы вращали огонь по местности, не успевая сосредоточиться.

Агеев выстрелил из своего автомата в пустое место, на взгорье, желая ввести в заблуждение противника, потому что такой выстрел мог сделать лишь немец, отлежавшийся в земле. Крышка люка одного танка дважды приподнялась и опустилась, что походило на сигнал приветствия или на знак, что выстрел Агеева понят с немецкой стороны как свой.

Один танк пошел прямо навстречу пулеметному огню Сычова: он налез на окоп и наглухо перекрыл бронированным телом вход в подземное укрытие. Другой танк перекрыл отверстие в убежище, где были раненые бойцы. Два остальных танка остановились возле и повели редкий огонь окрест — против отрядов Вяхирева и Потапова, беспокоивших издали врага; немцы берегли боезапас и стреляли теперь только по нужде, не давая своему противнику приблизиться к машинам.

Агеев расслышал по внешнему огню, что его бойцы устойчиво держат Семидворье в окружении, зарывшись в землю и не терпя потерь; земляная наука командира пошла им впрок — на спасение жизни и на долгое сопротивление врагу. Однако Агеев теперь видел лишь то, что происходило, но не знал, что должно случиться потом и как нужно действовать далее, немедленно, чтобы бой шел на непременное сокрушение неприятеля; он утратил понимание движущегося смысла боя и опечалился тому, от чего прежде радовался. Он боялся боя, который идет сам по себе, он верил в победу лишь того, кто ведет сражение как верное производство. Но Агеев угадывал, что нельзя столь точно размыслить обо всем наперед и что своя победа часто высматривается среди сражения в противнике, — для этого надо лишь уметь понять невнятный намек и, сообразовав его со своим положением, найти единственное точное решение.

И сейчас Агеев искал этого намека или «языка» в поведении врага. Бой, в сущности, замер на месте. Машины противника столпились в Семидворье, но не обладают им; равно и рота Агеева находится здесь не свободно, не владеет землей.

Но пусть враг начнет действовать, и тогда утраченный смысл боя, как направление к победе, должен открыться.

Стрельба с танков вдруг участилась: били пулеметы и пушки в сторону огородов; должно быть, оттуда бойцы Потапова попытались приблизиться к машинам для удара по ним ручными гранатами. «Это зря, сейчас такое дело не выйдет, — решил Агеев. — У немцев огонь в руках и видимость». Затем стрельба утихла, и у одного танка, что перекрыл своим телом вход в боевое укрытие Сычова, приподнялась крышка люка. Оттуда на мгновение показался человек, поглядевший в сторону Агеева. Потом это повторилось еще раз, но по-другому, потому что Агеев выстрелил по врагу и следом за ним его бойцы дали очереди по башням всех танков, и поднятая было крышка враз опустилась.

Агеев догадался, что немцы хотели его позвать к себе, а теперь увидел, как хоботок танкового пулемета, обращенный в его сторону, опустился до нижнего предельного края прорези в броне и запламенел в своем устье огнем. Пули провели череду мелкой пылящей вспышки перед лицом Агеева, метрах в двух впереди него. Не отводя внимательного взора от пламенеющего дула пулемета, Агеев, не думая, начал ползти назад, утопая глубже в песок.

Пулемет прекратил огонь, и ствол его чуть приподнялся в прорези кверху. Агеев увидел, что от жизни его отделяют два-три метра; за этим расстоянием лежит не простреливаемая с машины зона; может быть, надо пройти вперед четыре или пять метров, чтобы жить, потому что другие две машины стояли чуть дальше и только одна еще ближе, — но все равно и пять метров — это недалеко пройти, чтобы жить. Однако сейчас, больше чем жизни, командир обрадовался своей мысли, подсказанной ему врагом; он узнал теперь способ решения боя и средство победы. Взяв в руку револьвер, Агеев поднялся из земляного

завала и бросился вперед к танкам врага.

Он прошел почти весь путь и ужо вступил на черту, по которой пули вспахивали прах перед его лицом, когда он лежал, и тут Агеев почувствовал, что у него в груди зародилось жаркое тепло, словно там открылось второе сердце. Он приостановился, как бы одолевая ветер, ударивший в него вдруг, потом опустился к земле и пополз по ней в тень танка. Добравшись до гусеницы, Агеев прилег там вниз лицом к примятым оробевшим былинкам и отдохнул.

— Сычов! — позвал Агеев. — Сычов! Копай землю сквозь, иди ко мне, окружай их по мертвой зоне. Гранаты в руки возьми!

Немцы за броней возились в своем хозяйстве и что-то недовольно бормотали. Агеев опробовал себе грудь под старой, еще не истлевшей на нем морской тельняшкой. На правой стороне груди, из-под ребра, у него медленно выходила кровь, и тело здесь было жаркое. «Ничего, она помаленьку идет, вся нескоро выйдет», — обсудил свое положение Агеев. Он осмотрелся вокруг, держа револьвер в правой руке, остерегаясь, что в него могут выстрелить из ручного оружия через какую-либо щель танка. Во избежание этой опасности, он прополз далее за гусеницу под самый корпус танка, где было покойней. Там он лежал возле обваленного танком окопа, в котором лежали мертвые немецкие солдаты.

Бойцы Вяхирева и Потапова время от времени били издали по броне машин, чтобы враг чувствовал их и не мог своевольничать. Немцы из машин им тоже отвечали огнем, но не часто, а по мере необходимости.

— Сычов! — закричал Агеев в сторону сычовского укрытия под взгорьем; он видел теперь в просвет под машиной, как навалился танк па входную щель и обрушил в нее грунт. Однако Агеев понял, что завал был сделан не вмертвую, а крошеными комьями — и воздух, значит, мог проходить к Сычову в скважины земли.

— Сычов, — тихо сказал Агеев, — что же ты, Сычов, ничего не думаешь… в бою, рябой черт…

Пот пошел по всему телу Агеева, и он сжался от озноба. «Отдохну, пока тихо, — решил командир. — Может, кровь остановится и я выздоровлю». Но он чувствовал, что кровь, как из родника, сочилась из груди и холодила его тело. «Что ж она все идет и идет! — огорчался командир. — Ведь мне некогда сейчас умирать!»

Он задремал, желая поздороветь немного, чтобы закончить бой живым человеком.

VI

Открыв глаза, он почувствовал человека, трогавшего его голову рукой. Агеев поднял револьвер на него, но человек прошумел ему в ухо:

— Это я, товарищ старший лейтенант: старшина Сычов!

Агеев обернулся лицом к Сычову,

— Где твои люди, Сычов?

Сычов указал левой рукой наружу, вокруг танка — в правой у него была граната, — и вновь припал к уху командира:

— По мертвой зоне округ всех четырех машин лежат, товарищ старший лейтенант, с оружием и гранатами наготове! Теперь противнику некуда податься, и он сомлеет тут на месте…

— Как же ты из-под земли людей своих вывел, как ты догадался, товарищ Сычов? Я тебя звал…

— Две пробоины сквозь цельный грунт сделали, товарищ командир, и прямо вышли впритирку к этой машине.

— А ты бы лучше под машину шел — в завале грунт мягче.

— Теперь-то оно видно. Да мы не сразу образумились и сквозь целину перли, а мякоти побоялись. Там в земле нам душно было, товарищ старший лейтенант, голова не думала…

— А что, Афонин ко мне не явился?

— А я его, товарищ командир, вместо Потапова на дело послал!

— А Потапов что?

— Скончался от ранения.

— А Вяхирев как живет?

— От него ко мне человек добрался, товарищ командир… Вяхирев солдат деловой, он две машины на дороге подбил и томит теперь их экипажи, чтоб в плен обратить… А троих своих бойцов он на нашу горушку с той стороны поставил, — пускай они проход копают в тот каземат, где у нас раненые были.

— Пускай они поскорее копают, Сычов. Скажи Вяхиреву спасибо.

Агеев пожалел, что нет сейчас возле него Вяхирева; он захотел еще раз увидеть своего двадцатилетнего сержанта — сероглазого, чистого лицом, прекрасного, как девушка, и милого Агееву, как младший брат. Вяхирев испытал много сражений, но еще ни разу тело его не было поражено раной, — может быть, прелесть его натуры была тайной силой, хранящей его от гибели…

Агеев пополз из-под танка наружу, где редкой цепью лежали его бойцы. Сычов выбрался за ним следом.

— Вы что так скоро дышите, товарищ командир? — спросил Сычов.

— Перевяжи меня, Сычов. У меня внутри плохо.

Бойцы молча лежали по земле с гранатами в руках, не сводя глаз с замерших машин врага. Немцы в таком же молчании смотрели на русских сквозь щели изнутри танков. Они могли бы тронуть танки с места и начать давить людей гусеницами или хотя бы выстрелить из револьвера в русского бойца, но тогда машина была бы сразу подорвана гранатами, а немцы хотели сберечь свое имущество. Русские же, находясь на открытом месте, не жалели своей жизни против железного противника.

Агеев увидел это безмолвие и мучительное напряжение человеческих сердец. Бойцу пора было отдохнуть, и поэтому надо поспешить с победой.

— До конца боя доживу? — спросил Агеев у перевязавшего его Сычова.

— Глядите сами, товарищ старший лейтенант, — ответил старшина. — Я командовать ротой нипочем не могу, а более некому. Да тело у вас прочное, может, пуля и обживется внутри.

У Агеева стыла вся внутренность и болели ноги; будь бы он дома, мать бы растерла ему ноги и боль прошла, а грудь ему она согрела бы своим дыханием и укрыла сына тремя одеялами, напоив его чаем с малиной…

Сычов отвернулся от Агеева, и лицо его стало внимательным и задумчивым: он вслушивался.

— Что там? — спросил старшину Агеев.

— Танки идут с проселка.

Агеев понял. Танки, вероятно, вызваны немцами по радио на помощь. Нечего было далее томиться возле врага.

— Сычов! — позвал Агеев и затем приказал ему на ухо: — Передай по цепи: всем отодвинуться назад до самого края мертвой зоны, потом — гранатами по гусеницам! Ты бьешь первым — за тобой все сразу одновременно. После того всем ползти в прежнее укрытие и стать там в оборону против свежих машин. Понятно?

— Есть, — прошептал старшина. — Только близко бить гранатами придется, осколки будут своих вредить… Ползите назад, товарищ командир.

Сычов позвал знаком двух бойцов справа и слева от себя и тихо произнес им приказ.

— Пусть глядят, чтобы все по-умелому было и осколков остерегутся! — добавил старшина.

Немцы угадали что-то: в двух машинах у них взревели моторы. Но поздно уже было им соображать: Сычов, поднявшись в рост, сноровистой рукой метнул гранату в избранное его глазами гусеничное звено, и сам тотчас пал ниц лицом к земле, приникнув к ней как можно теснее. Машина вспыхнула в своем подножии белым пламенем и содрогнулась до самой

башни. И враз вокруг стала рваться сталь огнем, чтобы враг здесь замер на месте навек.

Сычов и ближний свободный боец подняли командира и понесли его к новому проходу в укрытие.

В укрытии Сычов засветил фонарь, снял с себя шинель, постелил ее и положил на нее командира.

Бойцы быстро стали собираться в подземном каземате и усаживались, прижимаясь друг к другу, чтобы уместиться в тесноте.

— Сычов, — сказал Агеев, — ставь на оба входа по пулемету. Шестеро бойцов пусть будут снаружи, чтобы противник не выползал из машин — уничтожать его!

— Есть, — ответил Сычов.

— Выйди, послушай — подходят ли новые машины, сколько их по шуму, как их встречают там Вяхирев и Афонин. Давай скорее!

— Есть, — сказал старшина. — Как вы себя чувствуете теперь, товарищ командир?

— Я всегда чувствую себя хорошо, — улыбнулся Агеев.

Сычов ушел и не приходил долго. Потом он возвратился. Агеев, часто дыша, смотрел на него закатившимися, неморгающими глазами.

— Товарищ старший лейтенант, танки врага пошли с проселка в охват нашей местности, — доложил старшина. — А всего их будет, бойцы сосчитали, семнадцать машин и веса они нетяжелого, так что мы и без вас управимся, отдыхайте пока…

— А наши немцы что? — спросил Агеев.

— Пока что молчат в своих машинах. Да к вечеру сдадутся, они погибать не любят. Вам дать попить, товарищ командир? Я сейчас принесу.

— Не надо, — сказал Агеев. — Мне ничего не надо.

Все люди в укрытии сидели молча и старались дышать негромко и понемногу, чтобы не тратить на себя лишнего воздуха в тесной пещере.

Сычов опустился на колени возле командира и смотрел ему в лицо в ожидании, чего он скажет или чего захочет.

— Товарищ командир, живите сейчас с нами, — произнес старшина.

Агеев услышал его. Он смотрел на старшину глазами, взор из которых уже ушел, как влага в осохшем колодце; он часто дышал, еле успевая работать сердцем, и тяжким трудом добывал теперь себе каждое следующее мгновение жизни.

— Сейчас я не могу, Сычов. Сейчас я не могу жить.

— Ну ничего, товарищ командир. Вы отдохните пока. Сейчас не сможете, так потом будете жить.

Агеев еще старался дышать и смотреть на Сычова.

— Я потом тоже не буду жить, Сычов. Я хотел, чтобы вы все, чтобы все бойцы жили, чтобы люди одолели смерть.

Агеев повернулся лицом к молча смотревшим на него бойцам.

И тогда его предсмертный изнемогший дух снова возвысился в своей последней силе, чтобы и в гибели рассмотреть истину и существовать согласно с ней. У него явилось предчувствие, что мир обширнее и важнее, чем ему он казался дотоле, и что интерес или смысл человека заключается не в том лишь, чтобы обязательно быть живым. И в отречении своем от уходящей жизни, Агеев доверчиво закрыл глаза. Из-под века правого глаза у него вышла одна слеза и осохла, а на другую слезу у Агеева уже не было жизни.

Сычов склонился к голове командира и прислушался к его дыханию; затем он поднял свое лицо к бойцам и сказал им:

— Нету больше его.

И, обняв ноги покойного, Сычов заплакал, чтобы облегчить свое сердце. Он не знал, как ему быть теперь, и не мог стерпеть в себе грустной любви к умершему, которой он прежде не чувствовал или она была подавлена в нем обыденной привычкой к своей равнодушной жизни.

— Ничего, пускай он так, — сказал боец Морковников. — Это душа в старшине

родилась.

Бойцы по очереди стали подползать к Агееву, и каждый человек поцеловал скончавшегося.

Сычов дал бойцам на прощание лишь малое время, а затем велел всем одуматься и приготовиться к сражению с окружающим Семидворье врагом.

— Ишь какие люди смерть за нас принимают, — сказал Сычов. — Пускай только сробеет теперь в бою какой недоделок!

Сычов оглядел всех своих живых бойцов. Красноармейцы были безмолвны. Они привыкли терпеть бой и могли стерпеть даже смерть, но сердце их не могло привыкнуть к разлуке с тем, что оно любило и что ушло от него безответно навеки.

1943

Маленький солдат

Недалеко от линии фронта, внутри уцелевшего вокзала, сладко храпели уснувшие на полу красноармейцы; счастье отдыха было запечатлено на их усталых лицах.

На втором пути тихо шипел котел горячего дежурного паровоза, будто пел однообразный, успокаивающий голос из давно покинутого дома. Но в одном углу вокзального помещения, где горела керосиновая лампа, люди изредка шептали друг другу уговаривающие слова, а затем и они впали в безмолвие.

Там стояли два майора, похожие один на другого не внешними признаками, но общей добротою морщинистых загорелых лиц; каждый из них держал руку мальчика в своей руке, а ребенок умоляюще смотрел на командиров. Руку одного майора ребенок не отпускал от себя, прильнув затем к ней лицом, а от руки другого осторожно старался освободиться. На вид ребенку было лет десять, а одет он был как бывалый боец — в серую шинель, обношенную и прижавшуюся к его телу, в пилотку и в сапоги, пошитые, видно, по мерке, на детскую ногу. Его маленькое лицо, худое, обветренное, но не истощенное, приспособленное и уже привычное к жизни, обращено было теперь к одному майору; светлые глаза ребенка ясно обнажали его грусть, словно они были живою поверхностью его сердца; он тосковал, что разлучается с отцом или старшим другом, которым, должно быть, доводился ему майор.

Второй майор привлекал ребенка за руку к себе и ласкал его, утешая, но мальчик, не отымая своей руки, оставался к нему равнодушным. Первый майор тоже был опечален, и он шептал ребенку, что скоро возьмет его к себе и они снова встретятся для неразлучной жизни, а сейчас они расстаются на недолгое время. Мальчик верил ему, однако и сама правда не могла утешить его сердца, привязанного лишь к одному человеку и желавшего быть с ним постоянно и вблизи, а не вдалеке. Ребенок знал уже, что такое даль расстояния и время войны, — людям оттуда трудно вернуться друг к другу, — поэтому он не хотел разлуки, а сердце его не могло быть в одиночестве, оно боялось, что, оставшись одно, умрет. И в последней своей просьбе и надежде мальчик смотрел на майора, который должен оставить его с чужим человеком.

— Ну, Сережа, прощай пока, — сказал тот майор, которого любил ребенок. — Ты особо-то воевать не старайся, подрастешь, тогда будешь. Не лезь на немца и береги себя, чтоб я тебя живым, целым нашел. Ну, чего ты, чего ты, — держись, солдат!

Сережа заплакал. Майор поднял его к себе на руки и поцеловал в лицо несколько раз. Потом майор пошел с ребенком к выходу, и второй майор тоже последовал за ними, поручив мне сторожить оставленные вещи.

Вернулся ребенок на руках другого майора; он чуждо и робко глядел на командира, хотя этот майор уговаривал его нежными словами и привлекал к себе, как умел.

Майор, заменивший ушедшего, долго увещевал умолкшего ребенка, но тот, верный одному чувству и одному человеку, оставался отчужденным.

Невдалеке от станции начали бить зенитки. Мальчик вслушался в их гулкие мертвые

звуки, и во взоре его появился возбужденный интерес.

— Их разведчик идет! — сказал он тихо, будто самому себе. — Высоко идет, и зенитки его не возьмут, туда надо истребителя послать.

— Пошлют, — сказал майор. — Там у нас смотрят.

Нужный нам поезд ожидался лишь назавтра, и мы все трое пошли на ночлег в общежитие. Там майор покормил ребенка из своего тяжело нагруженного мешка. «Как он мне надоел за войну, этот мешок, — сказал майор, — и как я ему благодарен!»

Мальчик уснул после еды, и майор Бахичев рассказал мне про его судьбу.

Сергей Лабков был сыном полковника и военного врача. Отец и мать его служили в одном полку, поэтому и своего единственного сына они взяли к себе, чтобы он жил при них и рос в армии. Сереже шел теперь десятый год; он близко принимал к сердцу войну и дело отца и уже начал понимать по-настоящему, для чего нужна война. И вот однажды он услышал, как отец говорил в блиндаже с одним офицером и заботился о том, что немцы при отходе обязательно взорвут боезапас его полка. Полк до этого вышел из немецкого охвата — ну, с поспешностью, конечно, и оставил у немцев свой склад с боезапасом, а теперь полк должен был пойти вперед и вернуть утраченную землю и свое добро на ней, и боезапас тоже, в котором была нужда. «Они уж и провод в наш склад, наверно, подвели — ведают, что отойти придется», — сказал тогда полковник, отец Сережи. Сергей вслушался и сообразил, о чем заботился отец. Мальчику было известно расположение полка до отступления, и вот он, маленький, худой, хитрый, прополз ночью до нашего склада, перерезал взрывной замыкающий провод и оставался там еще целые сутки, сторожа, чтобы немцы не исправили повреждения, а если исправят, то чтобы опять перерезать провод. Потом полковник выбил оттуда немцев, и весь склад целым перешел в его владение.

Вскоре этот мальчуган пробрался подалее в тыл противника; там он узнал по признакам, где командный пункт полка или батальона, обошел поодаль вокруг трех батарей, запомнил все точно — память же ничем не порченная, а вернувшись домой, указал отцу по карте, как оно есть и где что находится. Отец подумал, отдал сына ординарцу для неотлучного наблюдения за ним и открыл огонь по этим пунктам. Все вышло правильно, сын дал ему верные засечки. Он же маленький, этот Сережка, неприятель его за суслика в траве принимал: пусть, дескать, шевелится. А Сережка, наверно, и травы не шевелил, без вздоха шел.

Ординарца мальчишка тоже обманул, или, так сказать, совратил: раз он повел его куда-то, и вдвоем они убили немца, — неизвестно, кто из них, — а позицию нашел Сергей.

Так он и жил в полку, при отце с матерью и с бойцами. Мать, видя такого сына, не могла больше терпеть его неудобного положения и решила отправить его в тыл. Но Сергей уже не мог уйти из армии, характер его втянулся в войну. И он говорил тому майору, заместителю отца, Савельеву, который вот ушел, что в тыл он не пойдет, а лучше скроется в плен к немцам, узнает у них все, что надо, и снова вернется в часть к отцу, когда мать по нем соскучится. И он бы сделал, пожалуй, так, потому что у него воинский характер.

А потом случилось горе, и в тыл мальчишку некогда стало отправлять. Отца его, полковника, серьезно поранило, хоть и бой-то, говорят, был слабый, и он умер через два дня в полевом госпитале. Мать тоже захворала, затомилась, она была раньше еще поувечена двумя осколочными ранениями, одно было в полость, и через месяц после мужа тоже скончалась; может, она еще по мужу скучала… Остался Сергей сиротой.

Командование полком принял майор Савельев, он взял к себе мальчика и стал ему вместо отца и матери, вместо родных всех человеком. Мальчик ответил Володе тоже всем сердцем.

— А я-то не их части, я из другой. Но Володю Савельева я знаю еще по давности. И вот встретились мы тут с ним в штабе фронта. Володю на курсы усовершенствования посылали, а я по другому делу там находился, а теперь обратно к себе в часть еду. Володя Савельев велел мне поберечь мальчишку, пока он обратно не прибудет… Да и когда еще Володя вернется, и куда его направят! Ну, это там видно будет…

Майор Бахичев задремал и уснул. Сережа Лабков всхрапывал во сне, как взрослый, поживший человек, и лицо его, отошедши теперь от горести и воспоминаний, стало спокойным и невинно-счастливым, являя образ святого детства, откуда увела его война.

Я тоже уснул, пользуясь ненужным временем, чтобы оно не проходило зря.

Проснулись мы в сумерки, в самом конце долгого июньского дня. Нас теперь было двое на трех кроватях — майор Бахичев и я, а Сережи Лабкова не было.

Майор обеспокоился, но потом решил, что мальчик ушел куда-нибудь на малое время. Позже мы прошли с ним на вокзал и посетили военного коменданта, однако маленького солдата никто не заметил в тыловом многолюдстве войны.

Наутро Сережа Лабков тоже не вернулся к нам, и бог весть, куда он ушел, томимый чувством своего детского сердца к покинувшему его человеку, может быть, вослед ему, может быть, обратно в отцовский полк, где были могилы его отца и матери.

1943

Верное сердце

[текст отсутствует]

Бой в грозу

С утра с нашей стороны начался артиллерийский огонь, который должен подготовить удар танков и пехоты на прорыв, на сокрушение неприятельской обороны. Били пушки всех калибров, били гвардейские минометы, но в чередовании их огня был свой план и смысл — простой, однако, план битвы: прицельное, полное, поголовное уничтожение живой силы противника, его противодействующего оружия всех видов, его укреплений. Этот план боя не был неприкосновенным начертанием на бумаге: полководцы были здесь же, в сфере боя, и они, в зависимости от противодействия и маневров противника, корректировали битву, варьировали всю музыку сражения.

Мы находимся на опушке леса. Далее простирается обнаженное степное пространство, сложенное, как почти вся средняя Россия, из увалов, похожих на замедленные, остановившиеся волны земли. На военном языке вершины этих увалов называются высотками. От века безыменные, они получили теперь номера, а иногда и образное имя. Например одна высота имела таинственное название: «Расторопные капли». Оказывается, ее защищали пьяные немцы, напившись «расторопных капель», но окрестил высоту, конечно, трезвый русский солдат.

Отсюда, с опушки леса, хорошо обозревается все поле боя. Позади нас в ожидании сигнала расположилась танковая бригада, изготовленная к атаке. Но сейчас пока что разыгрывается лишь артиллерийская увертюра к сражению. Здесь, в этом направлении, должен быть нанесен главный удар по дрогнувшему противнику.

Тысячи наших пушек ведут огневую работу. За чертою противолежащих высоток, где проходят немецкие рубежи, ясное утро превращается в черную удушливую ночь, и тьма застилает горизонт и подымается к зениту, просвечиваемая лишь мгновениями разрывов. Со скоростью молний ведется титанический обвальный пушечный труд, обдирающий землю до глубокой белизны ее каменистых, материковых пород, до самых твердых костей ее тела.

Сначала можно было различить отдельные выбросы земли, похожие на вскрики, обращенные к небу, — и нам даже казалось, что можно, помимо пушек, расслышать этот наивный и непосредственный голос гибнущей земли, но теперь тишь все белее сгущающаяся и подымающаяся к небу тьма на стороне противника обозначала нарастающую энергию нашей артиллерии.

Майор-танкист, наблюдающий возле нас работу артиллерии, говорит, что такого огня он ни разу не видел, хотя и воюет уже третий год.

Действительно, временами казалось, что больше уже нельзя увеличить мощность огня: сами люди, ведущие этот огонь, не выдержат его напряжения и сердце их не сможет долго превозмогать страшное впечатление от их же работы или сдадут, откажут от перегрузки пушечные механизмы. И все же огонь возрастал; земной прах, дерево, металл и живые существа на стороне врага мололись в куски, потом повторно перемалывались на мелочь и еще раз накрывались огнем — для обеспечения полного сокрушения. И поверх всех голосов пушек вдруг раздался нежный и протяжный голос гвардейских минометов, минут за десять до того они прошли мимо нас на позицию.

— «Катюша» юбочку немного подняла! — сказал капитан-танкист. — Работай, дочка, немцы тебя любят слабо.

С этого рода минометов перед их зарядкой снимается чехол — «юбка».

Молча и тяжело стояли танки позади нас, еще холодные и безмолвные, но полные снарядов, залитые горючим, с экипажами, неотлучно дежурящими подле машин. Вершины деревьев над ними изредка поводились жарким ветром, и душно и тягостно было человеческим сердцам, и, казалось, даже машинам тягостно это терпение перед боем и скапливающейся в небе грозой.

Враги изредка пускали из своего мрака блестящие ракеты, ведя разговор со своим тылом. Они еще хотели устоять и выжить.

Из кустарника поодаль от нас вышла группа танков и устремилась вперед под обгоняющими их снарядами нашей артиллерии. По сторонам, с полей, поднялась пехота, она прижалась к танкам, как к материнским защитным телам, и скрылась из виду вослед им.

В точно положенное время пушки стали безмолвными, и лишь дальнобойные калибры издавали редкое, упреждающее врага бормотание. Но небо уже населили тяжело нагруженные бомбами эскадрильи наших самолетов, окруженные легкокрылыми, резвящимися истребителями.

Наши самолеты шли в дымном тумане неба, словно периной все более тесно и туго укрывающем душную томящуюся землю, и люди внизу, готовые к бою и движению, привыкшие к жаре и морозу, мучились сейчас от пота и того пустого времени, которое перед боем бывает нечем заполнить. Однако танкисты, ожидающие сигнала к выходу, нашли себе занятие. Экипажи, не отдаляясь от своих машин ходили в гости в соседние экипажи, и люди тихо беседовали друг с другом, внимательно, словно на долгую память, рассматривая один другого глазами, полными дружелюбия. Вот пришел большого роста человек в синем комбинезоне, с умным рабочим спокойным лицом; приветливо и серьезно он наблюдает своих друзей и больше слушает их, чем говорит сам, зная, видимо, что человеку иногда бывает легче от слов, чем от молчания. Это знаменитый мастер войны гвардии майор Герой Советского Союза Корольков. Грохотание боя не отвлекает их друг от друга.

На скате высоты, обращенном в нашу сторону, появились черные взрывы земли. Немцы били на скат без повреждения: немецкий огонь был слишком редок, его самого уже пожгла в зачатке, изуродовав батареи, наша артиллерия.

Навстречу нашей авиации вышли только несколько истребителей противника, что было явно слабо и беспомощно. К вечеру этого дня мы подсчитали, что наша авиация на том направлении, которое мы наблюдали, имела многократный перевес.

Наша артиллерия снова усилила свой огонь, работая на дальнее опережение наших действующих атакующих сил. Наш «бог войны» неустанно стерег поле битвы и обеспечивал в нем свой порядок против беспорядка, вносимого врагом, — беспорядка, заключающегося в самом наличии неприятеля на здешней земле.

Большие силы танков все еще не были введены в бой. Мы пошли к их людям, и нам удалось встретиться с гвардии старшиной Иваном Семеновичем Трофимовым, командиром танка, человеком, которому прочат великое будущее как сокрушителя немецких бронированных машин.

Ивану Семеновичу Трофимову двадцать пять лет от роду, до войны он жил и работал в Москве электриком, он человек русского рабочего класса. На войне он участвует с начала ее,

теперь он гвардеец, участник обороны Сталинграда и кавалер трех боевых орденов.

Чего же сейчас хотелось товарищу Трофимову? Не знаем. Может быть, ему, этому юноше, хотелось увидеть освещенную, ликующую, мирную Москву и пройтись со всеми орденами и медалями на груди по ее главной светлой улице. Это естественное и счастливое желание молодого и героического человека. Не прочтешь в ясном скромном взоре этого человека интересующую нас тайну его боевого искусства. Но из его же скупых прозаических слов, из внимания к деталям его боевой работы нам делается более ясным его мастерство. Оно, столь простое для понимания и столь трудное для практического осуществления, заключается в сохранении расчетливого, спокойно действующего здравого смысла в то время, когда ты сидишь в горячей стальной коробке, где ты можешь сгореть как в аду, в то время, когда в твоем теле непроизвольно зарождаются и начинают действовать инстинкты, стремящиеся лишь защитить тебя от возможной гибели и заглушающие рассудок солдата, у которого первая цель — сокрушение врага, а не спасение самого себя. Боевое мастерство Трофимова, как мы поняли, и состоит в сохранении главенства своего здравого смысла над всеми прочими чувствами и инстинктами человека среди угрозы гибели, в оценке, что исполнение боевого задания тем проще и опасность тем менее, чем больше действуют умелые руки и расчетливый разум солдата.

Есть, вероятно, и другие способы или «тайны» боевого искусства: дело зависит от индивидуальности, от опыта, от рода оружия и от многих других причин и обстоятельств.

Во второй половине дня поднялась внезапная буря, подувшая нашим войскам в лоб. Со степи летели сорванные травы, прах почвы и гарь залпов и взрывов, но и сквозь сумрак бури и навстречу ей шли танки и били пушки: буря не должна задерживать наступления.

Буря обратилась в грозу. Вертикальные молнии ужалили землю вблизи передовой и ослепили на мгновение артиллеристов, но они, поглощенные своим делом, лишь внесли поправки в стрельбе на бурю и грозу. Начавшийся дождь, сразу перешедший в ливень, не укротил, однако, грозы. Природа встревожилась до ярости, и теперь она метала молнии сверху вниз и параллельно земле, словно ища себе исхода и не находя его. Канонаду нашей артиллерии умножало небо громом грозы, и общее их грохотанье повторялось откликами волнообразной равнины и уходило дальними, смягченными голосами в глубь нашей родины. Свет молний и пушечного огня, скрежещущий и раскатывающийся рев канонады и грома и мрак ливня, озаряемый лишь магическими вспышками человеческой и небесной ярости, создавали впечатление, что за гранью нашей победы нас ожидает волшебная судьба, возвышенная и мощная в материальной силе.

Поток артиллерийского огня рассекал кипящий ливень и стремился вперед, на все более дальнее опережение мчащихся танков, за которыми увлекалась наша пехота, тонущая в размытой земле. Наши солдаты двигались в ливне, но тело их было в поту от тяжкого труда.

Очередная молния ударила с неба, но она не сразу вошла в землю, а прошла несколько вперед, замедлившись в пространстве, точно не находя себе нужного краткого пути, и затем, разделившись на четыре ветви, впилась ими в скат высоты, издав гром, похожий на долгий вопль. Эта молния своим задержанным светом озарила все поле сражения и наши действующие на нем стремительные войска. Сам наступательный бой — мчащийся вперед поток огня, машин и людей — походил на замедленную, и потому долго видимую молнию, еще более яростную и мощную от своего замедления, умерщвляющую врага своим пламенем.

И на этой неторопливой последней молнии гроза умолкла.

Наступил вечер; бой, начавшийся здесь, у опушки леса, уже отдалился от нас. Стало известно, насколько сегодня мы продавили врага назад. Вышло, что немало, — стало быть, нынешний день прожит нашим солдатом не зря.

1943

Никодим Максимов

Максимов шел с поста на отдых. Их часть отвели во второй эшелон, и теперь бойцы расположились на временное жительство в людной деревне.

В одной избе плакали дети сразу в три голоса, и мать-крестьянка, измученная своим многодетством, шумела на них:

— А ну замолчите, а то сейчас всех в Германию отправлю — вон немец за вами летит!

Дети приумолкли. Никодим Максимов улыбнулся: стоял-стоял свет и достоялся, люди государствами детей пугают.

Максимов вошел в свою избу, в которой он был на постое.

Полуденное солнце вышло из-за дыма горящего леса и осветило через окно теплым светом внутреннее убранство русской избы: печь, стол и две лавки, красный угол, большое изображение Ленина, затем картинки над сундуком на бревенчатой тесаной стене — портреты петербургских красавиц девятнадцатого века, страницу из детского журнала со стихотворением «Корова Прова», несколько желтых фотографий родных и знакомых старого крестьянина — хозяина избы, — житейскую обыденную утварь возле печи, — это было обыкновенное жилище, в котором рождались, проводили детство и проживали жизнь в старину почти все русские крестьяне. Все здесь было знакомо, просто, но мило и привычно сердцу.

Максимов снял с себя солдатскую оснастку, разулся, сел и вздохнул, радуя покоем уставшее тело.

В избу постепенно набирались красноармейцы разных подразделений, хотя на постое в этой избе стоял всего один человек — Никодим Максимов. Они здоровались с хозяином и молча сидели некоторое время, поглядывая на старого крестьянина, на ясный свет неба в окне, медленно осматривая внутренность избы. Видимо, тут им было хорошо, в них оживало здесь тихое чувство своего оставленного дома, отца и матери, всего прошлого. Эта изба, пропахшая хлебом и семейством, воскрешала в них ощущение родного жилища, и они внимательно разглядывали старика, может быть угадывая в нем схожесть с отцом, и тем утешали себя. Потом, вздохнув и погасив цигарки, они прощались и уходили, но приходили другие, придумывая иногда ложные пустяки, чтобы видно было, что они явились не зря, а с причиной.

Старый крестьянин хорошо понимал душевное расположение красноармейцев, и он приглашал каждого сидеть и курить, пока им еще не вышло время идти на занятия или в бой.

Хозяин смотрел на своих гостей красноармейцев с гордостью и тайной завистью, которую он укрощал в себе тем, что он и сам непременно был бы бойцом, будь он помоложе.

— Эх, будь бы я теперь при силе, я воевал бы с жадностью, — высказался старик. — Кто сейчас не солдат, тот и не человек… Хоть ты со штыком ходи, хоть в кузнице балдой бей, а действуй в одно. Так оно и быть должно, а то как же иначе! Земле не пропадать, а народу не помирать…

— Народу не помирать, — согласился Максимов и тихо добавил: — А трудно, папаша, бывает нашему брату, который солдат…

Иван Ефимович с уважением уставился на Максимова — человека уже пожилого на вид, но не от возраста, а от великих тягот войны.

— Да то, нешто не трудно! Разве к тому привыкнешь — надо ведь от самого себя отказаться да в огонь идти?

— Привыкнешь, Иван Ефимович, — сказал Максимов. — Я вот два года на войне и привык, а сперва тоже — все, бывало, сердце по дому плачет…

— Да как же ему не плакать, ведь и ты небось человек, а дома у тебя семейство, — оправдал Максимова Иван Ефимович.

— Нет, — сказал Максимов. — Кто на войне домашней тоскою живет, тот не солдат. Солдат начинается с думы об отечестве.

Иван Ефимович удивился и обрадовался этим словам.

— И то! — воскликнул он. — Вот ведь правда твоя: одно слово, а что оно значит! Где, стало быть, обо всем народе и отечестве есть дума такая, оттуда солдат начинается… Где ж ты сообразил правду такую или услыхал, что ль, от кого ее?..

— На войне, Иван Ефимович, ученье скорое бывает… Я ведь не особый какой человек, а так — живу и думаю…

— На кухню, что ль, за обедом пойдешь иль дома варить чего будешь? — спросил Иван Ефимович.

— Давай дома кашу погуще сварим — у нас крупа есть, сала положим, поедим да отдохнем, а то завтра на передовую нужно, там части замена будет, наш черед немцев держать…

— Должно, здорово они на нас прут?..

— Да что ж они прут! Прут, а в нас упираются и на месте стоят. Немецкое время прошло, Иван Ефимович. Соседи наши уж вперед на него пошли, и мы, должно, на него тронемся.

— Ну, дай бог.

Поевши, хозяин и красноармеец легли на отдых. С фронта, как равномерные и равнодушные удары волны о береговой камень, шла пушечная канонада, и созревающий хлеб за окном избы кланялся колосом от сотрясения земли.

В ночь Никодим Максимов встал с лавки и стал снаряжаться, чтобы идти в роту. Старик помогал ему собраться в темноте и все спрашивал: «Ну, как ты себя чувствуешь-то? Не боязно тебе уходить-то?»

— Нет, — говорил Максимов, — не пойду я, так тебе боязно тут будет… Прощай, отец!

Перед рассветом подразделение, в котором служил Максимов, заняло свое место в окопах на переднем крае, а бывшие здесь бойцы отошли на отдых в резерв. Максимов огляделся в рассвете: ему всегда нужно было сначала освоиться с местом, породниться с ним, точно он желал заручиться сочувствием всех окружающих предметов, чтобы они были ему в помощь.

Наша первая линия окопов проходила поясом поперек отлогой высоты, а впереди окопов земля опускалась в долину, занятую маломерным кустарником, в котором были луговые поляны с клеверными травами, что узнал Максимов по их сладкому, дремотному запаху, доходившему сюда с низовой сыростью; далее земля подымалась опять на высоту, поросшую рожью и уязвленную щербиной глубокого оврага. Там уже, прямо по водоразделу, проходила немецкая линия, обороняемая частоколом с проволокой. Это был курский край — степь и медленная волнистая земля, заросшая по своим влажным впадинам, орошенным малыми реками, перелесками и благоухающим разнотравьем.

Красноармейцы, пока было тихо, занимались своим хозяйством: подшивали ослабевшие пуговицы, перебирали и перекладывали вещи в мешках, убирая их поудобнее на сохранение, читали сызнова старые письма, чтобы получше понять их, осматривали обувь и рассуждали о ее ремонте.

Сосед Максимова слева, Семен Жигунов, тщательно выбривал концами ножниц волосы из ушей у сержанта Николая Шостко и сообщал сержанту сведения о пчелах; у Жигунова был такой план, чтобы после войны, наравне с сахароварением, развить пчеловодство до полного изобилия, потому что мед есть волшебная, исцелительная пища для нашего народа, которому нужно будет поправляться после войны для здоровой, счастливой жизни.

У Максимова не было дела, у него все было в исправности, поэтому он стал рассматривать муравьиную жизнь в земле, видя в этой жизни тоже важное дело.

Командир роты прошел по окопу и сказал бойцам:

— Задачу вы знаете?

Командир поговорил с бойцами и прошел далее. Позади послышалось глубокое гудение, словно зазвучал древний голос из каменных недр.

— Это наша авиация! — сказал Жигунов. — Давай сюда, птица небесная… Сколько там вас — штук десять-то прилетит иль нет?

Вначале прилетело девять бомбардировщиков. Они сразу с трепещущим свистом крыльев пали с неба на немецкую сторону и, вонзив бомбы в землю, ушли вверх, взревев покорными, работящими моторами. Вослед первым девяти самолетам прилетело еще восемь раз по девять. Черная горячая пыль взошла высоко к небу на немецкой стороне, и там стало темно.

Пыль с немецкой высоты постепенно опускалась в долину, и заметно было, как из пыльной тучи выпадали вниз более крупные, сухие комочки грунта, что походило на редкие капли дождя, но дождя, в котором нельзя освежиться и можно задохнуться.

Немцы стали отвечать артиллерийским огнем по нашей стороне; однако сразу же после ухода самолетов из ближних тылов наша артиллерия начала работать на сокрушение немецких рубежей, так что на русской стороне осыпалась земля с окопных отвесов и живые трещины пошли по цельному месту. Ничего не стало слышно, и вовсе сумрачно было впереди от рушащейся земли.

Максимов поглядел на ближних людей. Лица их уже были покрыты пылью, но солдаты были довольны.

— Гляди, что народ наш в тылах наработал! — крикнул Жигунов Максимову. — Видал, сколько теперь самолетов и орудий! Теперь и воевать не трудно!

В окоп бросились из воздуха два воробья и трясогузка; они сели на дно и прижались к земле, не пугаясь людей.

Тогда Максимов увидел на скате немецкого холма их пехоту. Хоть мы и в мешке, а кому легче — скоро увидим.

Максимову это положение понравилось потому, что оно было умным и смелым.

— Ничего, товарищи бойцы, — улыбнулся командир. — Окружение — это не стена. А если и стена, то мы сделаем из нее решето. Мы научились теперь это делать, вы сами знаете…

— Теперь воевать спокойно можно, — сказал Максимов. — Теперь у нас оружия много и понятие есть…

После полуночи в окопы тихо, один по одному, вошли еще две роты, и в земле стало тесно. Подремав немного, люди пробудились от неприятельского огня. Противник бил тяжелыми снарядами и уже рыхлил землю прямо возле линии окопов. Майор, общий командир всего трехротного отряда, приказал оставить рубеж и, выйдя осторожно вперед, залечь в низовом кустарнике и изготовиться там к штурму немецкой высоты; проволоки на той высоте теперь уже не было, ее размолотила наша артиллерия.

Максимов заодно со всеми пополз из окопов книзу, мимо охладелых немецких солдат. Пылью, комьями земли и жаром обдало Максимова от близкого разрыва снаряда. Он поскорее пополз дальше, а потом приподнялся и побежал в кустарник.

— Стой, обожди, ты кто? — глухо прошептал ему кто-то с темной земли, совсем теперь невидимой после слепящих разрывов.

— Я Максимов, а ты?

— Лейтенант Махотин… Ты помоги мне маленько… Максимов склонился к человеку и узнал в нем командира своей роты.

— Что с вами, товарищ лейтенант?

— Ранен, должно быть, осколком, стыну весь, убери меня с поля, пусть бойцы меня не видят — им в атаку скоро идти… Найди пойди майора… Одни руки действуют у меня, подняться никак не могу.

Максимов нашел майора уже внизу, в кустарнике, и доложил ему. Майор послал с Максимовым санитара и приказал им вынести лейтенанта с поля и найти для него безопасное убежище.

Вскорости Максимов и санитар принесли лейтенанта в ту деревню, где еще вчера гостил Максимов у доброго старика.

Иван Ефимович не спал; от больших лет и войны он спал теперь вовсе мало.

Старый человек заплакал при виде раненого молодого лейтенанта и стал стелить для

него мягкую постель.

— Немецкие танки тут проходили? — спросил лейтенант.

— Да, гудели недалече, из пушек били — чума их знает, — ответил Иван Ефимович.

Санитар осмотрел свои перевязки на теле лейтенанта и, уложивши раненого удобно в постель, ушел за врачом.

— Трудно вам, товарищ лейтенант? — спросил Максимов. — Усните, а я постерегу вас от немцев…

Лейтенант грустно поглядел на Максимова побледневшими, обессилевшими глазами.

— Мне не трудно, — сказал он тихо.

Лейтенанту стало легче при близких людях, и он сказал им:

— Мне не трудно, я вытерплю — и опять на войну… Махотин закрыл глаза от слабости и умолк на время, потом их открыл и отыскал взором Максимова:

— Ступай обратно в роту!

— А как же вас оставить одного, товарищ лейтенант?.. Тут немцы бродят, а вы ослабли.

— Иди, я тебе сказал. Ты там нужен, а мы здесь с дедушкой сами обороняться будем…

— Да ведь раз дело такое, то придется, — сказал Иван Ефимович.

— Пойди сюда, товарищ Максимов! — произнес лейтенант. — Мы давно с тобой служим, ты живой, ты здоровый, ты опять будешь сегодня в бою…

Максимов наклонился к постели и осторожно, вытерев сначала губы, поцеловал командира в лоб. А потом он взял винтовку и ушел из избы вперед, в свою роту.

Июль 1943 года

Домашний очаг

В светлом августе месяце русские поля со сжатым хлебом делаются словно безвоздушными — столь чисто бывает над ними небесное пространство, еще полное сияния лета, но уже стынущее по утрам.

Когда человек глядит на это небо, в сердце его возникает желание долго жить на земле и будущим годом снова увидеть лето.

Красноармейцу Петру Ивановичу Щербинникову тоже хотелось еще долго жить на свете, хотя он уже прожил тридцать лет. Он уже воевал почти два года, но с ним в одном взводе служил красноармеец Ракитин — тот воевал уже третий год и участвовал в финской кампании, он был ранен три раза, а Щербинников только два, и поэтому Щербинников думал о Ракитине всегда с уважением. «Ого! — думал Щербинников, — я что! Вот Ракитин служит, ему и сроку больше вышло, и на теле больнее, а мои раны были легкие, и они зажили!»

Сейчас Щербинников смотрел из траншеи в утреннее августовское небо.

Ракитин подошел к Щербинникову и спросил у него, сыт ли он и исправно ли у него все снаряжение, а то скоро надо идти в бой; Ракитин сказал еще, что та деревенька, которую придется взять, уже не Орловской будет, а Брянской области.

— А что такое артиллерии нашей не слыхать? — спросил Щербинников. — После артиллерии мягче было бы ходить.

Ракитин сообщил о том, что говорил ему старшина вчерашний день: в той деревне немцев вовсе мало, туда ходила наша разведка, и она рассмотрела неприятеля; поэтому наша артиллерия едва ли будет тратить огонь по малой цели, где противника можно одолеть штыком, а остаток его забрать в плен. Потом Ракитин поглядел на Щербинникова и сказал ему:

— Усы растишь — думай о них. Что они у тебя лохмотьями висят?

Щербинников оправил свои усы, отросшие с начала войны и выгоревшие на солнце до белого цвета; лицо же его потемнело от жары, от ветра, а волосы на его голове и брови были такого же цвета, что и усы, — созревшей пшеницы.

— Оправься, Петр, сейчас вперед пойдем! — сказал Ракитин. — Обратно вернемся, тогда к ручью на ночь сходим, надо рубахи постирать…

По команде весь взвод выбрался из траншеи наружу и побежал по пустой местности на русскую деревню, населенную неприятелем. Из деревни противник открыл частый минометный огонь, но красноармейцы, уже обтерпевшиеся в долгих боях, умело одолевали поражаемую огнем землю, то припадая к ней, то снова подвигаясь по ней вперед.

Добравшись до колодезного сруба возле овина, Щербинников залег за ним. Из избы на каменном фундаменте, что находилась справа за овином, упорно, затяжными едкими очередями стрелял автомат. «Его надо убить, — решил Щербинников про этого стрелявшего врага. — А лучше бы в плен его взять». Он осмотрелся и побежал кружным путем по дикому, с утра уже жаркому бурьяну, согнувшись и чувствуя, как сердце его чистым стуком отвечает на свистящее пулями биение автомата. Щербинников с ходу ворвался в избу и напал на стрелявшего через подоконник, не услышавшего его автоматчика. Щербинников ударил неприятеля не до смерти прикладом по голове, и тот сплошал, и огонь его умолк.

Взвод Ракитина и Щербинникова держал до времени оборону в завоеванном пункте.

В деревне теперь стало тихо: бой гремел уже вдалеке, на правом фланге. Ракитин остался на посту, чтобы глядеть вперед на случай чего, а Щербинников лег на землю, где стоял до того, и сразу уснул.

Проснулся он после полудня. Во сне он забыл про войну и непривычно огляделся вокруг, чтобы понять, где он находится.

В деревне остались лишь две избы, а прочие избы погорели и омертвели в золе. Только печной очаг, как основание и корень каждого жилища, почти повсюду стоял уцелевшим, хоть и был обгорелым и порушенным. Однако он служил местом, вокруг которого снова должно собраться хозяйство и утвердиться гнездо человека.

Два немецких танка — «тигры» — и пушка «фердинанд» хотели пройти напролом через один убогий крестьянский двор. Танки подняли гусеницами плетень, а «фердинанд» покрыл собою колодец в усадьбе, и тут они были погублены намертво русскими пушками. Но промеж тех подбитых танков осталась русская избяная печь с закопченным устьем и загнеткой, на которой стоял горшок. И возле уцелевшей печи крестьянка-старуха месила теперь глину голыми ногами, чтобы обмазать свой домашний очаг, а старик хозяин в тени мертвого «тигра» тесал бревно на постройку.

Щербинников подошел к хозяевам и узнал их судьбу. Позавчерашний день фашисты погнали из деревни в Германию оставшихся крестьян. Старуха положила на тележку мешок с картошкой, горшок из печи, последнюю одежду, посадила внука наверх, и старик повез тележку на двух колесах в Германию, как немцы велели.

— А где ж у вас внук находится? — спросил Щербинников.

— А вон, чумовой, по полю ходит, — сказал старик. — Того гляди на мине в прах разорвется…

Щербинников задумался, — у него тоже был малый сын: что он делает сейчас в забайкальском селе, как он сыт там, обут и одет и помнит ли об отце иль забыл уже его за малолетством?

— А где ж его отец? — спросил Щербинников.

— Да где теперь весь народ, там и он — в Красной Армии, — ответил хозяин. — Он сыном мне приходится, два года слуху нету…

— Объявится еще, — произнес Щербинников. — Теперь все разыщутся — мы немца ко двору его обратно толкаем…

— Может, и объявится, — охотно согласился старик. — И на войне смерти-то на всех не достанется: которые и живыми вернутся… Намедни и мы с семейством думали, когда нам фашист-то велел уходить из России, что, стало быть, близка наша смерть. Где ты без своей избы-то и без России проживешь? Взять хоть и Германию — там наш человек не может: он там от одной думы, от одного своего сердца помрет — сердце-то его здесь привыкло дышать, оно здесь отогревалось. Глянул я вдаль, как тележку от своей деревни откатил, и

вижу — не там нам быть, нет, не там, и по телу чувствую — нет, не время мне еще помирать; сообразил я, снял одно колесо с тележки и закатил его в рожь от греха. Тут немец явился, зашумел на меня, а я ему: «Ты же видишь, что колесо сошло, отыщу, дескать, налажу и тогда помаленьку поеду». А на поле-то гром, пальба. Да мы уж привыкли! Пошли мы со старухой и внуком в рожь — колесо искать, а по ржи вышли в балку, прожили там в невидных местах двое суток, а потом вышел я снова на орловскую дорогу, гляжу — наши русские впереди идут, — я тогда собрал семейство и обратно ко двору вернулся…

— А как же ты жить теперь будешь, хозяин? — произнес Щербинников. — У тебя всего один печной очаг остался…

— Была бы печь, — сказал крестьянин. — С печи изба примется, а с избы все хозяйство возьмется. Пускай только врага не будет.

Мальчик лет семи или восьми подошел к деду и загляделся на Щербинникова. Ребенок был худ и одет в одну рубашонку, но лицо у него было большое и угрюмое, с неподвижными, печальными глазами.

— Иван, ступай глину копай и к бабке неси, — сказал дед внуку.

Иван поглядел на деда.

— Тетка Анюта корову пригнала от немцев ко двору, — сказал Иван, — а дядя Прошка хлеб пошел косить, он мину скосил, и его огнем убило. Он там один в хлебах лежит, я видел.

— Ступай глину бабке таскай, — велел ему дед. Иван пошел работать; Щербинников тоже взял тогда топор у старика и сказал ему:

— Дай-ка я, хозяин, бревно тебе обтешу — от войны отдохну. А ты ступай — волоки мне еще материалу…

Щербинников поработал топором не много, потому что его кликнул Ракитин. Щербинников ушел на пост наблюдения, а Ракитин явился к уцелевшему остатку домашнего очага и стал глядеть на работу крестьянского семейства. Поглядев, он пошел по деревне искать цельные кирпичи, чтобы положить их в порушенную кладку домашнего очага. Ракитин любил кирпичное и каменное огнестойкое дело; до войны он работал мастером в черепичной мастерской.

Щербинников стоял на посту в обороне и осматривал местность вокруг себя… Согбенная рожь, уже созревшая, стояла на поле. С края хлебного поля начинался кустарник, опускающийся далее в пологую балку, но кустарник тот уже оголился и почернел: его насмерть обглодал артиллерийский и минометный огонь. Простая же трава, смешанная с цветами, стелилась по всей земле, как ее первоначальный бессмертный покров.

Издали доносились волны артиллерийских залпов, но ближе кротко стучал крестьянский топор, заново творя себе домашний очаг, чтобы опять было родное место у человека и чтобы снова из этого очага, как из малого семени, выросла вся большая русская жизнь.

Щербинников все слушал и слушал этот стук крестьянского топора, и ему становилось покойно на душе. «Хорошо быть крестьянином, — думал Щербинников. — И красноармейцем тоже быть хорошо, — потому что нужно. Без нас, без бойцов, старику бы и внуку его смерть была, а теперь они избу себе кладут. Без красноармейца ничего нельзя: зла на свете много».

Топор старого крестьянина по-прежнему терпеливо тесал бревно. Щербинников посмотрел в синее небо и на чистые, светящиеся облака на нем, плывущие далеко, неизвестно куда. И весь мир сейчас показался Щербинникову столь прекрасным, словно он был дотоле ему незнакомым и непривычным, и ему захотелось поплакать немного, пока нет никого. Но он вспомнил, как мать ему говорила когда-то, что если земля покажется человеку слишком хорошей, то такой человек должен скоро умереть.

— Нет, мама, — задумавшись о матери, сказал вслух Щербинников. — Ты жила давно, тебя научили бояться, и, кроме горя, ты боялась всего… Мы присягу давали умереть, когда нужно, если весь свет не будет таким, какой он должен быть для нас, для всех людей…

Мимо Щербинникова прошли две крестьянские женщины; одна несла мешок за

плечами со своим добром, другая вела за руки двух девочек — дочерей. Народ шел от врага к своему родному жилищу и к своему хлебу.

— Вы больше не уйдете от нас? — спросила у Щербинникова женщина с двумя девочками.

— Никогда, — ответил ей красноармеец.

— Не надо от нас уходить, — попросила крестьянка. — Не серчайте на нас.

— Мы не серчаем, — сказал Щербинников. — А вы на нас тоже не держите обиды.

Мать-крестьянка долго глядела на красноармейца.

— Ничего, — произнесла она добрым голосом. — Наше горе теперь уже отлегло от сердца.

Голубь и горленка

[текст отсутствует]

Взыскание погибших

«Из бездны взываю».
Слова мертвых

Мать вернулась в свой дом. Она скиталась, убежав от немцев, но она нигде не могла жить, кроме родного места, и вернулась домой.

Она два раза прошла промежуточными полями мимо немецких укреплений, потому что фронт здесь был неровный, а она шла прямой ближней дорогой. Она не имела страха и не остерегалась никого, и враги ее не повредили. Она шла по полям, тоскующая, простоволосая, со смутным, точно ослепшим, лицом. И ей было все равно, что сейчас есть на свете и что совершается в нем, и ничто в мире не могло ее ни потревожить, ни обрадовать, потому что горе ее было вечным и печаль неутолимой — мать утратила мертвыми всех своих детей. Она была теперь столь слаба и равнодушна ко всему свету, что шла по дороге подобно усохшей былинке, несомой ветром, и казалось, ее влечет вперед лишь ветер, уныло бредущий по дороге ей вслед. Ей было необходимо увидеть свой дом, где она прожила жизнь, и место, где в битве и казни скончались ее дети.

На своем пути она встречала врагов, но они не тронули эту старую женщину; им было странно видеть столь горестную старуху; они ужаснулись вида человечности на ее лице, и они оставили ее без внимания, чтобы она умерла сама по себе. В жизни бывает этот смутный отчужденный свет на лицах людей, пугающий зверя и враждебного человека, и таких людей никому непосильно погубить и к ним невозможно приблизиться. Зверь и человек охотнее сражается с подобными себе, но неподобных он оставляет в стороне, боясь испугаться их и быть побежденным неизвестной силой.

Пройдя сквозь войну, старая мать вернулась домой. Но родное место ее теперь было пустым. Маленький бедный дом на одно семейство, обмазанный глиной, выкрашенный желтой краской, с кирпичною печной трубой, похожей на задумавшуюся голову человека, давно погорел от немецкого огня и оставил после себя угли, уже порастающие травой могильного погребения. И все соседние жилые места, весь этот старый город тоже умер, и стало всюду вокруг светло и грустно, и видно далеко окрест по умолкшей земле. Еще пройдет немного времени, и место жизни людей зарастет свободной травой, его задуют ветры, сравняют дождевые потоки, и тогда не останется следа человека, а все мученье его существованья на земле некому будет понять и унаследовать в добро и поучение на будущее время, потому что не станет в живых никого. И мать вздохнула от этой последней своей думы и от боли в сердце за беспамятную погибающую жизнь. Но сердце ее было добрым, и от любви к погибшим оно захотело жить за всех умерших, чтобы исполнить их волю, которую они унесли с собой в могилу.

Мать села посреди остывшего пожарища и стала перебирать руками прах своего жилища. Она знала свою долю, знала, что ей пора умирать, но душа ее не смирялась с этой долей, потому что если она умрет, то где сохранится память о ее детях и кто их сбережет в своей любви, когда ее сердце тоже перестанет дышать?

Мать того не знала, и она думала одна. К ней подошла соседка, Евдокия Петровна, молодая женщина, миловидная и полная прежде, а теперь ослабевшая, тихая и равнодушная; двоих малолетних детей ее убило бомбой, когда она уходила с ними из города, а муж пропал без вести на земляных работах, и она вернулась обратно, чтобы схоронить детей и дожить свое время на мертвом месте.

— Здравствуйте, Мария Васильевна, — произнесла Евдокия Петровна.

— Это ты, Дуня, — сказала ей Мария Васильевна. — Садись со мной, давай с тобой разговор разговаривать. Поищи у меня в голове, я давно не мылась.

Дуня с покорностью села рядом; Мария Васильевна положила ей голову на колени, и соседка стала искать у нее в голове. Обеим теперь было легче за этим занятием; одна старательно работала, а другая прильнула к ней и задремала в покое от близости знакомого человека.

— Твои-то все померли? — спросила Мария Васильевна.

— Все! — ответила Дуня. — И твои все?

— Все, никого нету, — сказала Мария Васильевна.

— У нас с тобой поровну никого нету, — произнесла Дуня, удовлетворенная, что ее горе не самое большое на свете: у других людей такое же.

— У меня-то горя побольше твоего будет: я и прежде вдовая жила, — проговорила Мария Васильевна. — А двое-то моих сыновей здесь, у посада, легли. Они в рабочий батальон поступили, когда фашисты из Петропавловки на Митрофаньевский тракт вышли… А дочка моя повела меня отсюда куда глаза глядят, она любила меня, она дочь моя была, потом она отошла от меня, она полюбила других, она полюбила всех, она пожалела одного — она была добрая девочка, она наклонилась к нему, он был больной, он раненый, он стал как неживой, и ее тоже тогда убили, убили сверху от аэроплана… А я вернулась. Мне-то что же теперь! Мне все равно! Я сама теперь как мертвая…

— А что ж тебе делать-то: живи как мертвая, я тоже так живу, — сказала Дуня. — Мои лежат, и твои легли… Я-то знаю, где твои лежат, — они там, куда всех сволокли и схоронили, я тут была, я-то глазами своими видела. Сперва они всех убитых покойников сосчитали, бумагу составили, своих отдельно положили, а наших прочь отволокли подалее. Потом наших всех раздели наголо и в бумагу весь прибыток от вещей записали. Они долго таково заботились, а потом уж хоронить таскать начали…

— А могилу-то кто вырыл? — обеспокоилась Мария Васильевна. — Глубоко отрыли-то? Ведь голых, зябких хоронили, глубокая могила была бы потеплее!..

— Нет, каково там глубоко! — сообщила Дуня. — Яма от снаряда, вот тебе и могила. Навалили туда дополна, а другим места не хватило. Тогда они танком проехали через могилу по мертвым, покойники умялись, место стало, и они еще туда положили, кто остался. Им копать желания нету, они силу свою берегут. А сверху забросали чуть-чуть землей, покойники и лежат там, стынут теперь; только мертвые и стерпят такую муку — лежать век нагими на холоде…

— А моих-то тоже танком увечили или их сверху цельными положили? — спросила Мария Васильевна.

— Твоих-то? — отозвалась Дуня. — Да я того не углядела… Там, за посадом, у самой дороги, все лежат, пойдешь — увидишь. Я им крест из двух веток связала и поставила, да это ни к чему: крест повалится, хоть ты его железный сделай, а люди забудут мертвых…

Потом, когда уже свечерело, Мария Васильевна поднялась: она была старая женщина, она теперь устала; она попрощалась с Дуней и пошла в сумрак, где лежали ее дети — два сына в ближней земле и дочь в отдалении.

Мария Васильевна вышла к посаду, что прилегал к городу. В посаде жили раньше в

деревянных домиках садоводы и огородники; они кормились с угодий, прилегающих к их жилищам, и тем существовали здесь спокон века. Нынче тут ничего уже не осталось, и земля поверху спеклась от огня, а жители либо умерли, либо ушли в скитание, либо их взяли в плен и увели в работу и в смерть.

Из посада уходил в равнину Митрофаньевский тракт. По обочине тракта в прежнее время росли ветлы, теперь их война обглодала до самых пней, и скучна была сейчас безлюдная дорога, словно уже близко находился конец света и редко кто доходил сюда.

Мария Васильевна пришла на место могилы, где стоял крест, сделанный из двух связанных поперек жалобных, дрожащих ветвей. Мать села у этого креста; под ним лежали ее нагие дети, умерщвленные, поруганные и брошенные в прах чужими руками.

Наступил вечер и обратился в ночь. Осенние звезды засветились на небе; точно выплакавшись, там открылись удивленные и добрые глаза, неподвижно всматривающиеся в темную землю, столь горестную и влекущую, что из жалости и мучительной привязанности никому нельзя отвести от нее взора.

— Были бы вы живы, — прошептала мать в землю своим мертвым сыновьям, — были бы вы живы, сколько работы поделали, сколько судьбы испытали! А теперь, что ж, теперь вы умерли, где ваша жизнь, какую вы не прожили, кто проживет ее за вас?.. Матвею-то сколько ж было? — двадцать третий шел, а Василию — двадцать восьмой. А дочке было восемнадцать, теперь уж девятнадцатый пошел бы, вчера она именинница была… Сколько я сердца своего истратила на вас, сколько крови моей ушло, но, значит, мало было, мало было одного сердца моего и крови моей, раз вы умерли, раз я детей своих живыми не удержала и от смерти их не спасла… Они, что же, они дети мои, они жить на свет не просились. Я их родила, пускай сами живут. А жить на земле, видно, нельзя еще, тут ничего не готово для детей: готовили только, да не управились!.. Тут жить им нельзя, а больше им негде было, — что ж нам, матерям, делать-то? Одной-то жить небось и не к чему…

Она потрогала могильную землю и прилегла к ней лицом. В земле было тихо, ничего не слышно.

— Спят, — прошептала мать, — никто и не пошевельнется, — умирать было трудно, и они уморились. Пусть спят, я обожду — я не могу жить без детей, я не хочу жить без мертвых…

Мария Васильевна отняла лицо от земли: ей послышалось, что ее позвала дочь Наташа; она позвала ее, не промолвив слова, будто произнесла что-то одним своим слабым вздохом. Мать огляделась вокруг, желая увидеть, откуда взывает к ней дочь, откуда прозвучал ее кроткий голос — из тихого поля, из земной глубины или с высоты неба, с той ясной звезды? Где она сейчас, ее погибшая дочь? Или нет ее больше нигде, и матери лишь чудится голос Наташи, который звучит воспоминанием в ее собственном сердце?

Потом мать задремала и уснула на могиле.

Полночная заря войны взошла вдалеке, и гул пушек раздался оттуда, там началась битва. Мария Васильевна проснулась, и посмотрела в сторону огня на небе, и прислушалась к частому дыханию пушек. «Это наши идут, — подумала она. — Пусть скорее приходят».

Мать снова припала к могильной мягкой земле, чтобы ближе быть к своим умолкшим сыновьям. И молчание их было осуждением злодеям, убившим их, и горем для матери, помнящей запах их детского тела и цвет их живых глаз…

К полудню русские танки вышли на Митрофаньевскую дорогу и остановились возле посада на осмотр и заправку.

Один красноармеец с танка отошел от машины и пошел походить по земле, над которой сейчас светило мирное солнце.

Возле креста, связанного из двух ветвей, красноармеец увидел старуху, приникшую к земле лицом. Он склонился к ней и послушал ее дыхание, а потом повернул тело женщины навзничь и для правильности приложился еще ухом к ее груди. «Ее сердце ушло», — понял красноармеец и покрыл утихшее лицо покойной чистой холстинкой.

— Спи с миром, — сказал красноармеец на прощанье. — Чьей бы ты матерью ни была,

а я без тебя тоже остался сиротой.

Размышления офицера

Красноармеец передал мне для прочтения записную книжку, истертую об одежду и пропахшую телом человека, которому она принадлежала. Красноармеец сказал при этом, что он был ординарцем у владельца записной книжки, подполковника Ф. На первой странице книжки я прочитал вводное указание:

«Размышления, которые я считал полезным записать, не всегда являются лишь интимными настроениями, выраженными в мыслях, — только поэтому я их и записывал. Они могут стать достоянием любого советского военного человека, который пожелает ими воспользоваться, как ему нужно, — для себя и для других. Со мной может случиться смертельное несчастье, оно входит в мою профессиональную судьбу. Но я бы хотел, чтобы некоторые мысли, рожденные войной и долгим опытом жизни и, может быть, имеющие общую важность, не обратились в забвение вместе с моим прахом и послужили, как особого рода оружие, тому же делу, которому служил и я. А я служил и служу делу защиты нашего общего отчего крова, называемого Отчизной, я работаю всем своим духом, телом и орудием на оборону живой целости нашей земли, которую я полюбил еще в детстве наивным чувством, а позже — осмысленно, как солдат, который согласен отдать обратно жизнь за эту землю, потому что солдат понимает: жизнь ему одолжается Родиной лишь временно. Вся честь солдата заключается в этом понимании; жизнь человека есть дар, полученный им от Родины, и при нужде следует уметь возвратить этот дар обратно».

Я спросил у ординарца, где теперь находится подполковник Ф.

— Он скончался от ран в полевом госпитале, — сказал ординарец. — А я еду к его родителям, везу его вещи, ордена, награды, благодарную грамоту и похоронную… Я знаю место, где его положили, а теперь надо сказать родным. Его сгубили с воздуха, а то бы он цел был… Его сгубили, а я вот живым остался, хоть и при нем же был, когда нас бомбили. Лучше б было мне скончаться, да не вышло случайности…

Я прочитал всю книжку покойного офицера и возвратил книжку ординарцу; однако я запомнил из нее, что мне показалось наиболее существенным или сохраняющим образ погибшего за нас человека.

1943 год. 10 апреля. Жена мне говорила когда-то давно, что я пишу ничего, но непоследовательно. А я думаю, что непоследовательность может быть удобной формой для искренности, и тогда этот недостаток является полезным. Я часто вспоминаю, что мне говорила жена, когда мы жили вместе в Луге, и как будто заново читаю свою жизнь и опять переживаю свою привязанность к жене, но в воспоминании мое чувство состоит только из грусти. Плохо, что наши чувства являются часто в форме грусти, но это потому, что война — разлука; однако я думаю, что и разлука, эта тяжкая грусть наших разъединенных сердец, может быть полезной, потому что я не уверен в постоянном счастье вечно добрых сердец, привязанных друг к другу и удовлетворенных своей близостью. Но чувство мое идет вразрез с моей мыслью, и я бы хотел сейчас увидеть близко мою жену и хоть немного поговорить с ней. А потом я опять был бы здесь, опять в труде, в напряжении войны, в постоянной заботе о тысяче предметов: о свежей картошке, о накоплении боеприпасов, о воспитании младших офицеров, о военторге, об этом проклятом автотранспорте, где непрерывно летят задние мосты, конички, какие-то подвески или опоры Гука, которые мне снятся в бреду живыми фигурками, причем они сами называют себя «локальными делегатами мирной конференции». Я артиллерист, но все предметы, составляющие вселенную вблизи меня, входят в мое ведение — и овощи, и души людей.

На нашем участке пока тихо. Против меня стоят на глубину двенадцать германских батарей, из них четыре тяжелые.

И они, и мы безмолвны. Пушкари наши учатся, и все мы, от нашего генерала до

обозного солдата, — ученики. Мы учимся по 14 часов в сутки, даем себе духу. С разрешения командования я ввел в занятия своего дивизиона один час «общих знаний». Под этим разумеются невоенные знания: русская литература, история родины, география мира, жизнь великих людей. Я и другие старшие офицеры читаем личному составу доклады и лекции по этим дисциплинам; я читаю русскую литературу и историю родины. Я не зря ввел этот гуманитарный час в нашу военную учебу: теперь я точно установил, что военные знания лучше, охотнее и глубже усваиваются, когда военные занятия немного разбавлены или прослоены преподаванием общих знаний. Мы даем мало этих общих знаний, но их преподавание играет роль катализатора для лучшего усвоения общевоенной и артиллерийской науки. Всякое однообразие, даже однообразие великого явления, утомляет человека. Я хочу, чтобы этот мой опыт был замечен.

1943. 8 мая. Тишина. Изредка в психозе бьют минометы немцев, когда им что-либо почудится на нашей стороне. Потом опять молчание. Бойцы любят солнце и, когда можно, снимают одежду и загорают, говоря что-то солнцу, как старому родственнику… Я думаю, что сдержим немцев и даже осадим их назад. Мои пушки будут работать жарко, добра для огня у меня много. Я отойти не могу, я буду вести огонь, пока не станут плавиться пушки и останусь возле них один, если лягут все мои расчеты, но отойти назад я не могу; во мне, если я дрогну, погибнет самая моя сущность, потому что я офицер не по званию только и погонам. Я стою здесь на переднем крае всей цепи народной обороны, мое дело одно — совершать победу, но зачинается победа не здесь, а в тылу, в глубине Родины. Крепче тыл! И крепость тыла зависит от меня: тыловую землю надо увеличивать за собою, то есть наступать.

1943. 10 июня. Ты уже заготовил для нас победу — я говорю о технике и снабжении, — нам осталось ее совершить. «Крепче правый фланг!» — даже умирая, повторял когда-то Шлиффен; эта фраза, как известно, кратко определяла общую тактическую идею одной запланированной немцами войны. Крепче тыл! — вот общая стратегическая идея нашей Отечественной войны. Крепче тыл! — это означает, что в ходе войны наша Родина во имя победы не должна расшатываться и истощаться, что военная, а также моральная мощь ее должна возрастать. Особенность нынешней войны в том, что ее нельзя закончить с падающими силами, ее надо вести до конца с постоянно обновляющейся духовной свежестью народа. Наше правительство знает тайну тыла как первоисточника нашей победы и духовной уверенности в святости нашего дела.

1943. 23 июня. Весь наш Центральный фронт объят тишиной. Стоит прекрасное русское степное лето, зреют хлеба, вечная жизнь волнами идет по Вселенной, но сердце наше напряжено ожиданием битвы… Во мне живет страстное желание не один раз умереть, не один раз подарить свою жизнь Родине, а несколько раз, и в этом смысле хочется жить дольше, чтобы часто иметь возможности дарить себя Отчизне целиком и каждый раз, поразив врага, спасаться самому непораженным. Я заметил, что и у других наших офицеров и солдат есть это счастливое желание, но говорить о нем никто не любит. И не надо говорить. Самое важное: крепче тыл! Эта идея владеет мною. Что она означает? Что нужно сделать, чтобы крепкая наша Родина утвердилась еще более? Народ, нация, общество устроены сложно. Отдельный человек не может быть соединен сразу, непосредственно со всем своим народом. Человек соединяется с народом через многие звенья. В этих звеньях и содержится сущность дела, в них именно находится духовная и материальная мощь народа, в том числе и военная мощь.

Первое звено — семья, в ней живет среди всех любимых людей народа самое любимое существо каждого человека: его мать, его ребенок, его жена… Среди дорогих людей это существо самое драгоценное, оно тесно, жестко привязывает человека к жизни, к долгу и обязанностям. Вокруг этого одного или нескольких наиболее любимых людей находится

священное место человека: его жилище, его имущество, дерево, дела, нажитое добро. Это добро дорого не только как полезная собственность, а как живой след жизни родителей, как материальное продолжение их любви к детям и после смерти. Но смысл семьи — в любви и верности, а без них не бывает ни человека, ни солдата. Ребенок познает в семье любовь и верность сначала инстинктом, позже сознанием. Народ же и его государство ради своего спасения, ради военной мощи должны непрестанно заботиться о семье, как о начальном очаге национальной культуры, первоисточнике военной силы, — о семье и обо всем, что материально скрепляет ее: о жилище семьи, о ее родном материальном месте. Здесь не пустяки, а очень нежное — материальные предметы могут быть священными, и тогда они питают и возбуждают дух человека. Я помню армяк деда, сохранявшийся в нашей семье восемьдесят лет; мой дед был николаевским солдатом, погибшим на войне, и я трогал и даже нюхал его старый армяк, с наслаждением предаваясь своему живому воображению о геройском деде. Возможно, что эта семейная реликвия была одной из причин, по которой я сам стал солдатом. Малыми, незаметными причинами может возбуждаться большой дух.

Второе звено, второй круг более широкий. Человек работает в коллективе людей: на предприятии, в колхозе, в учреждении. Семейная школа любви и верности здесь дополняется школой долга и чести. В труде, в окружении товарищей человек находит исход своей творческой энергии и удовлетворяет в сознании общественной пользы своей деятельности естественное честолюбие. Трудовое же честолюбие при правильном воспитании его легко обращается в воинскую честь. А честь — мать смелости, она и робкого делает отважным. Следовательно, истинная культура труда является также школой чести, школой солдата. У нас в стране это звено воспитания человека было сильным местом, и в том заключается одна из причин отваги и стойкости наших войск.

Третье звено — это общество, то есть все связи человека: семейные, производственные, политические, а главное — прочие, кроме этих первых трех, связи, основанные на симпатиях, дружбе, общем мышлении, на интересе к будущему народа, к науке и искусству, на необходимости отдыха, на случайности, наконец. Через общество человек встречается со своим народом в лице его отдельных представителей, здесь он попадает на скрещение больших дорог, во взаимодействие с разнообразными людьми. Здесь человек претерпевает великое обучение: он учится сочетанию свободы своей личности со свободою всех, в нем воспитывается мышление и инициатива в соревновании с другими людьми. Искусство взаимодействия и маневра, искусство инициативы и соревнования здесь, в общении, человеком постигается практически.

Дух общественной свободы, высокое чувство личной независимости и одновременно впечатлительное, страстное уважение к личности другого человека есть необходимое условие для успеха общественного воспитания. Тогда оно, такое воспитание, подготовит в человеке тот характер личности, который необходим для квалифицированного воина, разумного солдата своего Отечества.

За обществом простирается океан народа, общее отцовство, понятие которого для нас священно, потому что отсюда начинается наше служение. Солдат служит лишь всему народу, но не части его — ни себе, ни семейству, и солдат умирает за нетленность всего своего народа.

Три эти звена, о которых я столь думаю, и есть точное определение тыла. От них зависит качество нашего человека и воина. В них, в этих звеньях, в их добром действии, скрыта тайна бессмертия народа, то есть сила его непобедимости, его устойчивости против смерти, против зла и разложения.

1943. 26 июня. Война — проза, а мир и тишина — поэзия. Прозы больше в истории, чем поэзии. Зло еще ни разу не забивалось навеки, безвозвратно. Может быть, лишь в удаленном будущем на место солдата явится великий труженик другого рода оружия, смиряющий врагов не посредством смерти… И еще нужно нам одно — пример офицера. Без любви к своему офицеру солдат — сирота, а сирота плохой солдат. Офицер должен

заслужить любовь своих солдат действительным превосходством своих человеческих и воинских качеств; лишь тогда, когда солдат убежден в превосходстве офицера, убежден до сердца, убежден своею любовью, ему легко страдать вместе с офицером и умереть возле него, когда потребует долг. Солдат здраво понимает, что несправедливо допускать гибель лучшего человека и бесчестно жить после него.

Есть в нашем русском советском человеке благородное начало, унаследованное от предков, воспитанное на протяжении исторической жизни народа; это начало надо не расточать, а умножить.

1943. 30 июня. Я измучился безмолвием войны. Кроме сигнальных ракет, «демонов глухонемых», мы давно не видели и не слышали никакого огня. Вдали по ночам нам слышен бывает «воздух» — небольшие бомбежки; и это всё. Стволы моих пушек дремлют в чехлах. Я весь день в заботах; нам всем известно, что в тишине накапливается гроза против нас, и мы в ответ врагу также собираем молнии для контрудара… Но я хочу узнать, что нужно еще дополнительно сделать для нашего успеха. Я довольно хорошо знаю своих, однако я понимаю также, насколько глубок человек, и поэтому ценю свое знание солдата все же невысоко. Но я уверен, что именно в солдате более открыто проявляются все лучшие качества его народа и скорее обнажаются его недостатки. Меня более интересуют недостатки, потому что они определяют боевую слабость духа. Для меня, как офицера, военная ценность человека является главным его измерением. Удельное значение человеческого духа в нашу войну весьма увеличилось. Дух, этот род оружия, вечен. Он действовал при катапультах и переживет танки. В него я постоянно всматриваюсь, — это моя обязанность, а не пристрастие. Прежде я писал о звеньях, посредством которых человек соединен и сращен со своим народом. Но есть еще одно средство, и оно имеет интегральное значение, оно объединяет каждого человека с его народом напрямую, объединяет с живыми и умершими поколениями его Родины. Это коммунистическое мировоззрение и мироощущение народа — когда мысль человека знает общую задушевную истину, чувство любит ее, а вооруженная рука защищает.

Народ называет свое мировоззрение правдой и смыслом жизни. Традиционное русское историческое правдоискательство соединилось в Октябрьской революции с большевизмом — для реального осуществления народной правды на земле. Тогда наш корабль вышел в открытую бесконечную даль истории, в сияющее пространство. Теперь встречный шторм войны треплет наш корабль. Наша общая вера, правда и смысл жизни из умозрения, из мысли обратились в чувство, в страсть ненависти к враждебной силе, в воинское дело, в подвиг сражения. Я думаю над тем, как нужно еще лучше, во всенародном и всесолдатском измерении, превратить нашу общую мысль, нашу философию, владеющую исторической истиной, превратить в простое, доступное всем, страстное, святое чувство, подобно молитве, чтобы оно постоянно укрепляло воина и подымало на врага его руку. Это великое, нужное нам оружие, которым мы еще не овладели, как следует им владеть, чтобы скорее сдвинуть противника с нашей земли. В этом деле большую силу имеет наше искусство. Ленин думал когда-то об увеличении значения театра, который может стать для народа тем же, чем были храмы. Он говорил о значении радио, кино и о призвании писателей как инженеров, устроителей человеческих душ. В этом вся суть: душа человека должна быть устроена, душа солдата в первую очередь. Мы многое сделали в этом отношении, но вооружать человека духом надо непрерывно, чтобы в боевом действии наш воин имел великое совершенство сердца и ума.

1943. 4 июля. В солдате есть одна особая тайна. Он, лишенный на войне семьи и привычных любимых людей, невольно, в силу свойства человеческого сердца, желает видеть в офицере замену всех тех, кого он любил, кого оставил на родине. Он хочет, чтоб и на фронте его сердце питалось чувством привязанности, а не оставалось грустным и пустым. Это естественно. Сколь многое может сделать офицер, понимая это обстоятельство, если он

способен утвердить в себе высокие качества человека и образованного воина и не обманет своих солдат, готовых верить ему и любить его… Я живу в своем дивизионе как старший в большом семействе, я не могу жаловаться. Однако мне все же бывает трудно. Я привык любить свою жену, я часто забываю о ней среди многих забот и обязанностей, но и без памяти о ней душа моя молча страдает, что нет ее со мной, что, может быть, нет ее в живых на свете. Не все, оказывается, можно заменить. Есть в жизни незаменимое.

1943. 6 июля. Вторые сутки мы сдерживаем противника. Давит он серьезно. Все мои солдаты, все офицеры, все расчеты и батареи работают спокойно и точно. Я им сказал, что мы должны сдержать смертельный удар врага, направленный на всю нашу Родину, мы должны именно здесь и теперь утомить врага и расточить его силы своей обороной. В нас теперь живет тихая радость от долго длящегося подвига. Мы все понимаем, в чем дело. Принять на себя удар смерти, направленный в народ, — этого достаточно, чтобы быть счастливым и в огне. Многие из нас получили сейчас впервые свободную возможность обнаружить все свои способности — в борьбе со смертью, рвущейся в глубину страны… Наводчик на батарее Скорикова, пока техники проверяли пушку, переобувался под огнем. «Укройся пока, — приказал я ему. — Чего ты не боишься?» Я думал, он глуп. «Я ихних погремушек не боюсь, товарищ подполковник, — сказал наводчик. — Это громко и страшно только для нас, а муравьи по земле ползают, и бабочки летают, им ничего». Он сразу понял, что и ужас — дело относительное и зависит от точки зрения. Такая философия тоже идет в помощь солдату. Бабочки правда, летают, словно вокруг стоит вековая тишина, и муравьи работают в почве с обыкновенным усердием… Генерал нами доволен. Приказано не жалеть «угля». Однако зря, ради одного шума, я снаряды тратить не буду. Мы не погремушка.

1943. 8 июля. Мое хозяйство работает день и ночь. Люди держатся духом, не хватает сна. Капитан Богатырев тяжело ранен, пятый раз за войну. Пятый раз он дарит Отечеству одну свою жизнь. Мне передали личное письмо в общем служебном пакете. Я стал его читать, оно от жены, но меня оторвали от чтения, и я его дочитал позже. Богатыреву после ранения стало сразу плохо. Он вызвал меня. Я пришел к нему в блиндаж, он велел фельдшеру выйти. «Мне страшно, подполковник, — сказал мне Богатырев. — Страшно от скуки, что я один там буду, на всю вечность один. Пройдет ли вечность? А вам было когда-нибудь так страшно, так мучительно, как мне сейчас?» Я ему сказал, что мне и сейчас страшно и мучительно. Богатырев заинтересовался, и от этой заинтересованности облегчилась немного его предсмертная мука. Я ему сказал как есть. Я получил письмо от жены; ее немцы застали в Луге, она, неловкая, не сумела уехать. Письмо шло ко мне год, его доставили на нашу сторону партизаны, и оно долго искало меня. Жена мне пишет, что все люди у них умирают с голоду, а она умирает от любви ко мне…

Богатырев чуть улыбнулся. Я понял его: мне сорок два года, я лысый, какая женщина может любить меня и за что особенное? «Где же теперь ваша жена?» — спросил Богатырев. Я этого не знаю сам, но я догадываюсь по намеку в письме, чего она хотела. Я сказал Богатыреву, что жена, видимо, ушла к партизанам, желая вместе с ними выйти к нам и найти меня, и в пути она погибла. Прошло уже много времени, она бы уже нашла меня. Она умерла от немецкой пули, она упала мертвой в мокрую холодную траву, исхудавшая от голода, любящая меня… «Плохо вам теперь», — сказал Богатырев успокоенно. Я оставил его, мне нужно было работать в бою. Через час мне доложили, что Богатырев скончался «с тихим духом». Вечная память всем мертвым, их смерть дарит жизнь нашему народу…

— А как умер сам подполковник? — спросил я у ординарца покойного офицера.

— Спокойно, — ответил ординарец. — Рана была в живот, это место у человека слабое, беспокойное, крови оттуда много вышло… Я говорю: «Товарищ подполковник, крови есть потеря, а так вы весь целый, чистый…»

— А он что?

— А он все допрашивал меня: «А еще что вышло из меня? Кровь — пустяк, еще что

вышло из меня, изнутри?» Я говорю: «Боле ничего, товарищ подполковник, что может быть такого, что из человека выходит…» А он: «Нет, врешь, говорит, из меня важное вышло, главное, говорит, вышло: чем я жил, чем держался, а теперь я весь пустой, дешевый стал», — и умер скоро, умер смирно…

— Что ж это было важное, что ушло из него при смерти? — спросил я.

Ординарец подумал.

— Кто ж его знает? Помирать будем, из нас тоже изнутри выйдет что-нибудь главное, тогда узнаем. Обождем пока.

— Хороший был человек подполковник?

— Ничего, он нам всем помнится…

1943

Среди народа (Офицер и крестьянин)

Деревню Малую Верею майор Александр Степанович Махонин занимал уже дважды, но оба раза оставлял ее, потому что фашисты направляли по десять и пятнадцать танков и по два полка пехоты против одного его батальона. Александр Степанович не мог понять столь жертвенной борьбы врагов ради удержания незначительного населенного пункта. Местоположение Малой Вереи и ее тактическая ценность в плане обороны противника не давали оправдания для защиты Вереи во что бы то ни стало. Майор Махонин любил вникать в мысль противника; но здесь, в сражениях за Малую Верею, он не мог угадать здравого военного расчета неприятеля, глупости же его он из осторожности не хотел допустить. Уже и мощный узел немецкой обороны на грейдерной дороге, что на левом фланге, был оставлен противником, и справа от Вереи наши войска тяжким прессом далеко вдавались вперед дугой по фронту, а фашисты не жалели своих войск и машин, чтобы ужиться на этой избяной погорельщине у проселочной дороги. И поэтому наши войска в третий раз штурмовали Малую Верею, и в третий раз майор Махонин въезжал в эту деревню, сотлевшую в прах, но все еще невидимо живую. Здесь Махонин двое суток тому назад беседовал с одним жителем-стариком: жив ли он теперь? Беседа их не была тогда закончена; они расстались по чужой воле, не желая расставаться.

Старый крестьянин был жив. Он сам вышел на дорогу — опытный житель войны — и приветствовал русского офицера:

— Здравствуйте, Александр Степанович! В который раз мы с вами встречу делаем, и все без ущерба живем…

— Без ущерба, Семен Иринархович, — сказал майор. — Смерть еще, видно, заслужить надо, чтоб от нее добро и польза народу была, а так зачем же ущерб терпеть?.. Здравствуй сызнова, Семен Иринархович!

— Здравствуй, Александр Степанович… Правда твоя — и смерть даром не дается, ее тоже еще надо заслужить, а зря к чему же со света уходить! Правда, правда твоя!.. Да ведь и так можно сказать, Александр Степанович, ты, конечно, и сам о том чувствуешь, что ведь надо кому-нибудь и на земле дежурить остаться, чтобы безобразия на ней не было… Без нас-то, глядишь, и непорядок будет. Нам тут надо быть…

— Надо, надо, Семен Иринархович, — говорил майор Махонин.

Они стояли один возле другого, радуясь друг другу, как родня. Крестьянину было лет под семьдесят; он был человек небольшого роста, уже усыхающий от возраста, с клочком бурой бороды под подбородком и с теми небольшими, утонувшими во лбу, светлыми впечатлительными и нежными глазами, которые наш народ называет мнительными. Этот старик, как он сам сообщал, еще до войны сумел своим сердцем добыть из местной отощалой почвы столь тучный урожай льна и конопли, что его пригласили на выставку в Москву, чтобы показать всему народу этого тщедушного, но хитроумного труженика. Офицер перед ним был высок ростом, угрюм и худ, с тем выражением спокойствия и

долготерпения на лице, которое бывает у людей, давно живущих на войне. На вид майору можно было дать и пятьдесят лет и тридцать пять: его могли утомить долгие годы труда, тревоги и ответственности, принимаемой близко к сердцу, и оставить застывшие следы на его лице, — или то были черты постоянно сдерживаемой крайней впечатлительности, доставляющей усталость человеку. Но в голосе Махонина все еще была слышна молодая сила, располагающая к нему, кто слышал его, и звучало добродушие хорошего характера.

Майор и крестьянин не окончили своего разговора, начатого в прежний раз, тоже после штурма деревни.

— Ну как, теперь-то надолго к нам, Александр Степанович? — спросил крестьянин. — Пора бы уж быть у нас неотступно…

— Теперь навек, Семен Иринархович, — сказал Махонин.

Он пошел со стариком и ординарцем по деревне, по всем ее закуткам, погребам и земляным щелям, чтобы найти там оставшихся жителей, успокоить их и вызвать на свет. Он всегда так делал в наступлении; он чувствовал в этом удовлетворение своей работой солдата и конечное завершение боя; он чувствовал в тот час особое сознание, похожее на сознание отца и матери, рождающих своих детей; спасенные, худые, устрашенные люди, таившиеся в рытой земле, открывали в сердце Махонина глубокую тихую радость, подобную, может быть, материнству: он спас их победным боем от смерти, и это казалось ему столь же важным и трудным, как рождение их в жизнь. «Живите опять, — шептал он, наблюдая жителей, отходящих от страха: какую-либо кроткую крестящуюся на него старуху или ребенка, уже улыбающегося ему. — Живите теперь сначала», — и он брал у ординарца еду из вещевого мешка, которую тот всегда имел на этот случай, и дарил ее тем, кто сам умел кормить всех людей.

Так он поступил и теперь. Затем Махонин дал поручение ординарцу, а сам пошел проведать Семена Иринарховича.

— Пойдем торопливей, Александр Степанович: там старуха моя кончается, — сказал старик.

— А что с ней такое?

— Да ничего особого: война, Александр Степанович! Это ее взрывом оглушило, она и задохлась, в старости дыхание ведь слабое бывает… Я тоже пострадал, да уж оправился…

Семен Иринархович приютился для жизни в дворовой баньке, стоявшей на усадьбе поодаль от деревенского порядка, у самых прясел, за которыми вскоре же начинался лес, бывший теперь без листьев и без ветвей, обглоданный огненными битвами, похожий ныне на частокол мертвых костей, выросших из гробов. Банька была без фундамента, маленькая избушка из бревен, с одним окошком, величиною в детский букварь. По той причине, что в избушке не было фундамента и стояла она свободно на земле, ее двигали с места на место воздушные удары от фугасных снарядов; такая участь скособочила ее и солому из ее крыши всю повыдуло ближними взрывами, а что осталось немного, то раздувалось теперь по ветру редкими прядями, как у простоволосой нищей старухи.

Майор молча вздохнул от вида этой природы в России и вошел за стариком в его убогое малое жилище; там в сумраке лежала на банной полке старая жена крестьянина. Старик тотчас приник к ней и освидетельствовал ее дыхание.

— Где ж ты все ходишь, сатана? — прошептала женщина, часто и угнетенно дыша. — Ведь я помираю одна, хоть бы ты помнил обо мне…

— Да ну, вот еще что такое, так ты вот и померла в одночасье: век терпела, а тут враз жить не можешь, как раз когда надо! — говорил Семен Иринархович. — На дворе теперь тихо, война на немцев ушла: чего тебе нужно-то, дыши теперь и подымайся, тебя забота и хозяйство ждет…

Старуха помолчала, потом она попросила мужа:

— Приподыми меня!.. Ловчей бери-то, аль уж от жены отвык!.. Погляди в печь, в самую топку-то, — там чугун с теплыми щами был… Дай-ка я сама встану, неудельный ты мужик!.. Кои сутки неевши живем, — нам хлебать пора и командира заодно горячим

покормим, отощал небось человек, все бои да бои идут, когда ему кушать!..

Старик живо повеселел, что старуха его опять не умерла и выздоровела. Видно, он любил свою жену, или то было чувство еще более надежное и верное, чем любовь: тот тихий покой своего сердца вблизи другого сердца, коих соединяет уже не страсть, не тоскливое увлечение, но общая жизненная участь, и, покорные ей, они смирились и прильнули друг к другу неразлучно навек.

— Вот оно так-то поумней будет! — бодро бормотал старик. — Вставай, вставай, Аграфена Максимовна, теперь время военное — теперь и старуха солдат…

— Да будет тебе, брехун… Вон командир молчит, а ты все языком толчешь. Какой я солдат! Кто солдат-то кормить и обшивать будет, коли все солдатами станут, старая твоя голова, ты подумай!.. — Старик был доволен и не обижался.

— Груша, а Груша! — сказал он с мольбой. — А как бы нам куренка хоть на угольях как-нибудь поскорее испечь, ведь у нас нынче не простые гости…

Старуха оправила на себе одежду, потом начала чесать деревянным гребнем свои густые еще волосы.

— Да чего же, — согласилась она, подумав. — И куренка можно пожарить. Я сейчас встану схожу…

— Того белоперого, белоперого, он посытее будет других, — подсказывал старый хозяин.

— Да я уж сама угляжу, какой там посытее, а какой тощей… Учитель!

* * *

Махонин не мог понять, почему в Малой Верее остались живые куры, когда тут оседлостью жили немцы.

— А как же фашисты-то у вас были, Семен Иринархович? — спросил майор. — Неужели они кур у вас не доели?

— Да, а что нам фашисты, Александр Степанович! — весело отозвался старый человек. — У нас не только что куры есть, иной колхозник и корову в лесу сберег, скотина в чаще две зимы спасалась. У нас и матки со свинофермы целыми остались, ну с тела отощали малость, да это мы их поправим… Эх, милый человек, что нам немец, если по уму его мерить! Разве устоит он против нашего соображения? Он не устоит, он не может: мы по своему сознанию первее его, потому что мы судьбы больше испытали! Вот ведь что, Александр Степанович… Немец всю Россию завоевать хотел, да неуправка у него вышла. А хоть бы и завоевал он нас, всю Россию, так опять же все ему стало бы ни к чему и впрок бы не пошло, и он бы сам вскорости уморился от нас, потому что хоть ты и завоюешь нас, так, обратно, совладать с нами никому нельзя. У нас уж такое устройство во внутренности есть — пока живешь, все будешь неприятелю поперек делать, а потом, глядишь, либо он умрет от тебя, либо ему постыло и жутко станет у нас, и он сам уйдет ночью назад в свое отечество… Мы без вас тут, Александр Степанович, всякую мысль думали и сами знали, как нам быть, чтоб врага не было…

— Так-то оно так, Семен Иринархович, — произнес майор Махонин, — а может, и не так… Совладать фашист с нашим народом не может, это, Семен Иринархович, правда твоя, а убить его он вот старается…

— Иди, иди, старая, — сказал старик своей жене, уже убиравшей баньку, чтобы были в ней чистота и порядок. — Иди по моему указанию, ощипай нам к обеду цыплака!

— Обрадовался, старый бес, — тихо проговорила старуха, — привык гулять-то да язык чесать при Советской власти… ан фашист-то, гляди, опять воротится! И этот тоже — одну деревню отвоевал и сиднем в ней сел… командир! Нет того, чтобы дальше втупорье на врага идти, пока он напутан!..

Махонин понимал бессмысленность слов старухи, обращенных к нему, но все же ему стало стыдно и неловко.

— Мне, хозяйка, в Малой Верее велено быть… Я без приказа не смею идти. Но вы не беспокойтесь — там фашистов другие наши части добивают…

— Другие, — прошептала старуха, — а ты бы, где другие, третьим стал, оно бы скорее война-то ушла с нашей России…

— Ступай прочь, старуха! — рассерчал хозяин. — Велено тебе делом заняться!.. Вот фугаска домашнего действия — шипит, а не взрывается…

Хозяйка ушла. Майор потянулся всем телом и вздохнул в отдыхе. Все же и в этой баньке, в этой погубленной войной деревне уже зачиналась домашняя жизнь, мир и счастье. Эти ворчащие, бормочущие, озабоченные старые русские крестьянки, народив свой народ, держат его в строгости и порядке и тем сохраняют его в целости, так что их постоянное недовольство и рассерженность есть лишь их действующая любовь, своей заботой оберегающая свой род.

Махонин хотел попрощаться с хозяином: его беспокоило, что долго нет ординарца. Семен Иринархович стал удерживать майора, чтобы скушать курицу, однако майор остерегался засиживаться.

— Хозяйка вон говорит, фашисты еще могут явиться, — улыбнулся Махонин. — Мне пора в батальон…

— По дурости они все могут, — согласился Семен Иринархович.

— На что им ваша Верея? А они ишь как лезли сюда! Им уж ни смысла, ни пользы не было тут быть, а они все дрались…

— Так это ж просто и понятно, Александр Степанович… Когда у человека ни добра, ни разума нету, так у него прынцып начинает бушевать… У немцев теперь часто рассудка нету, я и сам такое замечал у них, а прынцып у них еще остался, они и воюют сейчас из прынцыпа да еще из страха. Пока что они, Александр Степанович, от своего начальства смерти боятся, а вот-вот им Красная Армия страшнее начальства будет, от нее-то смерть вернее, тогда они стадом в плен пойдут: берите нас на довольство…

Старик понимал кое-что верно. Майор услышал от него разумное умозаключение о боях немцев за Верею. Эти бои для фашистов не имели смысла, но чья-то карьера или авторитет зависели от боев за Верею, у кого-то там, по слову старика, «забушевал» принцип, и сотни немецких солдат были переработаны нашим огнем на трупы, хотя каждому ездовому из немецкого обоза могло быть ясно, что Верею держать было нельзя и не нужно. Майор еще раз понял, что разум не всегда бывает там, где ему положено обязательно быть…

В армии, предчувствующей свое поражение и гибель, эти свойства явственно обнажаются; старый крестьянин сразу заметил, что немецкая тактика в боях за Верею не имела рассудка; майор же хотел найти в этой тактике смысл и ошибся.

Махонин не обиделся на превосходство крестьянского ума; он не отделял себя от людей; он понимал, что человек лишь однажды рождается от своей матери, и тогда он отделяется от нее, а потом его питают и радуют своим духом все люди, живущие с ним, весь его народ и все человечество, и они возбуждают в нем жизнь и как бы непрерывно вновь рождают его. И сейчас Махонин обрадовался, что Семен Иринархович сказал ему истину и он мог поучиться у него.

— Как зимовать теперь будете, Семен Иринархович? Плохо жить в разорении…

— Ничего, Александр Степанович, мы стерпим, а вскоре, бог даст, и отстроимся. Зато какое дело мы с тобой и с прочим народом исполнили — такую гадюку всего мира на тело России приняли и удушили ее. Ты вот откуда считай, а не от спаленной избы! Горе и разор наши минуют, а добро-то от нашего дела навеки останется. Вот тебе Россия наша! А Германия ихняя что? Глядел я тут на немцев: глупарь народ. Мы весь мир, говорят, завоюем. Воюйте, думаю, берите себе обузу.

— Мир спокон века завоевать хотели, Семен Иринархович: дураков много было.

— Правда, правда твоя, Александр Степанович: негодному человеку всегда весь свет поперек стоит. Оно и понятно — старательно он жить не может, людей ведь много, и с каждым в соревнование нужно вступить, делом, стало быть, нужно показать, что ты лучше

его. А по делу-то он негодный и не поспеет, а жить ему хочется больше годного, удовольствие свое ему надо иметь скорее всех! Вот негодный и нашел себе занятие: опростать землю от людей, чтоб их малость осталось, и те тогда напуганные будут и унижение почувствуют, а всю землю с нажитым добром под себя покорить. Тогда живи себе как попало и как хочется, раз весь мир под тобой — тебе стесненья нету, ты сразу лучше всех, и душа покойна, и пузо довольно!.. Это и я, когда мальчишкой был, все хотел, чтоб у нас старичок ночью на пчельнике помер — тогда бы я наутро в курень к нему залез и весь мед в его кадушке поел… Вот тебе круговорот жизни какой, Александр Степанович! Немцу, я тут заметил, всегда все ясно бывает, он думает — всю мудрость он постиг. А вот другого человека он не знает, и ни одного человека он не может понять, оттого он и погибнет весь без остатка…

Махонин слушал старого крестьянина, и у него хорошо делалось на сердце, словно оно все более согревалось. Он чувствовал, как тепло веры народа и праведность его духа питает его, и судьба его, Махонина, как русского солдата, благословенна, и сейчас уже, а не в будущем он знает свое счастье. Он видел, из каждого большого и правильного расчета живет его народ и почему он безропотно терпит горе войны и надеется на высокую участь в этих погибших селениях.

— Мы их все равно раздолбаем, Семен Иринархович! — сказал майор. — Где же твоя старуха? Мне ведь некогда!

— Старухи за войну от рук отбились, Александр Степанович! — объяснил старый человек.

— Но ты потерпи малость — сейчас мы куренка кушать будем.

— Я кушать не хочу, — сказал майор. — Я попрощаться хочу с твоей женой.

— А чего с ней прощаться — она помирать не собирается…

Избушка-баня, в которой они находились до сей поры спокойно, подвинулась с места, и они услышали сотрясение земли.

— Это, Александр Степанович, мина большая вздохнула, — сказал Семен Иринархович.

— Фашист-глупарь, и помрет, так все никак не уймется, ишь как землю смертью наследил!..

— Война, Семен Иринархович, — улыбнулся Махонин. — А смерть на войне нормально живет.

— Нормально! — согласился крестьянин. — Правда твоя.

Пригнувшись, в баньку вошел капитан, заместитель Махонина. Он доложил командиру, что батальон зачисляется на отдых во второй эшелон без перемены своего расположения.

— Передний край уж далеко вперед валом ушел, товарищ майор, — объяснил капитан обстановку. — Тут скоро резервы всеобуча будут находиться.

* * *

Тихо стало окрест Малой Вереи… Было позднее время года, уже наступила зима, и снег улегся в полях мирной пеленой, укрывая землю на долгий сон до весны. Но поверх снега стояли омертвелые колосья некошеного хлеба, добрая рожь, родившаяся в то лето напрасно. Крестьянство в привычном труде взрастило свой хлеб, но убрать рожь у него уже не было ни силы, ни душевной охоты. Иных крестьян немцы увели в свою темную сторону, где заходит солнце, другие истомились и померли поблизости на военных работах, а прочие, кто изредка остался живым в родной деревне, те были либо ветхие, либо малолетние, а кому и посилен был труд, у того не было желания собирать хлеб на прокормление мучителя. И рожь на нивах отдала зерно из колосьев обратно земле, опустошилась и умерла.

Семен Иринархович, и его жена, и прочие малолюдные жители деревни всю осень глядели в поле, где томилась и погибала рожь, и они плакали по ней…

Теперь Семен Иринархович сказал майору Махонину об этом великом крестьянском горе, и оба они наутро вышли в поле, чтобы проведать мертвую рожь.

Поникшие колосья, как забытые сироты, стояли в снегу, не взятые отсюда крестьянскими руками, и давно уже замертво окоченели. Семен Иринархович осторожно стал ощупывать колосья и размышлять над ними. Умершие, они еще хранили в себе дар человеку, как благодарность за минувшую жизнь: почти в каждом колосе еще таилось по нескольку целых зерен, в ином два, в ином четыре зерна, лишь редкий колос был вовсе пуст и бездушен.

— Ты здесь осторожней ходи, Семен Иринархович, — сказал Махонин крестьянину. — Тут немецкие мины есть.

— Я чувствую, — ответил Семен Иринархович. — Я с оглядкой.

Но сердце его не стерпело теперь печального несжатого поля. В полдень он взял серп и вышел на ниву жать тощий хлеб по снегу. Красноармейцы из батальона Махонина долго следили за старым тружеником, согбенным в поле. Некоторые красноармейцы захотели пойти ему на помощь, но не отыскали в погоревшей деревне ни серпа, ни косы. Тогда они взяли у саперов пилы и топоры и вышли в лес, чтобы заготовить кряжи на постройку новых изб в Малой Верее.

До самых сумерек из ближнего леса слышалось пение пил и стук топоров работающих там красноармейцев, начавших заново отстраивать Россию, и до темноты не возвращался из поля старый крестьянин, по зерну собирающий свой убогий хлеб.

Майор чувствовал себя сейчас счастливым человеком: в добровольном труде своих бойцов и в скупой жатве старика он видел доброе одухотворение своего народа, посредством которого он одолеет неприятеля и исполнит все свои надежды на земле.

На вечер Махонин задремал в старом блиндаже, приспособленном теперь для временного жительства, но пришел ординарец и разбудил офицера.

— Товарищ майор, вас просит тот старик, он подорвался на мине и кончается…

Семен Иринархович лежал на полке в своей баньке, укрытый теплой ветошью. Возле

него находился военный врач и молча сидела жена. Лицо у старика было уже дремлющим, утихающим и более серьезным, чем в истекшие дни его существования.

— Отхожу, Александр Степанович, — произнес старый крестьянин. — А вы живите, исполняйте свою службу, пускай на свете все сбудется, что должно быть по правде… Одни вы без меня останетесь…

Махонин склонился к умирающему и поцеловал его большую серую руку, всю свою жизнь терпеливо оживлявшую землю трудом. Он посмотрел в глаза отходящего человека и увидел в них лишь удовлетворенное спокойствие, словно смерть для него была заслуженным достоянием, — таким же добром, как и жизнь.

Девушка Роза

В рославльской тюрьме, сожженной фашистами вместе с узниками, на стенах казематов еще можно прочитать краткие надписи погибших людей. «17 августа день именин. Сижу в одиночке, голодный, 200 граммов хлеба и 1 литр баланды, вот тебе и пир богатый. 1927 года рождения. Семенов». Другой узник добавил к этому еще одно слово, обозначившее судьбу Семенова: «Расстрелян». В соседнем каземате заключенный обращался к своей матери:

Не плачь, моя милая мама, Не плачь, не рыдай, не грусти. Одна ты пробудешь недолго На этом ужасном пути…

Сижу за решеткой в темнице сырой, И только лишь бог один знает — К тебе мои мысли несутся волной, И сердце слезой заливает.

Он не подписал своего имени. Оно ему было уже не нужно, потому что он терял жизнь и уходил от нас в вечное забвение.

В углу того же каземата была надпись, нацарапанная, должно быть, ногтем: «Здесь

сидел Злов». Это была самая краткая и скромная повесть человека: жил на свете и томился некий

Злов, потом его расстреляли на хозяйственном дворе в рославльской тюрьме, облили труп бензином и сожгли, чтобы ничего не осталось от человека, кроме горсти известкового пепла от его костей, который бесследно смешается с землей и исчезнет в безыменном почвенном прахе.

Возле надписи Злова были начертаны слова неизвестной Розы: «Мне хочется остаться жить. Жизнь — это рай, а жить нельзя, я умру! Я Роза».

Она — Роза. Имя ее было написано острием булавки или ногтем на темно-синей краске стены; от сырости и старости в окраске появились очертания таинственных стран и морей — туманных стран свободы, в которые проникали отсюда своим воображением узники, всматриваясь в сумрак тюремной стены.

Кто же была эта узница Роза и где она теперь — здесь ли, на хозяйственном дворе тюрьмы, упала она без дыхания или судьба вновь ее благословила жить на свободе русской земли и опять она с нами — в раю жизни, как говорила о жизни сама Роза? И кто такой был Злов? Он ничего не сказал о себе и лишь отметился на тюремной стене, что жил такой на свете человек.

Следов существования Злова мы найти не сумели, но Роза и среди мучеников оказалась мученицей, поэтому судьба ее осталась в памяти у немногих спасшихся от гибели людей. Узники, которых выводили на двор для расстрела, утешали себя воспоминанием о Розе: она уже была однажды на расстреле, и после расстрела она пала на землю, но осталась живой; поверх ее тела положили трупы других павших людей, потом обложили мертвых соломой, облили бензином и предали умерших сожжению; Роза не была тогда мертва, две пули лишь неопасно повредили кожу на ее теле, и она, укрытая сверху мертвыми, не сотлела в огне, она убереглась и опамятовалась, а в сумрачное время ночи выбралась из-под мертвых и ушла на волю через развалины тюремной ограды, обрушенной авиабомбой. Но днем Розу опять взяли в городе фашисты и отвели в тюрьму. И она опять стала жить в заключении, вторично ожидая свою смерть.

Кто видел Розу, тот говорил, что она была красива собою и настолько хороша, словно ее нарочно выдумали тоскующие, грустные люди себе на радость и утешение. У Розы были тонкие, вьющиеся волосы темного цвета и большие младенческие серые глаза, освещенные изнутри доверчивой душой, а лицо у нее было милое, пухлое от тюрьмы и голода, но нежное и чистое. Сама же вся Роза была небольшая, однако крепкая, как мальчик, и умелая на руку, она могла шить платья и раньше работала электромонтером; только делать ей теперь нечего было, кроме как терпеть свою беду; ей сравнялось девятнадцать лет, и на вид она не казалась старше, потому что умела одолевать свое горе и не давала ему старить и калечить себя, — она хотела жить.

Второй раз ждала Роза своей смерти в рославльской тюрьме, но не дождалась ее: немцы помиловали Розу, они поняли, что если убить человека один раз, то более с ним нечего делать и властвовать над ним уже нельзя; без господства же немцу жить неинтересно и невыгодно, ему нужно, чтоб человек существовал при нем, но существовал вполжизни, — чтоб ум у человека стал глупостью, а сердце билось не от радости, а от робости — из боязни умереть, когда велено жить.

Розу вызвали на допрос к следователю. Следователь был уверен, что она все знает о городе Рославле и о русской жизни, словно Роза была всею советской властью. Роза всего не знала, а что знала, про то сказать не могла. Она пила у следователя мюнхенское пиво, ела подогретые сосиски и надевала новое платье. Так называл свое угощение следователь, обращаясь к своим подручным, которых заключенные называли «мастерами того света». Для Розы приносили пивную бутылку, наполненную песком, и били ее этой бутылкой по груди и животу, чтобы в ней замерло навсегда ее будущее материнство; потом Розу стегали гибкими железными прутьями, обжигающими тело до костей, и когда у нее заходилось дыхание, а сознание уже дремало, тогда Розу «одевали в новое платье»: ее туго пеленали жестким

черным электрическим проводом, утопив его в мышцы и меж ребер, так что кровь и прохладная предсмертная влага выступала наружу из тела узницы; потом Розу уносили обратно в одиночку и там оставляли на цементном полу; она всех утомляла — и следователя, и «мастеров того света».

Что же нужно было врагам делать дальше? Живая русская девчонка им не подчинялась; можно было бы ее мгновенно убить, но владеть мертвецами было бессмысленно.

Своею жизнью, равно и смертью, эта русская Роза подвергала сомнению и критике весь смысл войны, власти, господства и «новой организации» человечества. Такое волшебство не может быть терпимо — разве бесцельно и напрасно легли в землю германские солдаты?

Немецкий военный следователь задумался в рославльской тюрьме. Над кем разрешено будет властвовать, когда германский народ останется жить в одиночестве на большом кладбище всех прочих народов?

Следователь утратил свое доброе деловое настроение и позвал к себе «скорого Ганса», прозванного скорым за мгновенную исполнительность. Иоганн Фохт прежде долго жил в Советском Союзе, он хорошо знал русский язык. Следователь велел «скорому Гансу» принести сначала водки, а затем спросил у него — как надо организовать человека, чтобы он не жил, но и не умер.

— Пустяк дело! — сразу понял и ответил Ганс.

Следователь выпил, настроение его стало легким, и он велел Гансу сходить к Розе в камеру и проверить — живая она или умерла.

Ганс сходил и вернулся. Он доложил, что Роза дышит, спит и во сне улыбается, и добавил свое мнение:

— А смеяться ей не полагается!..

Следователь согласился, что смеяться Розе не полагается, жить ей тоже не надо, но убивать ее также вредно, потому что будет убыток в живой рабочей силе и мало будет назидания для остального населения. Следователь считал, что нужно бы из Розы сделать постоянный живой пример для устрашения населения, образец ужасной муки для всех непокорных; мертвые же не могут нести такой полезной службы, они вызывают лишь сочувствие живых и склоняют их к бесстрашию.

— Полжизни ей надо дать! — сказал «скорый Ганс». — Я из нее полудурку сделаю…

— Это что полудурка? — спросил следователь.

— Это я ее по темени, — показал себе на голову Ганс, — я ее по материнскому родничку надавлю рукой, а в руку возьму предметы по потребности.

— Роза скончает жизнь, — сказал следователь.

— Отдышится, — убедительно произнес «скорый Ганс», — я ее умелой рукой, я ее до смерти не допущу…

«Он будет фюрер малого масштаба», — подумал следователь о Гансе и велел ему действовать.

Наутро Розу выпустили из тюрьмы. Она вышла оттуда в нищем платье, обветшалом еще от первых, давних побоев, и босая, потому что башмаки ее пропали в тюремной кладовой… Была уже осень, но Роза не чувствовала осенней прохладной поры: она шла по Рославлю с блаженной робкой улыбкой на прекрасном открытом лице, но взор ее был смутный и равнодушный, и глаза ее сонно глядели на свет. Роза видела теперь все правильно, как и прежде, — она видела землю, дома и людей; только она не понимала, что это означает, и сердце ее было сдавлено неподвижным страхом перед каждым явлением.

Иногда Роза чувствовала, что она видит долгий сон, и в слабом, неуверенном воспоминании представляла другой мир, где все было ей понятно и не страшно. А сейчас она из боязни улыбалась всем людям и предметам, томимая своим онемевшим рассудком. Ей захотелось проснуться, она сделала резкое движение, она побежала, но сновидение шло вместе с нею и окостеневший разум ее не пробудился.

Роза вошла в чужой дом. Там была в горнице старая женщина, молившаяся на икону богоматери.

— А где Роза? — спросила Роза, она смутно желала увидеть самое себя живой и здоровой, не помня теперь, кто она сама.

— Какая тут тебе Роза? — сердито сказала старая хозяйка.

— Она Роза была, — с беспомощной кротостью произнесла Роза.

Старуха поглядела на гостью.

— Была, а теперь, стало быть, нету… У фашистов спроси твою Розу — там всему народу счет ведут, чтоб меньше его было.

— Ты сердитая, злая старуха! — здраво сказала Роза. — Роза живая была, а потом она в поле ушла и скоро уж вернется.

Старуха всмотрелась в нищую гостью и попросила ее:

— А ну, сядь, посиди со мной, дочка.

Роза покорно осталась; старуха подошла к ней и опробовала одежду на Розе.

— Эх ты, побирушка! — сказала она и заплакала, имея свое, другое горе, а Роза ей только напомнила о нем. Старуха раздела Розу, отмыла ее от тюремной грязи и перевязала раны, а потом обрядила ее, как невесту, в свое старое девичье платье, обула ее в прюнелевые башмаки и накормила чем могла.

Роза ничему не обрадовалась и к вечеру ушла из дома доброй старухи. Она пошла к выходу из города Рославля, но не могла найти ему конца и без рассудка ходила по улицам.

Ночью патруль отвел Розу в комендатуру. В комендатуре осведомились о Розе и наутро освободили ее, сняв с нее красивое платье и прюнелевые башмаки; взамен же ей дали надеть ветошь, что была на одной арестованной. Дознаться, кто одел и обул Розу, в комендатуре не могли — Роза была безответна.

На следующую ночь Розу опять привели в комендатуру. Теперь она была в пальто, с теплым платком на голове и посвежела лицом от воздуха и питания. В городе явно баловали и любили Розу оставшиеся люди, как героическую истину, привлекающую внимание к себе все обездоленные, павшие надеждой сердца.

Сама Роза об этом ничего не ведала, она хотела лишь уйти из города вдаль, в голубое небо, начинавшееся, как она видела, недалеко за городом. Там было чисто и просторно, там далеко видно, и та Роза, которую она с трудом и тоскою вспоминала, та Роза ходит в том краю, там она догонит ее, возьмет ее за руку, и та Роза уведет ее отсюда туда, где она была прежде, где у нее никогда не болела голова и не томилось сердце в разлуке с теми, кто есть на свете, но кого она сейчас забыла и не может узнать.

Роза просила прохожих увести ее в поле, она не помнила туда дорогу, но прохожие в ответ вели ее к себе, угощали, успокаивали и укладывали отдыхать. Роза слушалась всех, она исполняла просьбу каждого человека, а потом опять просила, чтоб ее проводили за руку в чистое поле, где просторно и далеко видно, как на небе.

Один маленький мальчик послушался Розы; он взял ее за руку и вывел в поле, на шоссейную дорогу. Далее Роза пошла одна. Дойдя до контрольного поста на дороге, где стояли двое немецких часовых, Роза остановилась возле них.

— Скорый Ганс, ты опять меня убьешь? — спросила Роза.

— Полудурка! — по-русски сказал один немец, а другой ударил ложем автомата Розу по спине.

Тогда Роза побежала от них прочь; она побежала в поле, заросшее бурьяном, и бежала долго. Немцы смотрели ей вслед и удивлялись, что так далеко ушла от них и все еще жива полудурка, — там был заминированный плацдарм. Потом они увидели мгновенное сияние, свет гибели полудурки Розы.

1943

Пустодушие

Рассказ капитана В.К. Теслина

На окраине сожженного, взорванного Воронежа нетленно и нерушимо стоит единственное сбереженное фашистами, полностью сохранившееся здание — старая тюрьма о сорока трубах на крыше. В пригородных слободах под прахом жилищ гниют трупы умерщвленных и погибших стариков, старух и детей, не смогших по своей слабости или не успевших покинуть город. Люди же рабочих возрастов давно уведены в немецкую работу, пока они там не износятся до самых костей и тогда тоже умрут.

Одна лишь тюрьма стоит живой и целой в погибшем городе, называвшемся некогда «младшим Петербургом» — в память деятельности Петра Первого, строившего здесь азовский флот.

Тюрьма, мертвецы вблизи от нее и рабы в немецкой стороне являются тремя видами судьбы, которую немцы желали и желают уготовить для русского народа, считая эту судьбу естественной для него и заслуженной им.

Быть узником, быть мертвым или быть кратковременно живущим рабом — таковы три немецких завета для нас. Их можно сократить до одного завета — смерть: меж тюрьмой, могилой и рабством мало разницы. Однако разница все же есть: каторжный раб — это отсроченный покойник, и для фашистов он является полезным мертвецом. Немцы хорошо понимают эту разницу и скупо, до последней сукровицы, отбирают силы у своего раба, пока не отдаст он им своего предсмертного вздоха…

Против воронежской тюрьмы на пустыре, в бурьяне сохранились остатки жилища и лежит мертвое дерево. Возле дерева сидела утомленная женщина с тем обычным для нашего времени человеческим лицом, на котором отчаяние от своей долговременности уже выглядело как кротость. Она выкладывала из мешка домашние вещи — все уцелевшее ее добро, без чего нельзя жить. Ее сын, мальчик лет восьми-девяти, ползал меж лопухов и крапивы в золе сгоревшего дома, в котором он жил недавно. Мальчик был одет в одну рубашку и босой, живот его вздулся от травяной, бесхлебной пищи; он тщательно и усердно рассматривал какие-то предметы в золе, а потом клал их обратно или показывал и дарил матери. Его хозяйственная озабоченность, серьезность и терпеливая печаль, не уменьшая прелести его детского лица, выражали собою ту простую и откровенную тайну жизни, которую мы сами от себя скрывали, а теперь, видя отражение ее на лице ребенка, нам делалось совестно и страшно. Эти совесть и страх имеют основание существовать, потому что в них есть сознание вины за судьбу обездоленного ребенка, которого мы не могли сберечь вовремя от руки врага.

— Мама, а это нам нужно, такое? — спросил мальчик. Мать поглядела; ребенок показал ей гирю от часов-ходиков.

— Такое не нужно — куда оно годится! — сказала мать. — Другое ищи…

Ребенок усиленно разрывал горелую землю, желая поскорее найти знакомые, родные вещи и обрадовать ими мать. Он нашел спекшуюся пуговицу, протянул ее матери и спросил:

— Мама, а какие фашисты?

Он посмотрел округ себя — на пустырь, на хромого солдата, идущего с котомкой с войны, на скучное поле вдали, безлюдное, без коров.

— Немцы, — сказала мать, — они пустодушные, сынок… Ступай щепок собери, я тебе картошку испеку, потом кипяток будем пить…

— А ты зачем отцовы валенки на картошку сменяла? — спросил сын у матери. — Ты хлеб теперь задаром на эвакопункте получаешь, нам картошек не надо, мы обойдемся… Отец и так умер, ему плохо теперь, а ты рубашку его променяла и валенки…

Мать промолчала, стерпев укоризну сына.

— А отчего немцы пустодушные? — спросил он снова. — Они не евши?..

— Они-то не евши? — они кормятся ничего, — объяснила мать. — Чего им не евши жить!.. Они за свои грехи чужую кровь проливают, оттого и пустодушные.

— А мы какие? — узнавал ребенок.

— А мы — нет. Мы сами свою кровь проливаем и сами свое горе терпим. Мы, когда грешны, свой грех на другого не валим.

— Мама, а где фашист, какой отца убил? — его убила Красная Армия?

— Может, и жив еще…

— Он мало будет жив, — задумался мальчик. — Его потом все равно убьют… А мертвых доктор не лечит?

— Нет, сынок. Доктора их лечить не умеют.

Мальчик умолк в своей думе, но потом он нашел себе утешение:

— А пусть отец опять рожается и живет маленьким сначала, тогда он не будет мертвым. Мама, ты роди его, ты ведь меня родила… Нужно, чтоб люди были, а то их нету…

Я издали слушал эту беседу. Мать и ее сын были моими дальними родственниками, поэтому я остановился вблизи от них; я хотел разглядеть их и убедиться, что я не обознался.

Позже мы ходили с мальчиком собирать щепки и горелое дерево для огня и затем варили картофельную похлебку на малом костре посреди нагого пустыря.

Ближе к вечеру мы втроем сделали одно дело — мы покрыли кровлей из ветвей одну земляную щель, чтобы там было укромное жилище для ночлега в ненастье.

Утром другого дня мы все пошли на кладбище. Моя родственница сказала, что там она четыре дня назад похоронила своего мужа. Сил у нее было мало, поэтому она неглубоко разрыла сверху чью-то могилу и положила туда тело мужа, укрыв его землей на покой.

Женщина и ее сын пришли к могиле проведать своего мертвого. Они опустились на колени у места погребения и стали молча смотреть в землю. У женщины вышли из глаз тихие редкие слезы, и трудная печаль овладела ею, словно горе ее могло быть искуплением жизни перед лицом умершего. И я понял тогда, что втайне каждый живой чувствует греховный стыд перед умершими — за то, что те лишены жизни, а живущий имеет ее.

Однако постепенно вдова успокоилась, потому что стала уже привыкать к своему страданию, и привычка служила ей облегчением; горе, говорят, бывает каменным, оно неподвижно, и живущее существо способно исподволь, обманно обходить его.

Усопший лежал неглубоко под нами, и из земли явственно шел запах его тела, смешавшегося с почвой. Женщина глубоко дышала этим воздухом, в котором были частицы тела любимого ею человека, довольная уже тем, что хоть таким образом она общается с ним и чувствует его близость. У нее не могло быть отвращения к покойному; она даже боялась того, что скоро уже не ощутит его тления, когда он вовсе смешается с прахом. Кто не поймет ее чувства или кем овладеет брезгливость, тот не знает простых свойств человеческой натуры, и брезгливая осторожность отделяет того от мира и его понимания.

— Давай, мама, откопаем папу! — сказал сын матери. — Пусть он дома лежит. У нас дом тоже теперь в земле…

Мать увела сына от отца. Мертвый остался опять один в земле.

Женщина считала себя виноватой, что не сумела забрать с собою мужа, когда немцы захватывали Воронеж. Муж ее был хромой на ногу, он ходил на костылях и не мог самостоятельно уйти, а мать управилась унести только ребенка и мешок с домашним добром. Она искала тележку, чтобы спасти мужа, она давала за два колеса золотые часы, но стоимость колес тогда равнялась жизни, и тележки она не нашла.

Вернувшись потом в мертвый город, женщина нашла обгорелый труп своего мужа среди других умерщвленных людей. Враги, согласно своему расчетливому муравьиному разуму, умертвили всех оставшихся стариков, старух и калек, дабы они не могли есть пищу, раз малосильны для работы. Убитых враги складывали в сараи, чтобы потом закопать их; но сараи погорели, и обгорелые мертвецы остались лежать снаружи. Своего мужа моя родственница отыскала на пустыре в слободе Чижевке; он лежал возле истлевшей старухи, ссохшейся и оземлевшей вовсе…

— Дядя, а кто фашисты? — внимательно спросил у меня сын убитого.

Я понял, о чем спросил меня ребенок. Он хотел знать тайну того человека, который лишил жизни его отца. Я ответил, что завтра поеду на войну, там увижу фашиста и там

узнаю, кто он такой.

— А ты приведи его к нам!

— Зачем он тебе? — спросил я у сироты. — Ты убить его хочешь?

Мальчик со странной грустью поглядел на меня.

— Нет… Пусть он сперва отца нам отдаст. А потом он пусть сам умрет в землю…

У ребенка было правильное желание.

— Фашист только убивать умеет, — объяснил я ему, — а мертвых он не умеет живым отдавать.

— А кто умеет? — спросил сирота. — А зачем он тогда умеет убивать?

Неосуществленная истина была в словах ребенка. Он размышлял, что убивать людей

может лишь тот, кто умеет их рожать или возвращать обратно к жизни. В нем жила еще первоначальная непорочность человечества, унаследованная из родника его предков.

— После войны я приду к вам жить навсегда, — необдуманно, однако истинно, пообещал я матери и мальчику-сироте. — Мы будем тогда вместе и построим дом сначала, как было у вас.

Мать и сын промолчали мне в ответ. Они знали уже, как не сбываются обещания и как часто на путях надежды человека ожидают страдания…

Недели через две, будучи на фронте, я по роду своей службы опрашивал немцев, пленных и перебежчиков. Один пленный, Курт Фосс, оказался очень интересным существом; если он лгал, то ложь его все же была ближе к правде, чем та истина, которую он скрывал для спасения себя.

Передо мной был лейтенант пехотной службы, человек лет тридцати, несколько истощенный на вид, но спокойный до равнодушия, точно он был вполне удовлетворен своей судьбой или верил в неугасимость своей счастливой звезды. Это мне не понравилось в пленнике. Однако я привык терпеливо изучать всяких людей и умел подавлять свое личное чувство к ним.

На том участке, где был захвачен Курт Фосс, недавно произошло событие, в которого было явлено высшее для человеческого сердца терпение русского солдата. Два наших разведчика были обнаружены немцами возле своего переднего края. Одного из них вскоре засыпало землей, и он замер под ней. Другой же начал отбиваться от неприятеля огнем автомата, но не отбился: его поранило, он обессилел, и двое здоровых немцев напали на него врукопашную. Тогда наш разведчик, слабея от раны, но чувствуя свою жизнь еще целой, притворился умершим. Немцы быстро опробовали его тело и поверили, что человек мертв. Но все же для убедительности немцы дважды подкололи нашего бойца кинжалами в его грудную клетку. Наш солдат без вздоха стерпел свое мучение и остался на видимость без признака жизни. Враги тогда достоверно поняли, что человек убит и бездушен. Бормоча друг другу свои слова, они стали действовать дальше. Один из них отрезал лезвием своего кинжала, навостренным до жгучести, ухо нашему бойцу по самую мочку. Потом, подумав и отдохнув, он отрезал русскому солдату и второе ухо, а другой немец пронзил кинжалом нос нашего бойца. Русский лежал пред врагом навзничь, сократив в себе дыхание почти до смерти, холодея в своей теплой крови и храня остаток жизни в последнем тайнике своего сердца, лишь бы не подарить ее такому неприятелю, который, убив живого человека, казнит затем мертвого. Враг показался нашему казнимому бойцу столь постыдным и неприятным, что русскому солдату захотелось потерпеть и пожить еще хоть немного: он боялся, что без него с фашистами как следует не расправятся, потому что никто так не почувствовал врага, как он, умирающий, живущий при смерти и медленно казнимый…

Наша резервная группа отогнала этих двух немцев и унесла с поля боя обоих наших разведчиков; засыпанный землей отдышался и возвратился в строй без повреждения, а израненный, замученный боец лежит сейчас в госпитале.

Я спросил у Курта Фосса — известен ли ему этот случай?

— О, да! О, да! — охотно ответил Фосс.

Я спросил — кто, по мнению немца, в этой маленькой битве троих показал более

высокие воинские и человеческие качества, если идти на сравнение.

— Ясно, — сказал Фосс — Наши солдаты вышли из схватки без царапины. Ваш солдат — раненый, его победили, он может умереть. Это ясно.

Он ценил ясность, считая ее истиной.

— Почему ваши солдаты мучили мертвого? Ведь они не знали, что наш солдат был живой.

— Они не знали, — сказал Фосс, — наш солдат доверчивый… Это был тренаж. Наш солдат должен знать, как не бояться человека. Он должен убивать его раз, потом два раза, пока его не будет. Нам нужна гарантия, что противника нет. Наш солдат учится управлять русским противником. После победы он будет администратор.

— Что же такое вам тренаж на теле мертвых? — вы готовите из ваших солдат палачей?

— Администраторов, — объяснил Фосс. — В администраторе должен быть немного палач, это кость власти. Нам это ясно, это практически. Тела человека не надо бояться: в нем физика, химия, теплота, холод — ничего но страшно. Оно машинка.

— В таком случае — немец тоже машинка. В чем же тогда смысл войны? Зачем вы воюете и хотите победы? Не все ли равно, какая машинка останется, а какая сломается.

— Не понимаете! — сказал Фосс. — Немецкая машинка лучше. Зачем нужны плохие? У вас горит электричество, а не свечка: электричество лучше.

— Почему же немецкая машинка лучше всех?

— Вам сейчас будет ясно. Немцы берут вашу землю, а не вы у нас берете.

— После войны это будет еще яснее, — сказал я врагу, смущаясь такой поверхностной ясности.

— Ваша часть прежде была где-то под Воронежем? — спросил я, обратившись к своим бумагам.

— В самом Воронеже, — уточнил Фосс.

— Вы там умертвили наше гражданское население…

— Это было рационально, — сознался Фосс. — Мы не могли пассивно тратить пищевые калории. Вам теперь тоже не надо кормить в Воронеже стариков-старух…

— А у вас есть старая мать?

Фосс вздрогнул; я нашел в нем человеческое качество.

— Не беспокойтесь о ней, — пообещал я противнику. — Наш маршал сказал — мы воюем с вашей армией, с вашим государством, а не с вашими родителями.

— Он так сказал? — обрадовался Фосс; он верил в начальство.

В этом Курте Фоссе была какая-то часть человека, но не весь человек; он был подобен телу о двух измерениях: оно не может существовать; и Фосс не мог бы существовать, если бы не находил свою временную, мучительную устойчивость в войне, в истреблении людей, не подобных себе. Они уничтожили как раз то, чего им самим недоставало и без чего они погибнут неминуемо, если даже оставить их в покое.

Он не допускал в жизни тайны и глубины, которая бывает темной и смутной, нужно напрягать зрение и сердце, чтобы разглядеть истину во тьме и вдали. Для него все было известно, ясно, и мир, где он был еще затемнен, нуждался только в германской рациональности и четкости, когда «плохие машинки» будут обслуживать «хорошие машинки».

Я сказал ему, что человек имеет больше свойств, чем полагает Фосс: у человека столько свойств, сколько граней в окружности. Фосс вовсе не понял меня; он воооще едва ли понимал какое-либо другое существо; его научили, и он сам был склонен к такой науке — не понимать, а уничтожать непонятное и тем решать задачу. Я ему не мог объяснить, что только за гранью себя, за чертою «ясного и понятного», может начинаться нечто значительное. Животные, не понимая, глубоко и верно ощущают разнообразие, глубину и важность природы; этот же человек, кроме себя и себе подобного, все остальное считал излишним, вредным, глупым и враждебным.

— Мы — критика чистого разума, вооруженного огнем, — сказал мне Фосс, вспомнив

чужую фразу.

— Чистый разум есть идиотство, — отрезал я ему. — Он не проверяется действительностью, поэтому он и «чистый» — он есть чистая ложь и пустодушие…

Я теперь понял Фосса как интеллектуального идиота; этот человеческий образ существует давно, он был и до фашизма, но тогда он не был государством.

В комнату вошла моя помощница, лейтенант административной службы Нина Подгорова, — большая, добрая и наивная молодая женщина, прекрасная, как явление природы.

Смутный страх прошел по лицу Курта Фосса. Он всмотрелся в вошедшую женщину, исследовал все, что зримо на ней, н сжался в угрюмом равнодушии. Ему чужда и непонятна была открытая теплая одушевленность вошедшей женщины, и он не любовался ею, как можно любоваться небом или растением, а угрюмо сожалел, что она сейчас недоступна ему для господства и наслаждения.

Я потерял всякий интерес к пленному Курту Фоссу и приказал Подгоровой увести его.

Затем я подумал о мальчике, который живет сейчас с матерью в Воронеже в земляной щели. Возможно, что этот Фосс и командовал той истребительной или комендантской ротой, которая расстреляла отца того мальчика. Для ребенка фашист — убийца отца — был таинственным, даже значительным существом; ребенок воображал его в соответствии со своей одаренной душой, тогда как о фашисте и помыслить интересного нечего, его можно только уничтожить и забыть.

Я задумался о судьбе оставленного мною в Воронеже ребенка. Враждебные, смертельно угрожающие силы сделали его жизнь похожей на рост слабой ветви, зачавшейся в камне, где-нибудь на скале над пустынным и темным морем. Ее рвет ветер и смывают штормовые волны, но ветвь должна противостоять гибели и одновременно разрушать камень своими живыми, еще неокрепшими корнями, чтобы питаться из самой его скудости, расти и усиливаться, — другого спасения ей нет. Эта слабая ветвь должна вытерпеть и преодолеть и ветер, и волны, и камень: она — единственное живое, а все остальное — мертвое, и когда-нибудь ее обильные, разросшиеся листья наполнят шумом пустой воздух мира, и буря в них станет песней.

Иван Великий

Ранней весной, накануне света и тепла, бывают в природе печальные дни, — они грустнее, чем осеннее время. Темная земля бывает уже обнажена для солнца, но солнце еще бессильно согреть ее сквозь серый холодный покров облаков, и земля прозябает в унылом терпении. В эти дни кажется, что весна и лето еще будут нескоро и до них не доживешь.

В такой именно скучный день над пустым весенним полем шел артиллерийский бой. Наша пехота безмолвно таилась в траншеях, отрытых еще немцами, когда они занимали этот рубеж.

Обычно враги обстреливают из пушек свои оставленные рубежи, понимая, что мы можем поселить своих солдат в траншеях, отрытых прежде фашистами. Но мы, понимая немцев, обычно не расселяем свои войска в траншеях, оставленных противником. А когда враги, проведав об этом, перестали обстреливать оставленные траншеи, считая их пустыми, мы начинали иногда пользоваться ими.

Командир роты старший лейтенант Юхов наблюдал из-за укрытия работу огня. Темная, безродная в это время года земля вскрикивающим, не своим голосом отзывалась на ревущие удары пушек. Никого не было сейчас на земле меж нами и противником. Только редкая прошлогодняя былинка, уже окоченевшая в смерть, еще подрагивала от сотрясения воздуха, однако она была уже не жилица на свете. Но одно странное существо спокойно брело по той пустой, никем сейчас не обитаемой земле. Юхов всмотрелся в отдаление. По земле тихо шла маленькая серая русская лошадь. Над нею неслись пронизывающие воздух ноющие снаряды и огонь разрывов блистал справа и слева от нее, а лошадь шла понемногу вперед по этому

коридору войны. Старший лейтенант взял бинокль и подробно разглядел двигающуюся лошадь. Глаза ее были полузакрыты в утомленной дремоте, плечи и холка потерты и круп иссечен в полосы высохшей черной крови. Брюхо лошади впало внутрь от голода и работы, всосанное оставшимся тощим телом вместо еды, и весь скелет лошади словно уже прорастал наружу сквозь ее пораненную тягостной работой, истертую упряжью изрубцованную кожу. Уставшее предсмертной мукой животное брело меж пушек, бьющих встречным огнем поверх ее изнемогшего тела.

Один немецкий снаряд разорвался меж нашей передовой линией и одинокой лошадью. Лошадь припала на передние ноги и осталась на месте, готовая умереть.

К старшему лейтенанту Юхову подошел по ходу сообщения старшина Иван Гурьевич Петров.

— Скоро на дело пойдем, товарищ старший лейтенант? — спросил старшина Петров.

— Жду сигнала, старшина, — сказал командир. — Как у тебя люди?

— Люди живут нормально, товарищ старший лейтенант… Это что же там, — фашисты нашу лошадь замучили в обозном котле, а теперь помирать ее бросили?

— Стало быть, так, старшина, — ответил Юхов. — Она ослабла, и немцы отпрягли ее при отступлении, а бывает, что и отпрягать некогда, тогда рубят постромки, лошадь падает, и ее затаптывают. Видал такое?

— Все видал, товарищ старший лейтенант, на войне живу, — произнес старшина. — Жалко скотину.

Пушечная стрельба стала замирать, но привычные к пальбе офицер и солдат уже и прежде не вслушивались в работу артиллерии и внимательно наблюдали за лошадью.

Сигнала к выступлению пехоты все еще не было, и Юхов решил, что наша артиллерия стреляла, может быть, для отвлечения противника, а немецкая только отвечала ей, — сам же наступательный бой назначен нашим командованием в другом месте.

Серая русская лошадь, припав на передние ноги, по-прежнему неподвижно находилась на промежуточном пустом пространстве. Но и задние ноги ее уже начали слабеть и тоже медленно сгибались, пока вся лошадь не прилегла к материнской поверхности земли. Голову свою лошадь покорно положила на передние согбенные ноги и смежила глаза.

День теперь обеднялся, стало светлее, чем было, и многие красноармейцы роты Юхова наблюдали из окопов за умирающей лошадью. Старые солдаты понимали, что особо остерегаться немцев тут нечего: у врага здесь был только артиллерийский заслон, да жидкая пехота из старых возрастов — тут были те немецкие солдаты, которые уже оплакали своих погибших сыновей, а теперь сами пришли на место их и скучают по оставленным внукам. Но любой фашист, пока он не убит, считает себя до тех пор обиженным, пока весь свет еще не принадлежит ему и все добро мира он еще не снес в одно место, к себе во двор. Красноармейцы давно знали это природное свойство фашистов — жить лишь им одним на земле, убивая всех прочих людей, и потому красноармейцы были с неприятелем всегда осмотрительны.

И теперь они тоже лишь осторожно и изредка поглядывали на погибающую лошадь, хотя их крестьянское сердце болело по умирающей кормилице-работнице. Да и на войне лошадь тоже находится при деле, ей тоже есть тут своя обязанность: где ни одна машина не пройдет, там конь проберется рядом с солдатом. А когда скучно и трудно солдату, он погладит в добрую морду лошади, скажет ей: «И ты со мной терпишь? Давай вместе до победы», — и тогда легче станет солдату.

— Еще не вовсе старая скотина! — сказал боец Никита Вяхирев соседу Ивану Владыко. — От нее еще польза должна быть.

— Пожилая только, — ответил Иван Владыко, наблюдая изнемогающую лошадь. — Работать бы сполна можно на ней, если тело ей дать и ласку добавить — у лошадей сердце большое, они все чувствуют.

Ефрейтор Прохоров полагал, однако, иначе:

— Нету, с этой скотиной делать боле нечего — с ней забота не окупится. Если уж

немцы ее бросили и шкуру с нее не содрали в пользу хозяйства, значит, уж загнали скотину до самых жил и жилы в ней посохли.

— Беда с фашистами, — сказал усатый красноармеец Свиридов, доброволец с начала войны. — Ишь как скотину работой выколотили, аж остья костей из нее наружу выпирают. Им что — лошадь же наша, русская…

— Им все нипочем, — сказал Иван Владыко. — Землю они порвали огнем, обгадили сквозь, молочных и стельных коров под нож и на закуску поели, пахотных тягловых коней по всем дорогам замертво положили. К спеху, под корень надо фашиста кончать, гной из него вон!

Солдаты умолкли и задумались, стоя в земле лицом к противнику, освещенные робким светом весеннего смутного неба. Лошадь умирала долго перед ними. Ее терпеливое рабочее сердце в одиночестве билось сейчас против смерти. И, поглядывая изредка в бинокль, старший лейтенант Юхов долго наблюдал, что лошадь еще живет и не умирает; иногда она приподнимала голову и затем вновь поникала ею, иногда дрожь страдания проходила по ее телу и она шевелила обессилевшими ногами, пытаясь подняться и снова пойти по земле.

Сон долгой и вечной смерти медленно остужал все ее существо, но теплая сила жизни, сжимаясь, еще длилась в ней и стремилась в ответ гибели. Один раз лошадь вовсе приподнялась вполовину своего роста, но затем неохотно опустилась вновь. Она не хотела умирать, она хотела еще ходить по земле, чтобы пахать землю и тянуть военные повозки, утопая почти по грудь в тяжкой, сырой земле. Она, должно быть, на все была согласна; она согласна была повторить всю свою трудную прожитую участь, лишь бы опять жить на свете. Она не понимала смерти.

Красноармейцы глядели на эту мученицу работы и войны и понимали ее судьбу.

— Не понимает, оттого и мучается, — сказал Свиридов. — И пахарем была, и на войне служила, а все ж не человек и не солдат.

— Она душой не мучается, она только телом томится, — сказал Иван Владыко.

— Мучается, — подтвердил Свиридов, — потому что смерти боится, в ней сознания мало. А без сознания всякое дело страшно.

— Довольно тебе, — строго сказал старшина Петров. — Сколько там в ней сознания, мы не знаем, ты видишь — она кончается, а раньше землю в колхозе на нас пахала… А что нам полагается знать? А ну, кто скажет важное что-нибудь, что нужно солдату знать?

— Важное, товарищ старшина? — переспросил Владыко. — Нам тут коня стало жалко…

— Коня пожалели? — произнес старшина. — Верно жалеешь, солдат. Это наш конь и земля наша, повсюду тут наша Родина, жалей и береги ее, солдат… А что-то здесь птиц наших не слыхать — весна уж, а птиц нету?.. Чего-то я птиц не слышу!

— Дальше вперед уйдем, тогда позади нас в тишине и птицы объявятся, товарищ старшина, — сказал Никита Вяхирев. — А то мы огнем дюже шумим.

Иван Владыко знал важное в жизни солдата, самое важное в ней, потому что ему приходилось переживать и чувствовать это важное, но он не мог бы сказать сразу и ясно, что это такое. Он молча поглядел вперед. Лошадь лежала на поле, умолкшая и неподвижная.

Командир роты Юхов теперь уже и в бинокль не мог рассмотреть ни одного слабого движения ее жизни.

В вечерние сумерки Юхов позвал к себе старшину и Ивана Владыко. Он сказал им, что нужно было бы посмотреть ту лошадь поближе — она ведь не убита и только замерла от слабости; может быть, она еще жива, и тогда ее следует оттащить на нашу сторону, подстелив под ее тело рогожки и мешки, чтобы не вредить напрасно ее кожу о землю. А на нашей стороне ее можно будет выходить и определить в обоз батальона — пусть еще повоюет нам на помощь.

— Товарищ старший лейтенант, разрешите, я сперва один подберусь к тому коню, — попросился Иван Владыко. — Как завечереет вовсе, я к нему доползу и послушаю, есть ли в нем дыхание. Если дыхание в нем осталось, я тут же ворочусь и ребят на помощь возьму.

— Действуйте. Это лучше, — согласился Юхов.

Как ночь стемнела, Иван Владыко осмотрел автомат, взял гранату и пошел припадающей перебежкой к лежащей лошади.

Незадолго до нее он лег и пополз, потому что ему послышалось, что лошадь стонет, но он не поверил, что лошадь еще так сильно жива, что может громко стонать, и стал остерегаться.

Во тьме, приблизившись к самому телу коня, Иван Владыко снова явственно расслышал его томящийся стон. Иван вслушался и различил долгое, трудное дыхание лошади и шепот человеческих голосов.

Иван взялся было за гранату, но раздумал ее метать: он побоялся вместе с неприятелем умертвить свою лошадь.

Желая точнее понять обстановку, Владыко осторожно приподнялся и увидел мгновенный свет впереди, ослепивший его. Над его телом, вновь приникшим к земле, пошли очередью долгие пули. Он вспомнил про атаку и рукопашный бой, что был третьего дня. Он шел тогда в цепи своего взвода, он видел, как пали замертво от его автомата два немца, а третьего он сразил врučную ложем своего оружия, находясь уже в тесноте навалившихся на него врагов. Он понял в тот час, что там и будет его смерть; однако в то время он почувствовал не страх или сожаление, но счастливое важное сознание своей жизни и спокойную правдивость на сердце. Иван Владыко вышел из того боя невредимым, навеки запомнил свое важное сознание солдата в то краткое смертное время сражения, хотя и не мог ясно рассказать о нем сегодня старшине.

Иван Владыко, выждав, пока прекратилась автоматная очередь, вскочил в рост с гранатой в руке и бросился вперед. Два темных врага встали против него из-за тела лошади. Они кратко без веры выстрелили во мрак, но Иван уже был подле них и с удовлетворенной яростью схватил одного противника за душу, за горло, под скулами, а в другого бросил гранату с неотпущенной чекой.

— Кидай оружие туда, в ночь! — приказал Иван противникам, но они не поняли его, и тогда Иван сам отобрал и бросил их автоматы прочь во тьму.

— Иван, — тихо сказал один немец.

Иван Владыко знал, что немцы всех красноармейцев называют Иванами и вся Красная Армия для них один великий Иван.

— Я Иван Владыко! — ответил он пленникам. — Сидите пока что смирно.

— Иван Великий, — произнес немец неправильно фамилию.

Владыко склонился к морде коня и послушал у его ноздрей, дышит ли он еще или уже скончался. Слабое редкое тепло исходило из его ноздрей, он еще был при жизни.

— Выходим его обратно, — решил Владыко.

Затем он повел руками по шерсти лошади и присмотрелся к ней. Глаза его уже привыкли к ночи, и он видел ими. В одном месте, на шее, шкура лошади была надрезана и завернута наружу, и тощая сухая кровь непрерывно сочилась оттуда. Владыко понял, что враги начали драть коня на шкуру и оттого конь застонал, чувствуя жизнь от боли.

— Зачем же вы коня живого драть начали? — сказал Владыко немцам. — Везде вы свою пользу ищете. Глядите, как бы убытка вам кругом не нажить…

Сигнальная ракета засветилась над русским рубежом, и безмолвная пехота пошла цепями вперед.

— Наша атака, — помнил Иван Владыко. — Теперь коня тревожить не надо, он сейчас будет на нашей стороне. Мы его выходим помаленьку, а после войны, жив будет, на подсобную работу в крестьянство пойдет. Ничего, все будет нормально, мы все тогда отдышимся…

Иван Владыко прислонился щекою к шее коня и почувствовал, что в нем есть еще неостывшая глубокая теплота.

Немцы осторожно тронули красноармейца за рукав; Иван Великий обернулся к ним и увидел, что они дают ему два ножа, которыми они хотели ободрать живую лошадь.

«Воины! — подумал Владыко, спрятав трофейные ножи за голенище. — Двумя ножами меня сразить не могли. Хотя им что ж: смысла нету! А без смысла на войне нельзя».

Ветер-хлебопашец

Когда свои войска наступают, солдату не с руки бывает попадать в тыловой госпиталь по нетрудному ранению. Лучше всегда на месте в медсанбате свою рану перетерпеть. Из госпиталя же долго нужно идти искать свою часть, потому что она, пока ты в госпитале томился, уже далеко вперед ушла, да еще ее вдобавок поперек куда-нибудь в другую дивизию переместили: найди ее тогда, а опоздать тоже нельзя — и службу знаешь, и совесть есть.

Шел я однажды по этому делу из госпиталя в свою часть. Я шел уже не в первый раз, а в четвертый, но в прежние случаи мы на месте в обороне стояли: откуда ушел, туда и ступай. А тут нет.

Иду я обратно к переднему краю и чувствую, что блуждаю. Вижу по видимости — не туда меня направили, моя часть либо правее будет, либо левее. Однако иду пока, чтоб найти место, где верно будет спросить.

И вижу я ветряную мельницу при дороге. В сторону от мельницы было недавно какое-то великое село, но оно погорело в уголья, и ничего там более нету. На мельнице три крыла целые, а остальные живы не полностью — в них попадали очередями и посекли насквозь тесину или отодрали ее вовсе прочь. Ну, я гляжу, мельница тихо кружится по воздуху. Неужели, думаю, там помол идет? Мне веселее стало на сердце, что люди опять зерно на хлеб мелют и война ушла от них. Значит, думаю, нужно солдату вперед скорее ходить, потому что позади него для народа настает мир и трудолюбие.

Подле мельницы я увидел еще, как крестьянин пашет землю под озимь. Я остановился и долго глядел на него, словно в беспамятстве: мне нравится хлебная работа в поле. Крестьянин был малорослый и шел за однолемешным плугом натужливо, как неумелый или непривычный. Тут я сразу сообразил один непорядок, а сначала его не обнаружил. Впереди плуга не было лошади, а плуг шел вперед и пахал, имея направление вперед, на мельницу. Я тогда подошел к пахарю ближе на проверку, чтобы узнать всю систему его орудия. На подходе к нему я увидел, что к плугу спереди упряжены две веревки, а далее они свиты в одно целое, и та цельная веревка уходила по земле в помещение мельницы. Эта веревка делала плугу натяжение и тихим ходом волокла его. А за плугом шел малый, лет не более пятнадцати, и держал плуг за рукоятку одной своей правой рукой, а левая рука у него висела свободно как сухорукая.

Я подошел к пахарю и спросил у него, чей он сам и где проживает. Пахарю и правда шел шестнадцатый год, и он был сухорукий, — потому он и пахал с натужением и боязливостью: ему страшно было, если лемех увязнет вглубь, тогда может лопнуть веревка. Мельница находилась близко от пахоты — саженей в двадцать всего, а далее пахать не хватало надежной веревки.

От своего интереса я пошел на мельницу и узнал весь способ запашки сухорукого малого. Дело было простое, однако же по рассудку и по нужде правильное. Внутри мельницы другой конец той рабочей веревки наматывался на вал, что крутил мельничный верхний жернов. Теперь жернов был поднят над нижним лежачим камнем и гудел вхолостую. А веревка накручивалась на вал и тянула пахотный плужок. Тут же по верхнему жернову неугомонно ходил навстречу круга другой человек, он сматывал веревку обратно и бросал ее наземь, а на валу он оставлял три либо четыре кольца веревки, чтобы шло натяжение плуга.

Малый на мельнице тоже был молодой, но на вид истощалый и немощный, будто бы жил он свой последний предсмертный срок.

Я опять направился наружу. Скоро плуг подошел близко к мельнице, и сухорукий малый сделал отцепку, и пряжка уползла в мельницу, а плужок остановился в почве.

Отощалый малый вышел с мельницы и поволок из нее за собой другой конец веревки. Потом вместе с пахарем они вдвоем поворотили плуг и покатили его обратно в дальний край пашни, чтобы упрячь там плуг снова и начать свежую борозду. Я им тут помог в их заботе.

Больной малый после упряжки плуга опять пошел на мельницу на свое занятие, и работа немного погодя началась сызнова.

Я тогда сам взялся за плуг и пошел в пахоте, а сухорукий следовал за мной и отдыхал.

Они, оказывается, мягчили почву под огород на будущее лето. Немцы угнали из их села всех годных людей, а на месте оставили только нерабочие, едоцкие души: малолетних детей и изнемогших от возраста стариков и старух. Сухорукого немцы не взяли по его инвалидности, а того малого, что на мельнице, оставили помирать как чахоточного. Прежде тот чахоточным не был, он заморился здесь на немецких военных работах; там он сильно остудился, работал некормлёным, терпел поругание и начал с тех пор чахнуть.

— Нас тут двое работников на всем нашем погорелом селе, — сказал мне сухорукий. — Мы одни и можем еще терпеть работу, а у других силы нету — они маленькие дети. А старым каждому по семьдесят лет и поболее. Вот мы и делаем вдвоем запашку на всех, мы здесь посеем огородные культуры.

— А сколько ж у вас всего-то душ едоков? — спросил я у сухорукого парня.

— Всего-то немного: сорок три души осталось, — сообщил мне сухорукий. — Нам бы только до лета дожить… Но мы доживем: нам зерновую ссуду дали. Как покончим пашню, так тележку на шариковых подшипниках начнем делать: легче будет, а то силы мало — у меня одна рука, у того грудь болит… Нам зерно надо с базы возить — от нас тридцать два километра.

— А лошадей иль скотины неужели ни одной головы не осталось? — спросил я тут у сухорукого; я посмотрел на него — он показался мне пожилым, но на самом деле он был подростком: глаза у него были чистые и добрые, тело не выкормлено еще до мужского роста, но лицо его уже не по возрасту тронулось задумчивой заботой и посерело без радости.

— Не осталось, — сказал мне он. — Скотину немцы поели, лошади пали на ихней работе, а последних пятерых коней и племенного жеребца они с собой угнали.

— Проживете теперь? — я у него спросил.

— Отдышимся, — сказал мне сухорукий. — У нас желание есть: видишь — пашем вот вдвоем да ветер нам на помощь, а то бы в один лемех впрягать надо душ десять — пятнадцать, а где их взять! Кой-кто от немцев с дороги сбежит — тот воротится, запашку с весны большую начнем, ребятишки расти будут… Старики вот только у нас дюже ветхие, силы у них ушли, а думать они могут…

— А это кто ж вам придумал такую пахоту? — спросил я.

— Дед у нас один есть, Кондрат Ефимович, он говорит — всю вселенную знает. Он нам сказал — как надо, а мы сделали. С ним не помрешь. Он у нас теперь председатель, а я у него заместитель.

Однако мне, как солдату, некогда было далее на месте оставаться. Слова да гуторы доведут до каморы. И жалко мне было сразу разлучаться с этим сухоруким пахарем. Тогда — что же мне делать — я поцеловался с ним на прощанье, чувствуя братство нашего народа: он был хлебопашец, а я солдат. Он кормит мир, а я берегу его от смертного немца. Мы с пахарем живем одним делом.

1944

Добрая корова

[текст отсутствует]

Офицер и солдат

1

Гордей Силин, донской казак 1895 года рождения, разговаривал со своим другом, Никифором Поливановым, убитым немцами в 1916 году. Гордей Силин держал перед собой на столе поеденную временем, смутную фотографию покойного и глядел на лицо, от которого не могло отвыкнуть его сердце.

— Где ты жить тогда будешь, Никифор, если меня убьют и пропадет моя душа? — спрашивал Силин. — Весь твой покой в моей памяти был: ведь нету у тебя давно, Никифор, никого на свете — ни жены, ни родителей, ни прочего человека, один я при тебе состою… А может, я и целым еще останусь! — тогда и тебе лучше будет… Да надо бы пожить еще, я уж привык жить, и отвыкать надобности нету!..

Гордей Сплин прочитал затем письмо Поливанова к нему от июня месяца 1916 года, хотя уже давно знал на память, как в нем написаны все буквы. «Кланяюсь тебе, Гордей Иванов Силин, и супруге твоей Евдокии Филипповне с моим почтением… Бои наши были плохие, и потери в людях были вредные, солдаты умирали на поле как сироты. Командир подпоручик Завьялов не знал в нас души, а знал одну молодцеватость и чтобы был порядок по форме-уставу. Порядок в войске необходимо нужное дело, солдат сам знает про то, и ему легче жить в порядке, и в порядке потери от смерти будет меньше. А того он, подпоручик, не знает, что и в устав, в дисциплину войска нужна добавка солдатской души, а то нечем будет жить войску и без своей мысли солдат неприятеля не одолеет. Умные люди говорят, после войны братство должно наступить, а дурные думают — не братство, а молодцеватость. Но солдат стал скучный, он живет сиротой, нету у него семьи при себе и нету того, кто стал бы заместо них на время, чтоб сердце наше могло кормиться при нем и не было постылым. Тогда и мы молодцами будем. А то ляжет на душу темная наволочь, и станет нам всё одинаково и ни к чему не нужно. Пока прощай, Гордей Иваныч Силин».

— Пока прощай, говоришь, Никифор Поликарпыч? — осудительно сказал Силин. — А вышло, что навек ты со мной попрощался… Покойся, казак!..

— Силин! Ты тут? — произнес голос за дверью избы, и в помещение вошел старшина Череватых. — Давай сбираться, мы выступаем — приказ по полку! Кличь расчет своего орудия! Смотри не позабудь чего, ты старослужащий казак!

— Еще чего! — обиделся Силин. — Я и что не нужно, и то беру с собой: не в гости, а биться идем.

— Ненужное брать не надо.

— И ненужное бывает надобно, — едешь с пушкой — береги и кулак…

2

Капитан Артемов, командир той батареи, в которой служил Силин, устроил свои 76-миллиметровые пушки на позиции и занял свое место у телефона на наблюдательном пункте, в старой земляной щели. Лошадей с передками орудий Артемов велел ездовым отвести в руины ближнего хутора, а пушки приказал расчетам замаскировать сетями и травой.

Была поздняя осень; день умирал быстро, и ночь наступала долгая, как смерть. Часть расположилась на исходе, но сигнала к бою еще не было. Неприятель молча таился невдалеке, укрывшись в земляных гнездах на нерушимо ровной приазовской степи. Артемов позвонил полковнику Пустовалову и доложил ему о своей готовности к ведению огня и к предначертанному оперативным планом сопровождению атакующей пехоты.

— Как у тебя люди? — спросил полковник.

— Люди исправны, товарищ полковник.

— Они неделю отдыхали — чего им быть неисправными? — сказал полковник Пустовалов. — Каждый, через одного, уже пепежевку поспел себе завести на селе, я знаю…

Я не о том тебя спрашиваю, капитан. Я спрашиваю тебя — ведь ты знаешь оперативную задачу, — удержат ли они танки, сколько бы их ни было, стволами своих пушек, чтоб потом вперед идти… Как у них сердце лежит?

Артемов подумал:

— Сердце в расчетах хорошее, товарищ полковник.

— А ты знаешь точно?

— Точно, товарищ полковник. У наших казаков отцы-предки хорошие были и в сынов своих доброе сердце положили. На том мы и стоим, а то бы хуже было.

Полковник невнятно пробормотал какое-то свое недовольство, — что, дескать, все равно бы плохо нам не было, — потом явственно сказал:

— А ты, капитан, вот что! Ты приумножь-ка это доброе сокровище отцов в наших бойцах, раз ты его понимаешь правильно. Дурни мы будем, если отцовское наследство, сердечную свою натуру, расточим…

— Не расточим, товарищ полковник… Казак-боец не даст расточить, он даром не умрет, отец не напрасно его на свет родил… Бойцы это понимают! Напрасная смерть оскорбляет отцов…

— А не напрасная?

— Не напрасная? Не напрасная смерть соединяет детей с отцами и освящает их память…

— Ишь ты какой! — сказал полковник. — Ты кое-что понимаешь, капитан. Ну, действуй, а я буду всегда при тебе на помощь!

Артемов вышел обратно к батарее. Уже ночь приникала к земле. Со стороны Азовского моря дул и напевал в пустоте, словно разговаривая сам с собой, морской теплый ветер. Отсюда уж недалек был Крым, здесь уже слышно было дыхание «земли полуденной», за которой открывалось великое, влекущее пространство южного мира.

За тысячу верст отсюда был дом и семейство капитана Артемова. Два года он прожил на войне и отвык от дома. Словно о далекой старине он вспоминал о своей прежней жизни в мирное время, о жене, о троих детях, растущих без него, о вечерах при лампе за чтением книги и размышлением о будущем, которое казалось тогда непрерывно возгорающим светом, освещающим весь мир; жена и дети уже спали по обыкновению, безвестная бабочка, влетевшая в горницу еще днем, беззвучно летала вокруг огня, кроткая жительница тихого ночного мира; где она теперь, где лежит в земле ее легкий смертный прах, подобный чистому духу?.. Все это давно миновало, и лишь тихой тоской изредка осеняет сердце человека.

Над горизонтом поднялась бледная луна, почти невидимая от немого зарева дальних пожаров, словно безмолвный печальный образ в память всех мертвых, и пушки Артемова обозначились на земле длинными тенями. Артемов обошел батарею и велел своим людям вкапывать пушки в землю. Бойцы недовольно взялись за лопаты. Капитан постоял и последил, чтобы люди это делали как следует, хотя, быть может, здесь придется пробыть всего полчаса. Он приказывал своим людям постоянно исполнять нерушимое правило — «остановился на день, вкапывайся навек» — и не жалел человеческих сил, хотя бы солдаты целые сутки до того не выходили из боя. Солдаты обыкновенно роптали: «Зачем теперь нам землю копать, когда хорониться в нее некогда — мы вперед идем, и так пол-России взрыли, изувечили, пахать негде будет!» Но капитан Артемов, чувствуя солдатское бормотание, повторно приказывал: «Вкапывайся! Береги орудие и самого себя! По рытой земле целым домой вернешься!» И тогда солдаты понимали его: «Да оно верно, уморишься — проспишься, а умрешь — потом не отдохнешь. Кровь всегда гуще пота!»

Артемов понимал землю как оружие — и для обороны и для наступления. В каждой местности есть свое своеобразие и своя тайна, и тот офицер, который способен прочитать тайну местности, где ему предстоит действовать, тот выгоднее, скорее и проще решит свою тактическую задачу, потому что бой есть не только стрельба и атака в штыки, он всегда есть движение на местности, и поэтому точное знание местности и расчетливое движение по ней

решает бой наравне с огнем и умелостью солдата. Артемов мог теперь часами вчитываться в карту, испытывая при этом то счастливое возбуждение мысли, которое он чувствовал прежде лишь при чтении глубоких художественных книг, когда тайна жизни с легкостью наслаждения открывалась перед ним.

Артемов недавно прочитал в газете, что война есть исступление, и улыбнулся над ошибочностью этой мысли. Он знал, что война, как и мир, одухотворяется счастьем и в ней есть радость, и он сам испытывал радость войны, счастье уничтожения зла, и еще испытает их, и ради того он живет на войне и другие люди живут. Еще недавно он зашел после боя в два дома на окраине Мелитополя, разбитых его орудиями, и он увидел там мертвых немцев, прижавшихся перед гибелью друг к другу в последнем отчаянии, перед тем как их накрыл смертный огонь. Артемов вздрогнул тогда от восторга; он увидел глазами и узнал на ощупь свое великое творение: убийство зла вместе с его источником — телом врага. И ему не жалко было тогда разбитых в прах домов, а по руинам улицы он прошел как по аллее созидания — в трупах противника там лежало поверженное, мертвое злодейство земли; и что может быть в мире совершеннее и плодотворнее этого солдатского дела, умерщвляющего зло, дабы добро и труд снова возникли на земле и жаворонок над хлебным полем не падал бы с умолкшей песней, удушенной взрывной волной… Артемов скучал по семье и ожидал окончания войны, как всякий человек. Но свое счастье и высшую жизнь он постиг здесь, на войне; после войны уже будет что-то другое, может быть — хорошее и тихое, как вечерняя песня, но время его счастливого труда, время одухотворенной радости, когда в мгновениях боя освобождается от злодейства вся земля, — это время тогда минует, и разум тогда будет жить воспоминанием, а сердце сожалением, успокаиваемым лишь гордостью и сознанием своей чести старого солдата…

— Товарищ капитан, разрешите спросить, — обратился Гордей Силин, соскребывая лопатой тучную, липкую землю с подошвы сапога. — Отчего немцы на воздух слабы стали, — должно, горючих запасов у них теперь нехватка…

«Не хочет солдат землю копать», — подумал капитан Артемов.

— Перекури! — сказал Артемов всему расчету Силина и сам сел среди бойцов на выбросе грунта.

— Уж далече мы теперь от родины, от Дона, отошли! — проговорил, отдыхая, Силин.

— Родина еще и впереди нас, — сказал Артемов. — Она не в одном твоем курене живет…

— Всю-то ее враз не оглядишь, не опознаешь, — тихо высказался заряжающий Игнатий Миронов.

— Кто ее знает! — произнес Силип. — А то и враз ее, всю русскую землю, вдруг оглядишь и узнаешь, и станет она возле тебя всего в одном человеке!.. Ты к своей земле привык, ты думал, что любишь ее, а глядь — она тебя, солдата, любит еще больше, и тогда тебе бой в охоту и смерть в счастье. Это желанное дело…

— Командира к телефону! — крикнул телефонист.

3

Полковник сообщил Артемову, что немцы, по вероятным сведениям, атакуют нас танками и пехотой. Их нужно принять на огонь батареи и с ходу, с раскачки перейти в контратаку и в наступление, вырываясь на колесах даже вперед цепей нашей пехоты, если будет в том усмотрение и надобность.

В полночь немцы взревели дальнобойными пушками и пустили танки в наше расположение. Телефонист Перегудов быстро работал возле Артемова, передавая на батарею данные для стрельбы, получаемые от вычислителей. Танки гудели вдалеке по степи, но мрак ночи отягощал борьбу с ними, а сведения корректировщиков не давали уверенности в положительности работы огня. К тому же вблизи батареи Артемова, около крайнего левого орудия, начали разрываться осколочные снаряды. Возможно, что немцы уже определили

батарею Артемова.

Капитан осветил фонариком карту и в волнении вник в черты местности, где сейчас происходил бой. Слева, в полкилометре отсюда, был подлесок или молодой фруктовый сад; туда всего выгоднее было бы переместить батарею, потому что подлесок все же есть естественное укрытие и маскировка. Правее и вперед находились немецкие земляные гнезда для установки орудий; их немцы оставили позавчера, и они уже были нанесены на карту карандашом; немцы, конечно, хорошо знают про эти земляные ячейки и в любой момент могут пристрелять их точным огнем; стало быть, немцы должны сообразить, что русские на их оставленные артиллерийские позиции не пойдут, а пойдут в тот подлесок слева, потому что другой позиции тут выбрать негде: тут всюду ровная пустошь.

Артемов приказал вручную перекатить орудия на старонемецкие артиллерийские позиции; он решил там выждать танки и расстрелять их в упор на видимость, а затем сразу двинуться вперед. Но впереди, в двух километрах, была небольшая река Сливянка, а на том ее берегу — населенный пункт, совхоз с каменными постройками.

Артемов с телефонистом Перегудовым перешли на новый командный пункт, и капитан приказал своим пушкам до времени молчать. Немецкие батареи, обеспечивавшие наступление, распахивали землю огнем впереди своих идущих вперед танков, но одновременно они вели огонь и в глубь нашего расположения; подлесок, в котором были сейчас лишь короеды да осенние птицы, истлевал в огне, прежняя позиция артемовской батареи также была накрыта артиллерией противника.

Разрывы снарядов, опережающих танки, засвечивали немецкие машины во тьме, и поэтому можно было уже вычислить данные для прицельного огня. Командир стрелкового подразделения, вышедший на правом фланге к берегу Сливянки, попросил у Артемова, чтобы он подавил две пулеметные точки врага в совхозе. Пехота, залегшая впереди Артемова, не могла вступить в дело с пехотой противника и вживалась в землю, чтобы стерпеть без гибели накрывающий ее огневой вал.

Артемов, чувствуя, что он один сейчас способен и должен остановить и сокрушить на месте стальной, рвущий землю огнем, почти вонзающийся в его грудь поток врага, в яростной радости, подавляющей страх, командовал Перегудову, и тот повторял его слова в микрофон, на батарею.

Первый танк взорвался, и его разверзло пламя, осветившее местность, по которой подходили еще четыре танка.

— Выстрел Силина был, товарищ капитан, — сказал Перегудов.

— Верно, это сработало его второе орудие, — подтвердил Артемов.

Еще два танка противника были остановлены скорым прямоточным огнем батареи Артемова, бившей по его приказу залпами, и затем добиты, повторно расстреляны на месте, как неподвижные цели; один танк ушел на правый фланг, а упреждавший, сопровождавший танки огонь артиллерии стал клевать землю неприцельно; тогда Артемов скомандовал, чтоб расчеты отдали пушки на передки и следовали на тяге вперед, под охраной своих ручных пулеметов, до реки Сливянки.

4

На берегу Сливянки капитап Артемов узнал, что такое долгая смерть, и стерпел ее, пока она длилась. «Что же такое человек? — думал он позже с удивлением и удовлетворением. — Всё, что было, что пережито, что мы знали как трудное дело, — было легко, и то было маловажным, то было только началом и даже слабостью человека, — мы тогда еще не испытали всего веса зла на человеческую грудь, мы не чувствовали как следует врага. Лишь теперь я знаю кое-что, как надо драться».

Едва достигнув берега Сливянки, Артемов приказал врыть, вработать немедленно свои пушки в землю, в старые траншеи врага, в его обваленную линию обороны; более всего он желал неприкосновенно сберечь расчеты людей и пушечные системы. Во тьме, во вспышках

стрельбы, он различил и сосчитал противника, низринувшегося с высокого правобережья Сливянки на мякоть нашей пехоты, переходившей реку вброд. Двенадцать танков спускались оттуда, из населенного пункта, стреляя с ходу. Наша пехота, устремившаяся поперек потока двумя струями, несла потери, — люди оставались в реке, смешивая с ней кровь, отдавая тепло своей жизни ноябрьской воде. Артемов понял общее положение; он велел открыть всю мощь огня батареи по танкам, чтобы всех их привлечь на себя, на свои четыре пушки, и облегчить пехоте ее штурмовую работу. Стрелковому командиру он посоветовал по телефону изменить его тактику согласно обстановке. Капитан Артемов полагал, что выгоднее и успешнее будет форсировать речку не узкими колоннами подразделений, сосредоточенными в затылок друг другу, — нужно освоить реку вдоль ее потока, на долгом протяжении: пусть бойцы действуют рассредоточеннее, поодиночке, вплавь и вброд, они рассеют тогда внимание противника, и огонь его станет малодейственным…

Далее Артемов не мог уже следить за общим боем. Он сполз в глубокую траншею, где сидел его телефонист Перегудов, и озаботился увеличением скорострельности огня своих пушек.

Танки ревели уже в речном потоке и шли в упор на батарею. Артемов обрадовался, что сумел навлечь на себя все машины врага и тем облегчить действия общевойскового командования на других участках. Наблюдатель сообщил капитану, что пять танков подбиты и остановились в речном русле, но второе орудие батареи повреждено и замерло в бездействии.

Этим орудием командовал Гордей Силин. Старый солдат обиделся на такое неправильное дело, причиненное ему; он взял лом из пушечного инвентаря и, выгадав танк, шедший давить насмерть его орудие, взобрался на чужую машину и ударил ломом по горячему стволу пулемета в момент его стрельбы; пулемет рванул огнем внутрь машины, и там раздался крик врага; Силин прыгнул с танка и пополз к работавшей, здоровой пушке старшины Череватых.

Наблюдатель сообщил капитану Артемову, что всего подбито семь танков, остальные же машины, числом пять единиц, достигли расположения батареи и давят пушки гусеницами; сейчас осталась в живых лишь одна пушка Череватых, но огонь из нее ведет Гордей Силин, потому что старшина Череватых убит.

Тяжкое, дышащее жаром туловище танка перекрыло поверху траншею, где находились Артемов и Перегудов, и стало неподвижно, сотрясаясь от гулких, вскрикивающих огнем ударов по броне и проседая вниз, засыпая землей на погребение таящихся под ним двоих людей. По танку гвоздил из пушки Силин осколочными, не имея, видимо, других снарядов.

Связь еще действовала. Артемов вызвал к аппарату полковника и доложил обстановку.

— Помощи просишь, капитан? — спросил полковник.

— Нет, — сказал Артемов. — Мы почти справились с противником… Дайте на этот участок немного ПТР!

— Откуда ты говоришь?

— Со своего пункта, товарищ полковник… Над нами висит машина… Она пойдет сейчас на Силина, на мою последнюю пушку…

— Что ты кряхтишь?

— Земля валится, трудно стало. У них здесь пять машин…

— ПТР дать не могу, капитан. К совхозу на подходе с запада находятся еще пятнадцать танков, шесть тяжелых. Там ПТР нужнее…

— У меня одна пушка еще действует, товарищ полковник!

— Пушку береги, капитан, а врага растрачивай!.. Держись, Иван Семенович, а я тебе не забуду помочь! Мы ведь с тобой офицеры, и при нас жить злу на земле не положено…

Танк сполз с траншеи Артемова и ушел. Но другая машина появилась на фланге и пошла вдоль траншеи, обваливая ее откосы, временами приостанавливая свой поступательный ход и вращаясь на месте, чтобы смолоть до костей нашу живую силу.

Пушка Силина била осколочными по пехоте врага, и наши солдаты дрались врукопашную в ледяной воде Сливянки.

Волшебный свет выстрелов и ракет вспыхивал и сиял в темном ночном мире, прерываясь слепящим мраком, и мертвыми, унылыми голосами кричали пушки, словно труженик человек воскресил здесь к жизни и движению подземные камни и небесные черные воды; но недра земли и черные воды, оживши, стали еще более мертвы, чем прежде, и ужаснули человека своим бешенством, своей ложной и страшной жизнью, заменившей им кроткую дремоту в вечности. И в этом свирепом беспорядочном смятении лишь одно было неподвижно и верно и давало смысл всему видимому ужасу — действующее сердце нашего солдата, умерщвляющего близкое, в упор надвинувшееся живое злодейство. Вкруг него, близ нашего солдата, бой превращался из ужаса в житейскую необходимость.

Танк снова покрыл траншею над головою Артемова и Перегудова и начал вращаться, медленно опускаясь книзу и стреляя из пушки в русскую сторону, содрогаясь корпусом при отдаче орудия. Артемов и Перегудов лежали ниц в обваливающемся на них прахе земли. Артемов кричал в телефон, задыхаясь в мелком крошеве грунта.

— Силин! Силин, нас давит машина, дай по ней…

— Есть! — отвечал издали Силин, и Артемов расслышал, как зазвенела броня танка над ним от удара снаряда.

Но душная, тяжкая смерть уже прессовала над ним грунт и долгая, медленная гибель томила сердце, обреченное на вечное заключение в тесной могиле.

Артемов приказал Силину забыть о нем и вести огонь по пехоте, а сам привлек голову Перегудова к себе, чтоб он не тосковал один.

— Ползи! — приказал Артемов.

Перегудов попробовал двигаться ползком вдоль траншеи, но земля валилась на него из-под мелющих грунт гусениц танка, и двигаться было так же трудно, как подняться из могилы навстречу работающим лопатами гробовщикам.

5

— А все равно умирать нельзя, и из могилы надо драться! — решил Артемов; он был согласен вечно держать на своей груди черную тяжесть смерти и злодейства, если бы только мог привлечь к своему телу все железное зло мира и неразлучно томить его на себе; в этом было бы его удовлетворение и призвание красноармейского офицера.

— Силин! — прокричал он в телефон.

Броня танка зазвенела и сверкнула огнем над ним, и одна гусеница машины на весу прошла над головами Артемова и Перегудова. Теперь в небе над траншеей стала видна высокая грустная звезда.

— Силин! — крикнул в микрофон капитан. — Ты держишься там?

— Держусь, товарищ капитан! — ответил Силин. — Сберегите мою карточку, меня фотограф из газеты снимал, обещал прислать, а все не присылает. Теперь скоро, наверно, уж пришлет.

— Я сберегу ее, — пообещал Артемов и решил застрелить этого фотокорреспондента из газеты, который снимает всех, как героев, аппаратом с пустой кассетой и всем обещает прислать вскоре фотографии; у солдата большая чувствительность доверчивой души, и его нельзя обманывать.

— «Тигры» на подходе к реке! — доложил Перегудов капитану. — Четыре машины! И на флангах по пяти машин среднего веса!

— Оставайся здесь один! — приказал Артемов. — Я пойду к Силину.

У Силина, кроме него самого, при пушке был один казак Миронов; уцелевшие артиллеристы из других расчетов заняты были на оттяжке поврежденных орудий в тыловое расположение и на подноске снарядов с околицы хутора.

— Все ничего, товарищ капитан, — сказал Силин, — калибр у нас слаб на такие

машины.

— Ничего, Силин, — произнес Артемов. — Я по-хозяйски с ними справлюсь. Гранаты и противотанковые мины у нас есть?

— А то как же! Имеются.

— Ты хлопочи здесь, у пушки, только зря не пали, давай огонь не в лоб, а по нежному месту, а я пойду, как они покажутся. Давай, я буду снаряжаться…

Силин не все понял.

— Так как же это будет, товарищ капитан?

Артемов улыбнулся.

— А я к танку прямо под вздох подберусь и выпущу из машины последнее дыхание.

Силин помолчал, но потом обиделся:

— А я что же, товарищ капитан… Я солдат, я к смерти давно привык, почему же меня не посылаете на дело? Чего я тут пустым огнем греметь буду?

— Тебя я хочу сберечь, Гордей Иванович, — ответил Артемов. — Отца-матери и семьи при тебе нету, кто о тебе позаботится, кроме меня?

Силин отступил на шаг и вытянулся перед командиром.

— Так не бывает, товарищ капитан. Это не по службе-уставу: вам не положено идти на смерть вместо своего солдата!

— На поле боя я для тебя весь устав, — сказал Артемов. — Родиной мне положено любить и беречь своего солдата… Поцелуй меня на прощанье, Гордей Иванович…

Гордей Силин опустился на колени и приник лицом к земле. Прежде он думал, что родина велика и не помнит про него, одного своего солдата, а она, родина, вся может собраться в одного человека — офицера, и она любит его, должно быть, больше, чем он ее.

С ближних тыловых позиций ударили пушки дивизионной артиллерии. Они били по правому берегу реки, где появились свежие немецкие танки.

Силин поднял лицо от земли и задумался.

— Великое дело! — прошептал он, слушая залпы батарей. — Ишь ты как наша Россия огнем говорит… Теперь и капитану не к чему на танки ходить врукопашную…

Телефонист Перегудов появился возле командира.

— Приказано, товарищ капитан, всем штурмовым подразделениям пехоты и всем ее сопровождающим идти вперед, как только эти танки будут остановлены дивизионным огнем!

Артемов приказал поставить орудие на ходовой передок, а всем свободным людям батареи следовать с ручными пулеметами и автоматами. Затем он посмотрел на небо, чтобы сообразить по звездам — скоро ли будет рассвет. По звездам выходило, что утро будет скоро, но в позднюю осень и по утрам бывает еще долгая тьма, и дети, проснувшись, плачут в деревнях по свету.

На Горынь-реке

Идет дорога на запад, река Горынь течет. Река течет утомленным потоком, она почти не замерзала в нынешнюю зиму и не отдохнула подо льдом. По дороге вперед идут люди инженерно-саперного батальона гвардии инженер-капитана Климента Кузьмича Еремеева. Эти люди редко отдыхают: они либо работают, либо движутся в пути, и сон их всегда краток, но глубок.

Река Горынь то приближалась к грунтовому тракту, то отходила от него в отдаление, а потом опять долго шла неразлучно рядом с шагающими по тракту людьми.

Солдаты шли молча. Земля дорог въелась в их серые, сумрачные лица, и полевой ветер всех времен года обдувал их, так что солдаты стали терпеливы и равнодушны ко всякой невзгоде. Но глаза их, обыкновенные и спокойные, имели то особое выражение, которое бывает лишь во взгляде солдата. Это выражение означает, быть может, то знание жизни, которое дается лишь страданием, войной и чувством много раз приближавшейся к человеку

смерти.

Солдат знает и то, что знают все мирные люди. Но, кроме того, ему известно высшее знание, неведомое другому, кто не бывал солдатом. Солдат заработал свое высшее знание в испытаниях, когда смерть уже касалась его сердца или когда страшный долгий труд до костей изнашивал его тело. И это великое, терпеливое знание, в котором одним швом соединены и глубокое понимание ценности жизни и смерть во имя народа, как лучшее последнее дело жизни простого истинного человека, это знание тайными чертами запечатлевается в облике каждого воина, послушного своему народу.

Рядом с капитаном Еремеевым шел гвардии сержант Загоруйко. У него было то же обличье солдата, общее всем; однако, судя по его низкому, усадистому, прочному туловищу и по сытному, довольному лицу, ему война шла на пользу и впрок. А может быть, он чувствовал счастливое удовлетворение от сознания того, что именно ему пришлось в упор бороться, начиная с первого дня войны, с врагом и мучителем человечества и что он не оставит злодейские силы на земле в наследство своим детям.

На ночь батальон остановился в жилой слободке у дороги. В этой слободке должна быть связь, о чем имелись сведения у капитана Еремеева. Капитан хотел получить по связи обстановку и приказы о дальнейшем движении и деятельности своего батальона. Ему было заранее назначено связаться из этого пункта с начальником штаба бригады. Но капитану ничего не удалось узнать у связистов, потому что линия связи была нарушена.

Никаких тыловых частей в слободе не было, и сведений о противнике и о расположении наших передовых частей не у кого было спросить. Капитан знал, что при быстром стремлении вперед, при маневренной войне, когда движущиеся части словно вращаются по большим дугам и кругам, в пространстве образуются иногда пустые мешки, или ничейные земли, и это обстоятельство немного тревожило его.

Еремеев вышел на околицу слободы. Солнце зашло за синие увалы, и лунный кроткий свет озарил цинковые крыши слободы. Капитан сверился с картой. Впереди по дороге, километрах в четырех, находилось еще одно населенное место, но неизвестно, кто там был — противник или мы. А далее, за тем поселением, Горынь-река пересекала дорогу, и никакого моста, по сведениям командира, там теперь не было: его взорвали немцы.

Капитан снова пошел на пункт связи. Двое связистов отправились на линию искать повреждение, а третий сидел один в безмолвной, пустой хате.

Капитан крикнул к себе сержанта Загоруйко и, показав ому по карте место, велел взять с собою двух бойцов и проведать, кто там находится, в той слободке, что лежит далее впереди, у реки Горынь.

— Там-то? — задумался Загоруйко. — А там ничто, товарищ капитан, там пустой промежуток.

— Пойди разведай, тогда будет точно, — сказал капитан, — может, там есть еще остаток неприятеля.

— Едва ли, товарищ капитан. Немец держится кучно. А тут он в откат пошел, и бить тут нам некого.

— А ну, давай делай! — приказал капитан. — Нам, должно быть, работать тут придется, а на работе я люблю, чтоб саперу был покой и чтобы пули его не касались…

Загоруйко ушел с бойцами в ночь на разведку и после полуночи возвратился обратно. Он доложил своему командиру, что действительно так оно и есть; в той слободке было в гарнизоне немного неприятеля — всего семь человек; они находились в двух хатах и все пали в тихом бою с нашими саперами, в рукопашной битве.

— Шуметь мы опасались, — доложил Загоруйко. — Неясно было, сколько их есть. Немец теперь, стало быть, тоже может и некучно держаться — это он от нас научился. У нас-то что же, у нас и один боец по нужде иль по обстановке войском бывает!

— Надо бы языка взять, — произнес капитан. — Нам неизвестно, что тут в окрестности.

— А один был язык, но в дороге он помер, — сообщил сержант. — Он хотел что-то

сказать важное, да не поспел. Я ему дал кусок сухаря, он стал его жевать, но ослабел и умер с нашим хлебом во рту. Видно, мои ребята повредили его нечаянно в бою.

— Зря, — сказал Еремеев, — надо, чтоб он жил.

— Я его к дисциплине призывал, товарищ капитан, а он «капут» сказал и кончился досрочно. Плохой был солдат, жить не мог.

Капитан велел сержанту спать, а сам пошел проверить посты боевого охранения. Потом он проведал связистов и узнал, что связь появилась на минуту и опять исчезла.

Капитан Еремеев хотел было послать верхового нарочного в штаб бригады, но раздумал — хозяйство бригады тоже движется вперед, и не сразу нарочный его отыщет, а время уйдет напрасно, весь его батальон будет бездействовать.

Однако мост через Горынь-реку не миновать строить, потому что здешний большак далее, на немецкой стороне, срастался с шоссейной магистралью и здесь должны пойти потоком наши части усиления, резервы и обозы.

Капитан взял лошадь и поехал с ординарцем, сорокалетним Лукою Семеновичем, на Горынь.

— Лука Семенович, с утра мост будем класть на Горыни, — сказал капитан.

— А чего тут вожжаться-то: отделался, и вперед пора! — согласился Лука Семенович. — Нам надо и работать и воевать к спеху: небось минута времени войны народу целый миллион стоит, не считая того, что и в людях потеря, и на душе тоска…

Луку Семеновича любили в батальоне и звали всегда полным именем-отчеством. Любовь он заслужил трезвостью своего разума и спокойствием характера. Дополнительно к тому всем нравилась его чесаная, большая, ласковая борода. Иные тоже пробовали отрастить себе такую же бороду, но у них того не выходило, что у Луки Семеновича. «Борода — это целое хозяйство, — говорил Лука Семенович, — она вроде полеводства, тут не только усердие, тут и знание науки нужно».

— Тебе поплотничать придется, Лука Семенович, — сказал Еремеев.

— А чего же, товарищ капитан, Климент Кузьмич, — плотничать что пахать — святое дело. Да и работа все же спорее пойдет, когда хоть один человек в помощь.

Поздняя, высокая луна озарила своим мирным, словно шепчущим, светом парной, мерцающий воздух над рекой Горынью. Капитан и Лука Семенович остановили коней у самого берегового уреза воды. Капитан измерил на глаз ширину реки: оказалось не более шестидесяти метров; стало быть, работа будет не очень ёмкая; противоположный берег был немного выше, но зато почва там, значит, прочнее и суше. Капитан стал соображать, как выгоднее становить мост, и без внимания глядел на другой берег реки.

Там вспыхнул и повторился несколько раз резкий, раздраженный красный огонь, посторонний для этой тихой лунной ночи и чуждый всей мирной земле. Еремеев, отвлекшись мыслью об утренней работе, не сразу догадался, что это означает.

— Назад, товарищ капитан! — сказал ординарец и ударил по крупу лошадь командира, а потом тронул свою. — Там немец ночует…

Четыре тяжелых пулемета враз открыли огонь по всадникам, и лошадь Еремеева опустилась под ним замертво.

Тогда Лука Семенович перехватил командира с седла, взволок его на свою лошадь и, усадив впереди себя, дал ход понимающему резвому коню. Тут же ординарец отвернул коня с дороги и въехал в темное устье балки, впадающей в речную долину. По дороге еще били пулеметы противника, но в балке было мирное затишье.

— Эх вы, дешевка! — сказал Лука Семенович о своих врагах. — Мы им чуть не на самые расчеты наехали, а они из нас четырех одно только существо повредили…

— Ты не глядел там, Лука Семенович, какой лес возле слободы растет?

— Сосна, товарищ капитан, она гожая в дело… Наутро Еремеев приказал батальону начать работу по постройке моста через Горынь-реку и до темна, в восемнадцать ноль-ноль, закончить мост и открыть по нему движение.

«Как раз тебе ноль-ноль и будет вместо моста, — молча размышлял Лука

Семенович. — За рекою же немцы еще стоят, сам же их чувствовал, а говорит „ноль-ноль“…»

Перед работой капитан Еремеев сказал двум выстроенным ротам, отряженным на дело, свое напутствие:

— Товарищи гвардейцы! Сегодня мы построим наш двадцать первый мост. От Северного Донца до Горыни мы построили их двадцать, и были ничего мосты. Вы сами видите — здесь добрая земля, ей хлеб надо рожать, но нет по ней пути вперед. Наш саперный генерал говорит, что сейчас одна дорога, дорога и мост решают дело нашей победы. Без дороги и моста не доберешься до врага, не поразишь его насмерть, как нужно делать. Сейчас мы свой двадцать первый мост начнем строить сразу с двух берегов…

«Неужели у командира упущенье в разуме появилось? — с печалью думал Лука Семенович. — Ранее того никогда не было».

— Загоруйко! — крикнул командир. — И ты, Лука Семенович! А ну, ко мне! Лука Семенович, позови старшего лейтенанта, командира нашей третьей роты…

Через час времени два взвода саперов с гранатами за пазухой, чтобы их не вымочить, и автоматами в руках брели почти по грудь по липкому, всасывающему морю черной земли.

Иногда солдатам хотелось броситься вплавь, — может, думали они, тогда легче будет. Их вел сам командир батальона Еремеев. Он хотел выйти к Горыни выше того места, где будет строиться мост, чтобы зайти фашистам с тыла на том берегу и уничтожить неприятеля как помеху в работе.

В реку Горынь, не меряя ее, капитан вошел первым, и после пути по сосущей бездне полей ему показалось легко и чисто идти в светлом речном потоке, и он отдохнул, переходя реку вброд. Бойцы его тоже вздохнули свободней в воде и обмыли одежду на себе. Глубины тут нигде не было более как по горло, и плыть никому не пришлось.

На другом берегу саперы опять вошли в густую теснину влажного чернозема и скоро вспотели в труде своего движения, хотя их обдувал унылый сырой ветер бесснежной зимы.

Выйдя на дорогу, капитан повернул оба взвода обратно, приказал им рассредоточиться по степи и штурмовать пулеметные точки немцев. Сам же он вместе с Загоруйко и Лукою Семеновичем пошел прямо по дороге.

— Скорее надо действовать! — торопил Еремеев. — Скорее, говорю, чтоб наших ребят в работе там не задерживать!

— Сейчас, сейчас, товарищ капитан! — говорил Лука Семенович. — Сейчас управимся. Саперу что бой! Для сапера бой одно упреждение его работы, вроде предисловия к чтению по книге.

Один немецкий пулемет, стоявший в земляном гнезде у дороги, дал короткую прицельную очередь. Капитан и его спутники залегли в грязь возле дороги. Потом Загоруйко, не подымаясь, начал вращаться телом по земле и двигаться вперед, не утопая в черной пучине. Лука Семенович принялся действовать подобно Загоруйко, но все же он не поспевал за ним в скорости, а может, он оберегал бороду от нечистоты.

Капитан стал наблюдать с места за ходом дела. Все четыре немецких пулемета давали время от времени короткие очереди. Неприятель, должно быть, не понимал, что пред ним происходит. Еремеев увидел, как мгновенно приподнялся с земли Загоруйко и умелой, точной рабочей рукой метнул гранату по сверкающему пламенем пулемету. Все саперы тотчас же открыли автоматный огонь, наступила решающая минута безвестности, как бывает во всяком бою, а затем стало сразу тихо, и бой окончился. Оставшиеся немцы в маскировочных полосатых куртках вышли наружу с поднятыми руками. Огонь еще был в их оружии, но духа веры в их сердцах уже не было.

К тому времени к Горынь-реке саперы Еремеева уже подвозили сваи, бывшие в запасе в батальонном обозе.

Капитан п Лука Семенович вышли к реке с немецкой стороны и увидели свои подводы. «Ни в чем пока упущения нету, — отрадно подумал Лука Семенович, — у нас командир большой офицер: он и в бою умен и в работе догадлив».

Во всякой работе для солдата есть воспоминание о мирной жизни, и поэтому он трудится со старанием и чувством любви, словно пишет домой письмо. Капитан Еремеев знал это солдатское свойство.

Саперы понимали такое слово своего командира и строили одинаково истово и прочно и большой мост и малую переправу. И теперь они, как и прежде, вошли в холодный поток реки и стали заправлять сваи в подводный глубокий, заматерелый грунт.

Загоруйко устроился на подмостьях и бил бабкой по свае для первой ее усадки в верхнюю мякоть грунта. Лука Семенович доводил рубанком маломерные бревна для ездового настила моста. Он любил дерево, и, работая, обращая дерево в изделие, он думал, что рождает из него живое полезное подобие человека, будь то мост, или дом, или просто житейская утварь. Азербайджанец Музаферов, работавший до войны крепильщиком в Донбассе, готовил предмостье. Он работал землю, трамбуя подходы к мосту. Горы земли, которую ему подвозили на грузовиках и подводах, он превращал в правильный, плотный профиль дороги. Музаферов не жалел себя. Его большое, мощное тело двигалось точно и скоро, и его руки на виду создавали из беспорядочной земли новый маленький мир.

«Гвардеец! — подумал о Музаферове капитан Еремеев, наблюдая его. — Хорошо бы, если б моя мысль работала так же ладно, как мускулы Музаферова».

Еремеев за свою жизнь построил около сотни мостов. Теперь он заботился более всего о скорости работы, и по ночам, в бессонные часы, и под огнем врага он думал одну и ту же думу, воодушевляющую его, — о том, как расставить людей на линии работы, чтобы один торопил другого ходом своего труда, как наладить предварительную разведку полезных ископаемых и подручных материалов в районе строительства и заранее заготовить их, когда это бывает возможно. Он хотел довести скорость строительства шестидесятитонного деревянного моста до десяти погонных метров в час.

В два часа пополудни к Еремееву пришел связист с местного промежуточного узла и доложил, что связь восстановлена и на имя капитана получена телеграмма. Еремеев прочитал телеграмму — это был приказ о постройке моста через Горынь-реку в шестнадцатичасовой срок; мост должен быть готов к шести часам утра следующего дня.

Еремеев написал в ответ, что мост будет готов к пропуску транспорта сегодня в восемнадцать часов — через четыре часа, и связист ушел.

Помполит лейтенант Демьянов обратился к командиру с предложением, что сегодня вечером нужно провести беседы по ротам.

— Это важно, — сказал Еремеев. — Но лучше отсрочим беседу на завтра. Сегодня вечером сон и отдых для бойцов будет для них всей политработой. А сейчас нужно, чтобы на кухне приготовили и дали каждому прямо на мост по куску горячего мяса с хлебом и по сто граммов водки. Ты пойди распорядись, товарищ Демьянов, и сам посмотри, чтоб исполнено было исправно.

— Есть! — сказал лейтенант.

Без четверти в восемнадцать часов к мосту подъехал «виллис» с двумя офицерами танковых войск.

— Как мост, товарищ гвардии инженер-капитан? — спросили они у Еремеева.

— Стружки с верхнего настила не убраны, товарищ гвардии майор! — ответил капитан.

— Ничего, в них наши машины не увязнут, капитан.

Через час к мосту на проход подошел танковый корпус. Командир корпуса генерал-майор вышел из автомобиля и, стоя на мосту, пропускал все свои машины, пока не прошла последняя.

Затем он обратился к Еремееву, находившемуся возле него:

— Благодарю вас, гвардии инженер-капитан. Я, сознаюсь вам, не ожидал, что вы справитесь с работой. Вы выиграли для нас времени целую ночь, мне теперь легче выиграть сражение. Спасибо, гвардеец!

Генерал поцеловал капитана, сел в машину и исчез в сумраке ночи.

Прорыв на Запад

Во время великого солнцестояния, в июне, ночи почти не бывает. Заря обходит землю с запада на север, с севера на восток, и вскоре снова восходит недавно зашедшее солнце. В те сутки, которые мы описываем, когда стоит самый долгий день в году, сияние света на небе не угасло и в полночь. Как только синий сумрак вечера коснулся сосновых лесов Белоруссии и стихло пение жаворонков над хлебными полями, так тотчас же немецкие рубежи осветились павшими сверху светильниками — ракетами. Это началась авиационная подготовка нашего наступления.

На освещенную сторону врага, на всю глубину его обороны, стали ложиться наши бомбы. Тысячи красно-черных языков пламени возникали из земли навстречу магниевому свету медленно снижавшихся ракет. Красно-черное пламя взрывов рвало в прах землю и выносило вон таящегося в ней врага, рассеивая его кости. Небо гремело, как медное, от непрерывного потока наших самолетов; из тылов с ними безмолвно разговаривали прожекторы и сигнальные ракеты, из траншей за ними радостно следили наши бойцы. Весь рубеж войны стоял в эти часы убранный с земли до небес разноцветным светом, и над ним звучала мощная музыка оружия и техники.

Смысл происходящего не противоречил этому торжественному зрелищу. Здесь снова началась битва добра со злом. И добро было вооружено сильнее. Смерть злу!

В эти же часы мы наблюдали жизнь в белорусских деревнях, освещенных заревом нашей авиационной атаки. В белорусских деревнях пели девушки, красноармейцы играли на баянах и поздно вела хозяйка свою корову ко двору. Все знали, в чем дело, никто не беспокоился за исход начавшегося сражения. Каждый знал, что раз мы начали бой, то будет и победа, и это так же было достоверно для всех, как то простое и великое дело, что земля рожает хлеб, или то, что если опытный плотник начал строить новый дом, то он его обязательно построит.

Немцы отвечали на нашу сокрушительную бомбежку фонтанами красного огня малокалиберной зенитной артиллерии. Так было почти всю ночь. Наши летчики громили противника, и поток самолетов не редел, а густел и учащался.

К утру погода ухудшилась, и род оружия был изменен. Против врага начала работать наша знаменитая артиллерия. Раньше говорили, что, дескать, наша артиллерия накрывает неприятеля. Это неточное представление. Не накрывает она неприятеля, а уничтожает его вовсе. Поэтому, как выяснилось позже, многие «опытные» немцы, только заслышав голос нашей артиллерии, покинули траншеи и побежали.

Два часа работали советские пушки, и временами им помогали гвардейские минометы. Саперы под крышей своего огня строили переправы через первый водный рубеж — реку Проню. Разведчики — умом, смелостью, но не приложив своих рук, — создали переправы еще раньше. Они нашли удобные броды и для танков, и для пехоты. Наша артиллерия била не только по переднему краю, но на всю глубину немецкой обороны.

Два часа шло истребительное погребение врага в нашей земле. Позже, когда наши части прошли вперед, уже нельзя было установить, как тут все было до нас. Трупы немцев как бы по нескольку раз испытали смерть. Земля, смолотая и еще раз перемолотая огнем, перетерла тела врагов и смешала их с собою столь бесследно, что лишь по частям одежды можно узнать, что здесь пребывает кто-то посторонний. Из-под завалов блиндажей и дзотов можно все же видеть жалкие ноги в изношенных башмаках, ноги, желавшие растоптать нашу землю. И вот все это уже минуло: теперь мертвые враги лежат, а живые враги еще отступают, гонимые огнем.

После работы артиллерии пошли вперед бродами и переправами наши танки и наша пехота. Мы видели нашего пехотного солдата уверенным, обнадеженным и спокойным. Что же его обнадежило и что его успокоило? Есть великое военное искусство точного взаимодействия разных родов оружия на одном поле боя, — этот своего рода контрапункт, который в музыке необходим для композиции, для симфонии, а в битве — для решения

поставленной задачи. И есть, оказывается, еще одно великое взаимодействие, которое тоже обеспечивает решение задачи, то есть победу, как и взаимодействие разных родов оружия. Это особое взаимодействие можно теперь отчетливо наблюдать в начавшихся битвах на полях Белоруссии, хотя, конечно, оно всегда существовало и прежде. Объяснил же его нам, как мог, но очень ясно, раненый в руку сержант Георгий Семенович Афанасьев. Он шел вместе с другими легко раненными бойцами. Все они были усталые, покрытые землей, на них белыми были только повязки первой помощи. Однако у сержанта было довольное и даже счастливое лицо. Сержант Афанасьев сам объяснил нам свое состояние.

— Я скоро вернусь опять сюда, пойду вперед, — сказал он. — У меня кость не повреждена, одно мясо только обглодано, а мясо отрастет, а не отрастет, так заживет, и опять я буду воевать.

— А чем вы так довольны?

— Дело у нас идет. Самолеты у нас, пушки у нас, «катюши» у нас — всего много, бьют точно, выручают солдата. У меня дух радовался, когда я еще в окопе атаки ждал. Да и не у одного у меня! Потому что нельзя пропасть при такой силе и свободно можно победить неприятеля. А когда дух радуется у бойца, он оружием хорошо владеет, а раз боец в оружие душу отдает, то пушкам и самолетам надо только запевать, а уж допоем мы песню сами.

Афанасьев выразил мысль о взаимной связи красноармейского духа и мощи боевой техники. Сила самолетов, пушек, танков, действующая на глазах бойцов, возбуждает их дух, воодушевляет их сердца, увеличивает в них охоту к оружию и умение владеть им.

У нас перед боем, когда мы на самолеты глядели и пушки считали, у нас большое настроение и удовольствие было, — сказал сержант Афанасьев. — Народ машины из трудов своих строит и нас бережет, и мы за него, сколько нужно, столько и стоять будем, пока перед нами чисто от врага не станет.

Афанасьев пошел в госпиталь удовлетворенный. Он рассказал нам тайну победы, тайну взаимодействия народа и армии. Иначе говоря, тайну труда и любви народа, осуществленных в боевой технике, и впечатлительного, благодарного солдатского сердца, отвечающего своему народу отвагой и подвигом.

Шел первый день прорыва наших войск на запад, вглубь Белоруссии на могилевском направлении. С каждым часом все далее уходил наш огневой рубеж, все далее летели самолеты на бомбежку. Потоками по всем дорогам, малым и большим, стремилось вперед тыловое хозяйство наступающей армии, где было все — от иголки до звукометрических приборов, от пшена до библиотеки.

Но одна женщина шла по обочине дороги навстречу потоку людей и машин, испуганно сторонясь от всех. Мы узнали ее судьбу: Ефросинья Матвеевна Омелько шла из немецкой стороны. Она увидала прошлой ночью свет боя на небе и бежала от врагов. Одежда на ней была черной, как земля, кожа на лице ее была черной и старой, как земля, и только в чистых, доверчивых глазах ее была неистощенная надежда.

1944

В Могилёве

[текст отсутствует]

В Белоруссии

[текст отсутствует]

На могилах русских солдат

Путь человека может быть сужен колючей проволокой и сокращен поперечными

препятствиями — камерами допросов и пыток, карцером и могилой.

Именно этой узкой дорогой, огражденной дебрями колючей проволоки, и мимо подземного карцера мы проходили вослед замученным, вослед умершим советским солдатам и офицерам.

Это место находится недалеко от Минска, у деревни Глинище, возле железной дороги Минск-Молодечно. Здесь недавно был лагерь советских военнопленных; у немцев он назывался шта-лагерь № 352.

Немцы щедры на смерть. Их наука, в которой они сделали серьезные успехи, заключается в познании того, что не надо, что губительно для жизни человека, и немцы пристально, пристрастно наблюдают все явления природы, которые могут быть использованы для уничтожения враждебной им жизни, и фашисты использовали их на практике. Так, в том шта-лагере № 352, который мы посетили, до сих пор местность заражена блохами. Теперь, сравнительно, блох осталось ничтожное количество, но прежде, когда здесь обитали свой короткий предсмертный срок советские военнопленные, в лагере существовали миллиарды блох. Давно известна казнь посредством муравьев, известна также пытка повторяющейся долбящей каплей воды. В дополнение к этому знанию фашисты открыли, что достаточное, великое множество блох может измучить тело человека до того, что он расчешет его до костей, что он дойдет до безумия, что он обессилеет и падет в тщетной борьбе с мелким, но неисчислимым гадом, блохой.

С немецкой точки зрения, блоха, как и вошь, хороша тем, что она умножает среди обреченных некоторые заразные болезни и в этом смысле действует как одна пуля на сотню людей, умерщвляя их всех и тем экономя металлические боеприпасы. Немцы это учли в шта-лагере № 352, но они учли также и то неудобство, что блоха не понимает разницы меж русским и немцем и тот административный немец, который сам жил в лагере, вынужден был ограждать себя от блох дополнительными мероприятиями, что вызвало расходы и хлопоты, поэтому работа блох не являлась совершенной. Такое обстоятельство, возможно, озадачило немецкую мысль и поставило новую проблему перед их главной наукой — наукой о массовом, быстром, экономном и бесследном истреблении человечества. Эта проблема заключается в изобретении блохи, не вкушающей немца.

В комбинате лагерей вокруг Минска — хутор Петрошкевичи, урочище Уручье, урочище Дрозды, деревня Тростенец, урочище Шашковка, деревня Малый Тростенец, Тучинка и других — фашисты применяли всю, так сказать, композицию средств истребления, от голода до газа и огня, всю свою «промышленность» для производства массовой смерти советского народа. И более того, они ввели здесь утилизацию золы и пепла от сожженных трупов для удобрения почвы в подсобном хозяйстве, продукты с которого шли на улучшение стола немецкой полиции (урочище Шашковка, что в полкилометре от деревни Тростенец). Мы уже знаем, что в Майданеке немцы собирались применять или применяли водогрейки-кубы с круглосуточной горячей водой для палаческих команд; эти водогрейни устанавливались на кремационных печах и обогревались отходящими газами печей, улучшая термический коэффициент использования тепловых установок. Здесь, в Шашковке, немцы открыли, пожалуй, наиболее совершенный способ бесследного уничтожения людей; они нашли последнее звено или заключительный процесс безостановочной обработки трупов. Это последнее звено им дала «агрохимия». То количество несгораемого праха, которое роковым образом все же остается от человека и является как бы уликой обвинения, может быть, оказывается, погружено в поверхность почвы, включено в химическую жизнь земли, использовано растениями на свое произрастание, и таким образом оно расточится без остатка и уйдет в вечную тайну, не оставив никаких улик. Кроме того, утилизация трупной золы в земледелии окажет серьезное влияние на повышение урожая, но это уже пойдет немцам в качестве премии за их инициативу, за их рациональные мероприятия.

Пепел шашковской кремационной печи, разбросанный на полях полицейского подсобного хозяйства, является фактом всемирного значения, даже в наше время великой

трагедии человечества, когда любое действие немцев, примененное ими с целью подавления и истребления свободных людей, уже не кажется новым. В шашковском пепле есть одна принципиальная новость или особенность: пепел трупов шел в конце концов на пищу палачам, иначе говоря — тот, кто умерщвляет, сам вынужден питаться останками умерщвленных; это, само по себе, является предзнаменованием великого возмездия.

В Шашковке сохранились живые свидетели. Они видели этот пепел удобрения для полицейских огородов. Они видели более того — в Шашковке была лишь одна печь, и притом довольно кустарного устройства (печь-яма); естественно, что печь работала с перегрузкой, потому что палаческие команды получали большие задания по уничтожению. Свидетели показали и детальный осмотр этой печи подтвердил, что расстрелы наших людей производились возле самого устья печи; когда же у немцев не было желания сначала расстреливать людей возле печи, а потом засовывать их трупы в печь, то есть совершать лишнюю работу, они приказывали обреченным влезать в печь самостоятельно, живым порядком, и расстреливали их уже внутри печи, а затем предавали сожжению. В отдельных же случаях, из экономии палаческих сил или для разнообразия, группы людей взрывались ручными гранатами… На вопрос о технике удобрения полицейских полей мы получили ответ от старого крестьянина, что трупный пепел был не мелкий, в нем были и кости, и несотлевшие пленки, и остатки внутренних органов человека, так что на кожуре созревавшего картофеля можно было заметить, например, присохшую к нему пленку человеческого органа, может быть — человеческого сердца…

В шта-лагере № 352 (для военнопленных) немцы обходились без «агротехники»; они здесь организовали для наших бойцов и офицеров массовую смертную агонию. Агония и быстрая последующая гибель десятков тысяч наших военнопленных устраивались простыми начальными средствами: голодом и непосильным, изнождающим физическим трудом. Затем страдания нарастали уже как бы сами по себе и вскоре приводили пленного воина к смерти. Голод, изможение, отсутствие всякого лечения и условий хотя бы для кратковременного отдыха и покоя, скученность, насекомые, моральное подавление, нечистота, холод — все это мгновенно размножало болезни: тиф, дизентерию, скоротечную чахотку.

Но фашисты, организовав в лагере 352 массовую агонию смерти для наших солдат и офицеров, не могли предоставить дело на самотек, чтобы одна эта агония постепенно унесла все жертвы в могилу. Немцы торопили и агонию: они убивали истощенных, умирающих советских воинов, до конца сохранявших свое достоинство, уходящих в вечность с открытыми глазами солдата и с терпеливым мужеством героя.

Вскрытие лишь одной массовой могилы на кладбище возле лагеря 352 показало следующее. В могиле лежали трупы мужчин в возрасте от 20 до 40 лет. Все они были без одежды, все голые. На трупах явственно были заметные увечья: повреждение черепов и головного мозга, у многих были размяты грудные клетки с обширными прижизненными повреждениями позвонков и переломом ребер и другие физические признаки пытки, увечья и убийства.

Все они были воинами Красной Армии, нашими солдатами и офицерами. Их личные документы, некоторые сведения об их жизни теперь находятся в наших руках: немцы не смогли или не успели их уничтожить.

Следы мучительной пытки на трупах наших павших воинов, провалы ранений, нанесенных тупыми, твердыми, тяжелыми предметами с огромной силой, являются доказательством, что и в плену, в агонии, накануне смерти наши воины продолжали сопротивление врагу и там они, уже безоружные, действовали как верные, непобежденные солдаты, вооруженные, как мечом, твердостью чести и духом долга; это согревало их холодеющее сердце в их последней обороне.

Кто же они были?.. В двухстах метрах от лагеря расположено кладбище. По официальным данным, на этом кладбище захоронено не менее 80 тысяч человек наших бойцов и офицеров. Действительное число жертв, после дополнительного и более точного расследования, несомненно, значительно увеличится. Столько покоится наших людей лишь

на этом, на одном кладбище, у деревни Глинище. Массовые могилы уже утратили подобие могил — они похожи на глинопесчаные бесплодные площади, приподнятые на полметра над окружающей местностью; некоторые из них имеют размер по поверхности до 40 метров в длину и до 30 метров в ширину. Могила не как холм в память погребенного здесь человека, но могила, как безымянная площадь, далеко и все более распространяющаяся по земле, — это есть новое архитектурное произведение главного немецкого зодчего Гитлера: оно, однако, может идти в сравнение с другим изобретением германского духа — трупным пеплом как удобрением для полицейских огородов; между прочим, в этой «агрикультуре» действительно есть какой-то экономический смысл самоокупаемости немецких палачей — самоокупаемость зверя — съешь убитого.

Далее творчество злодеев как бы усложняется. Оно принимает символическую форму. Примерно посреди кладбища шта-лагеря № 352 стоит большой крест. На кресте штампованная фигура Иисуса Христа из серого дешевого металла; ниже подножия Иисуса надпись по-русски: «Могила неизвестных русских солдат».

Здесь немцы ошиблись: русские солдаты, убитые, замученные и похороненные в могилах-площадях, в большинстве своем известны нам по именам, потому что документы о них остались, а следовательно, мы можем восстановить и их жизненную биографию; значит, определение в эпитафии — «неизвестные» — неправильно: нам известны наши солдаты, и мы сохраним их в памяти народа поименно, лично и отдельно, потому что мы народ, а не стадо…

Другая ошибка немцев гораздо серьезнее. Этим крестом с формально вежливой эпитафией враг хотел обмануть нас или кого-то другого, он хотел взять нас «на бога»: вот, дескать, и мы отдаем должное умершим. Но под этим крестом, в могилах-площадях лежат даже не целые трупы, а раздробленные скелеты. Зверь, конечно, может быть сентиментальным, но здесь нет и сентиментальности, здесь нет и подобия содрогания убийцы над прахом своих жертв. Здесь есть обыкновенный расчет глупого злодея — обмануть всех; глупец всегда уверен в своем уме и в своем благородстве, но более всего он уверен, что он обманет всех, а его никто. Но злодеев и не следует обманывать, их нужно уничтожать. В свое уничтожение злодей обычно не верит, а когда ему придет возможность удостовериться в своей гибели — он не успеет этого сделать и все равно не поверит; он и тогда попытается перехитрить всех, чтобы как-нибудь выкрутиться.

И посейчас стоит этот крест над сотней тысяч трупов советских солдат, убитых и умерщвленных в плену, в нарушение и поругание не только всех международных конвенций о военнопленных (об этом мы и не собираемся немцам напоминать), но и в надругание над честью и достоинством воина (убийство безоружного вне поля брани). Фашисты не знают смысла существования солдата и разума его действий, именно потому они и шумели о себе, как о солдатской нации, более чем любой другой народ, подобно тому как импотент более всех интересуется плодовитостью; и скажем еще, что именно отсутствие истинного, одухотворенного воина в рядах германской армии является одной из причин поражения фашистской армии. Немцы воспитали из своих солдат убийц, но действительный солдат — противоположность убийцы: смысл его близок смыслу матери. Если немцы захотят понять точнее, что это означает, пусть они обратятся к хорошо известным им русским солдатам…

Вокруг этого креста, памятника глупого, жестокого и самонадеянного лицемерия, сейчас осыпаются листья берез; стоит глубокая осень; шумит ветер в голых мертвеющих ветвях. Сколько великой юной силы навеки вдавлено немцами в эту землю!.. На некоторых могилах (всего их здесь около двухсот) есть маленькие деревянные кресты с дощечками, и на дощечках тех надписи — десять, пятнадцать фамилий, иногда указан и год и даже место рождения. Годы рождения: 1915, 1917, 1918, 1920, 1922-й… Иным из нас это будут братья, а иным уже дети. Это наши дети лежат. После десяти, пятнадцати фамилий немцы скромно добавляли: «и другие». Так можно у заставы большого города повесить доску с перечислением жителей и написать на ней: «Иванов, Петров и другие». Большие могилы-площади не имеют таких именных досок; у фашистов не хватало фантазии на них написать:

«Здесь лежит всего один человек».

Население мертвых, погибших в лагере 352, столь велико, что мы здесь находим и знакомых товарищей: Чумаков Георгий, Шмаков Сергей, Артемов Петр, Климентов Никита. Двое из них сержанты и двое — офицеры. Сержант Климентов Никита до армии был рабочий человек; он был буровым мастером на бурении глубоких разведочных скважин. Некогда он говорил мне, что когда-нибудь он пробурит в Советском Союзе такую глубокую скважину, что алмазный бур его достигнет великого подземного ювенильного моря — водоема девственной воды. Петр Артемов был поэтом. У него было впечатлительное разумное сердце художника, но у него не стало теперь жизни; немцы обратили его молодые кости в мертвый минерал, и кровь его стала лишь трупной жидкостью.

Но не все, далеко не все наши военнопленные лежат в окрестностях Минска на одном этом кладбище. В урочище Уручье есть десять огромных ям-могил. Там лежат трупы в семь слоев. Все трупы уложены вниз лицом, на многих из них сохранились остатки одежды и обуви. Среди этих трупов много наших танкистов, в карманах у них сохранились всякие документы; самому старшему из них не более тридцати лет. В могилах обнаружены целые насыпи стреляных гильз немецких винтовок; почти все военнослужащие, погребенные здесь, были застрелены в голову, причем расстрел военнопленных производился из винтовок и карабинов на очень близкой дистанции…

По предварительным подсчетам, в окрестностях Минска уничтожено не менее полутораста тысяч советских военнопленных, солдат и офицеров. Дальнейшее расследование может только увеличить эту цифру. Уничтоженное гражданское население не входит в указанное количество.

Невдалеке от некоторых могил и посейчас еще можно найти предметы и имущество, принадлежавшее живым, — гребенки, зубные протезы, ножики, солдатские котелки, пучки волос, костыли инвалидов, женские и детские башмаки, медные денежки, обрывок письма от матери — бедное добро мертвых…

В сумерки на пустынное военное кладбище бывшего шта-лагеря № 352 пришла одинокая женщина. Она опустилась на колени возле могилы, на которой была доска с именами погребенных…

Трудно утешить эту женщину и нашу общую мать — Родину. Но наша любовь к своему живому народу и наша память о мертвых и замученных обращена яростью и мщением к убийце-врагу, она действует огнем и оружием. Наша ненависть к противнику питается нашей любовью к своему народу, и поэтому наша энергия мщения неистощима.

Три солдата

…Она (Красная Армия) приняла на свою грудь, на свое оружие, ураганное давление германской армии, затомила на себе силу немцев и затем перешла в сокрушающее, упорное наступление, уничтожая вросшую в землю оборону противника..

Россия обильна людьми, и не числом их, — потому что Китай или Индия еще многолюднее и многосемейнее русского народа, — а разнохарактерностью и своеобразием каждого человека, особенностью его ума и сердца. Фома и Ерема, по сказке, братья, но вся их жизнь занята заботой, чтобы ни в чем не походить один на другого. Русский человек любит разнообразие: даже свои деревни он иногда сознательно строил непрочно и ненавечно, дабы не жалко их было переменить на другие, когда они погорят… Может быть, именно этим своеобразием национального характера объясняется такое странное и словно неразумное явление, как любовь нашего народа к пожарам, бурям, грозам, наводнениям, то есть к стихиям страшным, разрушительным и убыточным. Привлекающая тайна этих явлений для человека заключается в том, что после них он ждет для себя перемены жизни. Сюда же относится исторический процесс, в котором участвовала часть нашего народа, так называемое «землепроходство»: движение за Волгу, за Урал, через таежные дебри Сибири, — не движение, а проход с топором и огнем пожарища, не путешествие, а тяжкий

вековой труд, — в сторону Дальнего Востока и

Великого океана. Это отнюдь не легче подвига Магеллана, но с тою разницей, что в «землепроходстве» участвовала не маленькая группа людей, а целый крестьянский «мир». Конечно, здесь руководил народом экономический интерес, но экономический интерес, разрешаемый такими средствами, предполагает и зарождает в народе психологическое соответствие его хозяйственной цели, — особый порядок чувств и свое представление о действительности.

Поэтому столь трудно по большому количеству работы бывает описать, создать в словах образ основного героя Отечественной войны, его «главного генерала», — образ советского солдата, если желать описать его истинно, точно, индивидуально, не сберегая своих сил в обобщении, ибо в обобщении всегда скрывается умерщвление образа живого, отдельного человека, родственного каждому существу во всем сонме человечества, но не подобного, не равного ни одному из них.

К войне, раз уж она случилась, русский человек относится не со страхом, а тоже со страстным чувством заинтересованности, стремясь обратить ее катастрофическую силу в творческую энергию для преобразования своей мучительной судьбы, как было в прошлую войну, или для сокрушения всемирно-исторического зла фашизма, как происходит дело в нынешнюю войну.

Даже наше мирное население в прифронтовой полосе скоро утрачивает всякий страх к войне и обживает ее. Летом нынешнего года часто можно было наблюдать, как старик крестьянин обкашивает траву на зимний корм корове вокруг подбитого «тигра», а его хозяйка вешает рядно для просушки на буксирный крюк «фердинанда». А другой дед, не стерпев своего сердца при виде осыпающегося хлеба, косит ржаную ниву, с которой еще не убраны мины, действуя спокойно и уверенно, как бессмертный. Так можно «обжить» войну, свыкнуться с нею, пережив на опыте, что гул артиллерии, близкие разрывы снарядов и вопли авиационных бомб — не всегда смерть, а чаще всего лишь устрашение; но непрерывно устрашаться нельзя, — надо жить, а живому надо кормиться и, следовательно, работать.

Изо всех этих свойств натуры и характера русского человека, из особенностей его исторического развития рождается отношение к войне как к творческому труду, создающему судьбу народа. При этом человек не предается восторгу от труда войны, он терпит его лишь как необходимость, но и того бывает достаточно, чтобы испытывать постоянное спокойное счастье от сознания исполняемой необходимости.

Нам приходилось видеть красноармейцев и офицеров нашей армии, в которых это качество — творческое чувство войны — было основной сущностью их натуры и воинского поведения. И по нашим наблюдениям это новое, великое свойство советского солдата и офицера все более распространяется в нашей армии, являя миру образ нового воина. В нем, в этом человеческом свойстве, и содержится конкретное объяснение стойкости наших солдат в обороне и их настойчивость и терпение в наступлении. Ничего не совершается без подготовленности в душе, особенно на войне. По этой внутренней подготовленности нашего воина к битвам можно судить и о силе его органической привязанности к родине и о его мировоззрении, образованном в нем историей его страны.

В августовское утро, когда солнце освещает землю словно через опустевший воздух и поля уже золотятся сединой осени, возле фронтовой дороги стоял красноармеец Минаков Иван Ефимович. Правая рука у него была раненая, он держал ее на перевязке. Он без просьбы посмотрел на обгонявшую его попутную машину, и мы пригласили его, чтобы подвезти до госпиталя.

Согнувшись, красноармеец пролез в машину и бросил на пол шинель и вещевой мешок, чтобы его вещи не стеснили офицера.

Красноармеец был молод, лет двадцати пяти — семи на вид, с обычным солдатским лицом, обдутым ветром, обмытым дождями и высушенным зноем, и с ясными глазами. Должно быть, крепкая душа была у этого бойца, если и ранение, и долгая тягость войны еще не истомили его.

— Вы который раз ранены — первый? — спросил я у красноармейца.

— Четвертый, — улыбнулся Минаков. — Два осколка от мины во мне живут: один в шее, другой в бедре… А сам я за войну пятерых уложил да подранил несколько… Это — ничего!

Он считал свои раны вполне оправданными и свое положение, по сравнению с неприятелем, выгодным.

— В эту руку уж второй раз попадают! — сказал Минаков.

— Срастется? — спросил я.

— Ну конечно, срастется! — убедительно произнес Минаков. — Место уже битое, оно привыкло заживать… Через месяц опять дома буду — в своей части.

— Когда же вы из боя вышли?

— Да нынче… Уж солнце встало, как мы населенный пункт взяли…

— Какие потери были в вашем подразделении?

— Потерь в людях не было, товарищ капитан… Один я подранен, да еще одного бойца оглушило. А немцев тоже там мало было, мы их хотели перебить, а потом взяли всех в плен живьем, — в языках нужда была.

— Что ж, у вас большой перевес был?

Минаков смутился и застеснялся чего-то.

— Да нет, одним сводным батальоном в атаку пошли… Воевали теперь с расчетом и умыслом, давно ведь уж воюем и делом интересоваться стали, да и к врагу привыкли…

Я понял солдатскую совесть Минакова: ему неудобно было сознаться, что его батальон истощился людьми — и пришлось брать деревню сводным батальоном, с бойцами, сведенными из других подразделений. В этом, однако, не было ничего, что бесчестило бы солдата, потому что та часть, в которой служил Минаков, с пятого июля, с первого часа немецкого наступления, была в боях без выхода. Она приняла на свою грудь, на свое оружие ураганное давление германской армии, измотала на себе силу и обескровила немцев и затем перешла в сокрушающее наступление, уничтожая вросшую в землю оборону противника.

И все же Минаков, видимо, стеснялся того, что его батальон был сводным, а не состоял, как прежде, сплошь из своих, привыкших друг к другу кадровых бойцов.

— Упираются немцы? — спросил я у Минакова.

— Сила у них есть…

— Что ж они не стоят?

— Веры у них не стало. А без веры солдат, как былинка, — он умереть еще может, а одолеть ему неприятеля уже трудно бывает… А что смерть без дела?

— Была же у них вера…

— Была, конечно. А теперь она об нас истерлась… Теперь томиться немцы стали.

Госпиталь помещался в разрушенном поселке. Минаков сказал, чтоб остановили машину, улыбнулся на прощанье и поблагодарил за доставку. А потом, чтоб не задерживать нас, быстро отворил дверцу здоровой рукой, выбросил на землю вещевой мешок, шинель и пошел выздоравливать.

Через несколько дней я посетил тот батальон, в котором служил Минаков. Батальон в то время был отведен на отдых во второй эшелон.

В этом батальоне среди прочих служили два человека: один был старослужащий, сорокалетний старший сержант Прохоров, в начале войны бывший рядовым, а другой был солдат Алеев, родом татарин, пришедший в армию полгода назад. В армии есть скучные, повторяющиеся, но необходимые дела — уход за оружием, содержание в порядке своей одежды и личных вещей, исполнение нарядов по охране и обслуживанию общевоинского добра и прочее. И сержант, и рядовой боец выполняли эту работу, однако, с удовольствием, с тихим рачительным усердием…

Я подумал, что они — люди обыденной мирной жизни и сражаются, должно быть, худо.

Это наблюдение и привлекло меня к ним. Рябой и сосредоточенный Прохоров, как я

услышал, к тому же был и скупой человек, и скупость его имела уже как бы неразумное значение. Он мог, склонившись на дороге, поднять комок земли и кинуть его на поле, — чтоб и этот комок тоже мог рожать зерно, а не растаптываться без пользы в прах ногами. Поверх головок своих сапог он обувал лапти, чтобы сапоги не снашивались столь скоро и народ как можно дольше не беднел от войны, обувая своих солдат в дорогую кожу. Позже я увидел, что ошибся, и понял, что скупость ко всем предметам, составляющим достояние родины, есть постоянное скромное выражение страстной любви к ней.

Аккуратно исполнительный, Алеев любил чистить и смазывать винтовки и автоматы, и он мог даже производить им небольшой полевой ремонт. До войны Алеев работал в машинно-тракторной мастерской по плужному делу и прицепному инвентарю.

Я спросил у Алеева, что его интересует в жизни.

— Хлебопашество, — сказал Алеев. — Я хлеб в поле любил.

— А война? На войне хлеб не сеют…

— Война против фашистов — такое же святое дело, как хлебопашество, — ответил Алеев. — Зачем будет хлеб, когда народ от немца помрет? Кто будет кушать?

Я не понял Алеева.

— На войне и погибают люди. Может, и ты и я погибнем…

— Может, — согласился Алеев. — Зато в тылу народ целым останется. Ты считай сам, я убью десять немцев, а они убили бы тысячу нашего народа, если б жить стали и по нашей земле пошли. Ты считай, сколько я людей уберегу! А сам помру — не жалко, от меня польза останется. Опять хлебопашество будет, народ рожаться будет, — лучше меня будут люди.

И с терпеливым усердием Алеев склонился над своей работой: он сейчас ремонтировал расстроенный, изработавшийся автомат, причем работал он с тем же удовольствием, с каким в былое время настраивал плужную систему для трактора.

Через два дня батальон, отдышавшись в ближнем тылу, был перемещен в первый эшелон и вступил в дело.

Прохоров, Алеев и младший лейтенант Сухих назначены были идти в ближнюю разведку. Им дали задачу — разведать дорогу в дебрях минных полей на подходах к укрепленному рубежу противника. Нужно было пройти небольшое расстояние, однако пройти его следовало ночью, на ощупь, пересчитав и высмотрев каждую былинку.

Но в ту же ночь немцы, предчувствуя наш удар, открыли огонь по нашей стороне, а затем пустили свои танки в атаку. Машины врага были встречены нашим пушечным и бронебойным огнем. Сухих, Прохоров и Алеев остались одни, как сироты, в промежуточном поле, накрываемом нашим огнем. Кроме отсветов от разрывов, поле осветилось ракетами, досланными сюда нашими войсками. Сухих, Прохоров и Алеев вжались в землю, но это их положение было малополезным для боя и не обещало им самим надежного спасения. Алеев, полежав немного, сказал на ухо младшему лейтенанту Сухих:

— Так лежать — я буду изменник, давай воевать…

— Сейчас, — ответил Сухих; он следил, как, маневрируя среди собственного минного поля, проходят немецкие танки, и старался запомнить безопасные проходы.

Под светом ракеты Алеев ясно увидел заблестевшие взрыватели трех противотанковых мин.

— Прохоров, — сказал Алеев, — товарищ сержант… Бояться будем, умрем нехорошо…

Два танка с тяжкой стремительностью прошли мимо троих наших солдат.

— Нам чужого добра не жалко! — крикнул Прохоров.

Он подполз к одной мине и стал отрывать ее. Алеев догадался, в чем был смысл работы Прохорова, и подполз к соседней мине. Отрывши ее, он сказал Прохорову, чтобы сержант положил обе мины — свою и его — ему на спину, а он повезет, ползя на животе, куда нужно. Прохоров погрузил мины на Алеева и пополз с ним рядом, следя, чтобы груз лежал в покое…

С немецкого рубежа вышла новая группа танков; теперь уже оттуда шло много машин,

и за ними должна быть пехота.

— Уходи! — сказал Алеев Прохорову. — А я мало побуду здесь.

Они выбрались на чистый проход, по которому до того прошли танки.

Алеев лежал ничком с минами на спине, задумав сгрузить с себя мины, когда первый же танк подойдет поближе и ясно станет его направление.

— Нет! — крикнул Прохоров. — Риск — не расчет! Ты нам тоже не дешевый — живи!.. Соображай за мной!

К ним подполз Сухих.

— Сгружайте мины здесь! — приказал офицер. — Потом — давай сразу в сторону!

Сгрузив мины на грунт, все трое отползли подалее.

Они увидели, как засветился во мгновенном взрыве немецкий танк и даже приподнялся немного над землей, точно хотел взлететь; затем добавочно сверкнул из отверстий корпуса внутренний взрыв, и весь танк изувечился.

Сухих вскочил и крикнул:

— Давай за мной вперед на врага!

Все трое залезли в развалину танка, где все-таки было безопасней, чем в чистом поле. Прохоров сейчас же озаботился, чтобы не было у них за броней ничего постороннего и ненужного: он высадил наружу через отверстый люк трупы танкистов, а затем хотел спустить от греха горючее из бака, но бак был уже сплющен и пуст.

Освоившись и разобравшись немного в стальной теснине корпуса, сжатого увечьем, трое людей опять стали слышать битву.

Танки неприятеля прошли мимо них по полю, озаренному светом ракет, и за ними мчалась пехота, припадая к земле от света и разрывов и снова стремясь вперед.

— Ссечь их! — крикнул младший лейтенант Сухих и ударил из автомата по пехотинцам, бегущим вслед машинам.

Прохоров и Алеев также пустили в дело свои автоматы, и ближние немцы стали припадать к охлажденной земле, уже орошенной ночной росой.

— Живее бей! — ускорял огонь Сухих. — Спускай им душу в дырку через сердце.

Прохоров и Алеев, сосредоточившись в работе, чувствовали себя спокойно. Немцы, умирая возле своего мертвого танка, но успевали понять источника своей гибели.

Сухих стрелял непрерывно: он мало верил, что удастся дожить до рассвета, и не хотел, чтобы бесполезно остался при нем боезапас.

Постепенно бой ушел за танками в сторону, и тогда трое русских солдат опомнились и передохнули.

— Ничего, — сказал Сухих.

— Ничего, — согласились с ним Прохоров и Алеев.

На них тихо, без стрельбы, надвинулся из тьмы немецкий танк и остановился у буксирного крюка подбитой машины.

— За своим добром приехали, — сказал Прохоров. — Это правильно.

Крышка люка прибывшего танка открылась, и из машины вылезли два немца.

Алеев хотел посечь немцев огнем, но Сухих не велел ему.

— У них пушка в машине и пушкарь внутри сидит, — сказал офицер. — Нам толку не будет.

Сцепив танки тросами, немцы подобрали трупы своих танкистов и положили их на броню здорового танка-тягача. Потом они вернулись и полезли через люк внутрь увечной машины, по здесь они остались молчать замертво в руках советских солдат.

Сцепленный танк-тягач теперь стоял близко, и пушка его была не опасна на такой дистанции. Живые немцы в здоровом танке обождали немного своих товарищей, а затем потянули больной танк в свою сторону. Пройдя небольшое расстояние, танк-тягач остановился, потому что трупы свалились с его брони на землю. Теперь ракет уже давно не было в небе и было темно, но советские солдаты приноровились глазами ко мраку и чутко следили, что будет далее впереди них. Двое немцев показались сверху из тягача и спрыгнули

вниз. Они вновь подняли своих мертвых с земли и положили их обратно на машину, — как было. Затем один из них, недовольно бормоча, пошел к больному танку.

— Кончай! — сказал Сухих; он сам дал краткую очередь, и враги пали мертвыми.

Прохоров и Алеев бросились к здоровому танку и забрались в него.

Но гром боя опять стал возвращаться сюда, на прежнее место. Наши части контратаковали неприятеля и повернули его обратно, откуда он вышел. Немецкая колонна танков шла теперь назад, расстроенная, словно щербатая: из нее выбили много машин, и они омертвели на поле сражения. Прохоров и Алеев, равно и Сухих, остерегаясь огня, остались сидеть за броней немецких танков, полагая, что красноармейцы разглядят, в чем тут дело, и не станут тратить прицельного огня по умолкшим машинам. Сухих сидел один с двумя мертвыми немцами, а Прохоров и Алеев были вдвоем в здоровой машине.

На рассвете в здоровый немецкий танк влез для проверки механизма советский танкист и, дав мотору обороты, повел всю сцепленную систему в русскую сторону.

На русской стороне мы вновь встретились с Прохоровым, Алеевым и офицером Сухих. Алеев явился в штаб части с ребенком на руках, цыганским мальчиком лет восьми на вид. А Прохоров тоже был не пустой: он принес мешочек семян многолетнего клевера.

Цыганского мальчика они обнаружили внутри немецкого танка. Напуганный ребенок не мог объяснить, зачем его взяли в машину, а немцы, что были с ним, все теперь умерли, и спросить было не у кого. Может быть, немцы возили ребенка с собой как амулет, как заклятие против своей смерти. А может быть, тут был расчет: дескать, когда погибнем мы, погибнешь и ты, маленький грустный звереныш, и нам легче оттого, что и тебя после нас не будет на свете. Для человека смерть красна на миру, потому что мир по нем тоскует; для немца смерть красна, когда и мир или хоть малая живая доля его погибает вместе с ним.

Прохоров нашел мешочек с семенами внутри танка, в вещевом ящике, и решил взять его на родину в хозяйство, потому что поля войны зарастают жестким бурьяном, с листьями, как железная стружка, несъедобными для скотины, а в мешке все же были семена сладкого клевера.

Сухих отобрал цыганского мальчика от Алеева к себе на руки, осмотрел и освидетельствовал подробно тело ребенка — все ли оно было цело и невредимо после сражения — и сказал красноармейцу:

— Это хороший мальчуган: он весь теплый и живой!

1944

Афродита

«Жива ли была его Афродита?» — с этим сомнением и этой надеждой Назар Фомин обращался теперь уже не к людям и учреждениям — они ему ответили, что нет нигде следа его Афродиты, — но к природе, к небу, к звездам и горизонту и к мертвым предметам. Он верил, что есть какой-либо косвенный признак в мире или неясный сигнал, указывающий ему, дышит ли еще его Афродита или грудь ее уже охладела. Он выходил из блиндажа в поле, останавливался перед синим наивным цветком, долго смотрел на него и спрашивал наконец: «Ну? Тебе там видней, ты со всей землей соединен, а я отдельно хожу, — жива или нет Афродита?» Цветок не менялся от его тоски и вопроса, он молчал и жил по-своему, ветер шел равнодушно поверх травы, как он прошел до того, быть может, над могилой Афродиты или над ее живым смеющимся лицом. Фомин смотрел вдаль, на плывущие над горизонтом, сияющие чистым светом облака и думал, что оттуда, с высоты, пожалуй, можно было бы увидеть, где находится сейчас Афродита. Он верил, что в природе есть общее хозяйство и по нему можно заметить грусть утраты или довольство от сохранности своего добра, и хотел разглядеть через общую связь всех живых и мертвых в мире еле различимую, тайную весть о судьбе своей жены Афродиты — о жизни ее или смерти.

Афродита исчезла в начале войны среди народа, отходившего от немцев на восток. Сам

Назар Иванович Фомин был в то время уже в армии и не мог ничем помочь любимому существу для его спасения. Афродита была женщина молодая, смышленая, уживчивая и не должна потеряться без следа или умереть от голодной нужды среди своего народа. Допустимо, конечно, несчастие на дальних дорогах или случайная гибель. Однако ни в природе, ни в людях нельзя было заметить никакого голоса и содрогания, отвечающего печальной вестью открытому, ожидающему сердцу человека, и Афродита должна быть живой на свете.

Фомин предался воспоминанию, повторяя в себе однажды пережитое неподвижностью вечного остановленного счастья. Он увидел памятью небольшой город, освещенный солнцем, ослепительные известковые стены и черепичные кровли его домов, фруктовые сады, растущие в теплом блаженстве под синим небом. В полуденный час Фомин шел обычно завтракать в кафе, что было неподалеку от конторы огнестойкого строительства, в которой он служил производителем работ. В кафе играл патефон. Фомин подходил к буфету, просил себе сосисок с капустой, так называемую «летучку», то есть соленый горох, который бросается в рот свободным полетом, и брал вдобавок кружку пива. Женщина, специально работающая на пиве, наливала напиток в кружку, а Фомин следил за пивной струей, принципиально требуя, чтобы ему наливали по черту и не заполняли ёмкости пустою пеной; в этой ежедневной борьбе с пивной пеной он ни разу внимательно не посмотрел в лицо женщины, служащей ему, и не помнил ее, когда уходил из кафе. Но однажды та женщина глубоко, нечаянно вздохнула в неурочное время, и Фомин долгим взором посмотрел на женщину за стойкой. Она тоже смотрела на него; пена переполнила кружку, а служащая, забывшись, не обращала на то внимания. «Стоп!» — сказал ей тогда Фомин и впервые обнаружил, что женщина была молодою, ясной на лицо, с темными блестящими глазами, странно соединяющими в своем выражении задумчивость и насмешку, с дремучими, с дикою силой растущими черными волосами на голове. Фомин отвел от нее свой взор, но чувство его уже прельстилось образом этой женщины, и то чувство не стало затем считаться ни с его разумом, ни со спокойствием его духа, а пошло вразрез им, уводя человека к его счастью. Он смотрел тогда на пивную пену на столе и был уже равнодушен, что пена полнится напрасно на мраморной плоскости стойки. Позже он с улыбкой назвал Наталью Владимировну Афродитой, образ которой явился для него тоже поверх пены, хотя и не морской воды, а другой жидкости. И вместе со своей Афродитой Назар Иванович прожил, как муж с женой, двадцать лет, если не считать одного перерыва в два с половиной года, и лишь война разлучила их; а теперь он тщетно спрашивает о ее судьбе у растений и у всех добрых тварей земли и даже всматривается с тем же вопросом в небесные явления облаков и звезд. Справочное бюро об эвакуированных усиленно и давно разыскивало Наталью Владимировну Фомину, но пока еще не отыскало ее. Ближе Афродиты у Назара Ивановича не было человека; он всю жизнь привык с ней беседовать, потому что это помогало его размышлению и внушало ему доверие к делу, которое он исполнял. И ныне, на войне, четвертый год находясь в разлуке с Афродитой, Назар Иванович Фомин в каждое свободное время пишет ей длинные письма и отправляет их в справочное бюро эвакуированных в Бугуруслан, — с тем, чтобы эти письма были вручены адресату по нахождении его. За войну уже много таких писем, наверное, скопилось в справочном бюро — иные из них будут вручены, иные никогда, и сотлеют без прочтения. Назар Иванович писал жене спокойно и обстоятельно, веря в ее существование и в будущую встречу с ней, но еще ни разу не получил ответа от Афродиты. Красноармейцы и офицеры, которыми командовал Фомин, тщательно следили за почтой, чтобы не утратилось письмо, адресованное командиру, потому что он был чуть ли не единственный человек в полку, который не получал писем ни от жены, ни от родственников…

Теперь давно миновали те счастливые мирные годы. И они не могли длиться постоянно, ибо и счастье должно изменяться, чтобы сохраниться. В войне Назар Иванович Фомин нашел другое свое счастье, иное, чем прежний мирный труд, но тоже родственное ему; после же войны он надеялся узнать более высшую жизнь, чем та, которую он уже

испытал, будучи тружеником и воином.

* * *

Наши авангардные части заняли тот южный город, в котором до войны жил и работал Фомин. Полк Фомина шел в резерве и не был пущен в дело за отсутствием в том нужды.

Полк Фомина расположился в районе города во втором эшелоне, чтобы двинуться затем в дальний марш на запад. Назар Иванович в первую же дневку написал письмо Афродите и пошел на побывку в самый милый город для него на всей русской земле. Город был раздроблен артиллерийским огнем, сожжен пламенем пожаров, а прочные здания его были взорваны врагом в прах. Фомин уже привык видеть истоптанные машинами хлебные нивы, израненную траншеями землю и срытые ударами огня поселения людей; это была пахота войны, где посевалось в землю то, что никогда не должно вновь произрасти на ней, — трупы злодеев, и то, что было рождено для доброй деятельной жизни, но обречено лишь вечной памяти, — плоть наших солдат, посмертно стерегущих в земле павшего неприятеля.

Фомин прошел через фруктовый сад к тому месту, где находилось некогда кафе Афродиты. Был декабрь месяц. Голые плодовые деревья остыли на зиму и занемели в грустном сне, и протянутые ветви их, державшие в осень плоды, теперь были рассечены очередями пуль и беспомощно повисали книзу на остаточных волокнах древесины, и лишь редкие ветви сохранились в здоровой целости. Многие же деревья были вовсе спилены немцами прочь как материал для постройки обороны.

Дом, где двадцать с лишним лет тому назад находилось кафе, а затем было жилище, сейчас лежал раскрошенный в щебень и мусор, убитый и умерший, выдуваемый ветром в пространство. Фомин еще помнил обличье этого дома, но скоро, за временем, и оно стушуется в нем, и он забудет его. Не так ли где-либо в дальнем, заглохшем поле лежит теперь холодное, большое, любимое тело Афродиты, и его снедают трупные твари, оно истаивает в воде и воздухе, и его сушит и уносит ветер, чтобы все вещество жизни Афродиты расточилось в мире равномерно и бесследно, чтобы человек был забыт.

Он пошел далее на окраину города, где проживал в детстве. Безлюдье студило его душу, поздний посмертный ветер веял в руинах умолкших жилищ. Он увидел место, где жил и играл в младенчестве. Старый деревянный дом сгорел по самый фундамент, искрошившаяся от сильного жара черепица лежала поверх его детской обители на опаленной земле. Тополь во дворе, под которым маленький Назар спал в летнее время, был спилен и лежал возле своего пня, умерший, с истлевшей корой.

Фомин долго стоял у этого дерева своего детства. Онемевшее сердце его стало вдруг словно бесчувственным, чтобы не принимать больше в себя печали. Затем Фомин собрал несколько уцелевших черепиц и сложил их маленьким правильным штабелем, точно делая заготовку материала для будущего строительства или собирая семена, чтобы снова посеять Россию. Эта черепица и вся другая, что есть в округе, была сделана в мастерских, которые учредил здесь в старое мирное время Фомин и которыми он ведал целые годы.

Фомин пошел в степь; там в двух верстах от города он заложил и построил когда-то свою первую прудовую плотину. Он был тогда счастливым строителем, но сейчас грустно и пусто было поле его молодости, изрытое войной и бесплодное; незнакомые былинки изредка виднелись на талом мелком снегу и, равнодушные к человеку, покорно колебались под ветром… Земляная плотина была взорвана в середине своего тела, и водоем осох, а рыбы в нем умерли.

Фомин возвратился в город. Он нашел улицу имени Шевченко и дом, в котором он жил после возвращения из Ростова, когда окончил там политехническое училище. Дома не было, но осталась скамья; она стояла раньше под окнами его квартиры; он сидел по вечерам на этой скамье, сначала один, а позже с Афродитой, и в этом, ныне погибшем, доме они жили тогда вдвоем в одной комнате, с окнами на улицу. Отец его, мастер литейного завода, скоропостижно умер, когда Фомин еще учился в Ростове, а мать вышла вторично замуж и

уехала на постоянное жительство в Казань. Юный Назар Фомин остался жить тогда одиноким, но весь мир, освещенный солнцем, полный привлекательных людей, влекущий мир юности и нерешенных вечных тайн, мир, еще неустроенный и скудный, но одушевленный надеждой и волей рабочих-большевиков, — этот мир ожидал юношу, и знакомая родная земля, оголодалая, оголенная бедствиями первой мировой войны, лежала перед ним.

Фомин сел на скамью, где много летних тихих вечеров он провел в беседах и в любви с Афродитой. Теперь перед ним был пустой, разрушенный мир, и лучшего друга его уже, может быть, не стало на свете. Все надо теперь сделать сначала, чтобы продолжать задуманное еще четверть века тому назад.

Наверно, совсем иначе направилась бы жизнь Назара Фомина, если бы в минувшие дни юности его не воодушевила вера в смысл жизни рабочего класса. Он бы, возможно, прожил свою жизнь более спокойно, но уныло и бесплодно; он бы имел свою отдельную участь, но он не узнал бы той судьбы, когда, доверив народу лишь одно свое сердце, он почувствовал и узнал больше, чем положено одному, и он стал жить всем дыханием человечества. Одному человеку нельзя понять смысла и цели своего существования. Когда же он приникает к народу, родившему его, и через него к природе и миру, к прошлому времени и будущей надежде, — тогда для души его открывается тот сокровенный источник, из которого должен питаться человек, чтоб иметь неистощимую силу для своего деяния и крепость веры в необходимость своей жизни.

Советская Россия тогда только начала свою судьбу. Народ направился в великий, безвозвратный путь — в то историческое будущее, куда еще никто впереди него не шествовал: он пожелал найти исполнение всех своих надежд, добыть в труде и подвигах вечные ценности и достоинство человеческой жизни и поделиться ими с другими народами… Фомин видел в молодости на Азовском море одно простое видение. Он был на берегу — и одинокое парусное рыбачье судно уходило вдаль по синему морю под сияющим светло-золотым небом; судно все более удалялось, белый парус его своим кротким цветом отражал солнце, но корабль долго еще был виден людям на берегу; потом он скрылся вовсе за волшебным горизонтом. Назар почувствовал тогда тоскующую радость, словно кто-то любящий его позвал за собою в сияющее пространство неба и земли, а он не мог еще пойти за ним вослед. И подобно тому кораблю, исчезающему в даль света, представилась ему в тот час Советская Россия, уходящая в даль мира и времени. Он помнил еще какой-то полуденный час одного забытого дня. Назар шел полем, спускаясь в балку, заросшую дикой прекрасной травою; солнце с высоты звало всех к себе, и из тьмы земли поднялись к нему в гости растения и твари — они были все разноцветные, каждый — иной и не похожий ни на кого: кто как мог, тот так сложился и ожил в земле, лишь бы выйти наружу, дыша и торжествуя, и быть свой срок на всеобщем свидании всего существующего, чтобы успеть полюбить живущих и затем снова навсегда разлучиться с ними. Юный Назар Фомин почувствовал тогда великое немое горе вселенной, которое может понять, высказать и одолеть лишь человек, и в этом состоит его обязанность. Назар обрадовался в то время своему долгу человека; он знал наперед, что выполнит его, потому что рабочий класс и большевики взяли на себя все обязанности и бремя человечества и посредством героической работы, силою правильного понимания своего смысла на земле, рабочий народ исполнит свое назначение, и темная судьба человечества будет осенена истиной. Так думал Назар Фомин в юности. Он тогда больше чувствовал, чем знал, он еще не мог изъяснить идею всех людей ясными словами, но для него было достаточно одной счастливой уверенности, что сумрак, покрывающий мир и затеняющий человеческое сердце, не вечная тьма, а лишь туман перед рассветом.

Сверстники Назара Фомина, комсомольцы и большевики, были одушевлены тою же идеей создания нового мира, они, так же как и Назар, были убеждены, что они призваны Лениным участвовать во всемирном подвиге человечества — ради того, чтобы началось, наконец, на земле время истинной жизни, чтобы исполнились все надежды людей, чего они

заслужили веками труда и смертных жертв, которые они сберегли в долгом опыте и в терпеливом размышлении…

По окончании специального училища в Ростове-на-Дону Назар Фомин вернулся на родину, в этот же город, где он сидел сейчас в одиночестве. Назар стал тогда техником-строителем, и началось деяние его жизни. Все материальное, серое и обыкновенное он принял столь близко к сердцу, что оно стало для него духовным и питало его страсть к работе. Сейчас он уже не помнил — сознавал ли он в то время, что все действительно возвышенное рождается лишь из житейской нужды; но он своими руками делал тогда это превращение материального в духовное, и он верил в правду революции, потому что сам совершал ее и видел ее действие на судьбе народа.

Назар Фомин заведовал вначале сельским огнестойким строительством в районе; это считалось небольшой должностью. Но он воодушевился этой работой, он принял ее в свое сердце не как службу, но как смысл своего существования, и смотрел страстными глазами на впервые изготовленное в кустарной мастерской черепичное изделие; он погладил тогда первую черепичную плитку, понюхал ее и унес к себе в комнату, где жил, чтобы вечером и наутро еще раз рассмотреть ее — действительно ли она вполне хороша и прочна, чтобы на долгие годы лечь вместо соломы в кровлю сельских хат и тем сберечь крестьянские жилища от пожаров. Он тогда же изучил статистику пожаров в своем районе по земским сведениям и рассчитал, что если черепица заменит соломенную кровлю, то крестьянство от одной экономии на убытках от огня может, например, через три года построить в каждом селе по артезианскому колодцу с обильной здоровой водой или еще что-либо, а в последующие три-четыре года можно на те же средства, спасенные черепицей от огня, построить местную электрическую станцию с мельницей и крупорушкой. От этих соображений Назар Фомин мог, не скучая, долго смотреть на черепичную плитку и думать о том, как ее сделать еще прочнее и дешевле, — черепица была тогда его чувством и переживанием, она заменяла ему книгу и друга-человека; позже он понял, что никакой предмет не может заменить ему человека, но в молодости ему хватало одного воображения человека.

Бывают времена, когда люди живут лишь надеждами и ожиданием перемены своей судьбы; бывает время, когда только воспоминание о прошлом утешает живущее поколение, и бывает счастливое время, когда историческое развитие мира совпадает в людях с движением их сердец. Назар Фомин был человеком счастливого времени своего народа, и вначале, как многие его сверстники и единомышленники, он думал, что наступила эпоха кроткой радости, мира, братства и блаженства, которая постепенно распространится по всей земле. Для того чтобы это было в действительности, достаточно лишь строить и трудиться: так верил тогда молодой человек Фомин.

И Назар Фомин создал себе душевный покой любовью к жене Афродите и своей верностью ей; он мирил тем в себе все смутные страсти, увлекавшие его в темные стороны чувственного мира, где можно лишь бесполезно, хотя, может быть, и сладостно расточить свою жизнь, и он отдал свои силы работе и служению идее, ставшей влечением его сердца, — тому, что не расточало человека, а вновь и непрерывно возрождало его, в чем стало состоять его наслаждение, не яростное и измождающее, но кроткое, как тихое добро.

Назар Фомин в те времена был занят, как и его поколение людей, одухотворением мира, существовавшего дотоле в убогом виде, в разрозненности и без общего ясного смысла.

В начале своей работы Фомин делал черепицу для огнестойких покрытий; затем его обязанности увеличились, и вскоре он был избран заместителем председателя поселкового Совета, а по действительному значению своей деятельности он стал главным инженером всех работ в поселке и в окружающем его районе. Тогда еще этот город считался слободой, которая являлась районным или волостным центром.

Фомин строил плотины в сухой степи для водопоя скота, он рыл колодцы в поселках с креплением из бетонных колец и замащивал дороги по всей округе из местной породы камня, чтоб всеми средствами одолеть бедность хозяйства и приобщить ко всему народу одинокую крестьянскую душу.

Но он уже тогда думал о более существенном, и даже в сновидениях одна и та же дума продолжалась в нем, обнадеживая его счастьем. Два года Фомин готовил свое дело, пока районный исполком не доверил ему начать его. Это дело состояло в постройке в слободе электрической станции, с постепенным расширением электрической сети от нее на всю волость — район, чтобы дать народу свет для чтения книг, машинную силу в облегчение его труда и тепло в зимнее время для отопления жилищ и скотных помещений. От исполнения этой простой мечты весь уклад жизни населения должен измениться, и человек тогда почувствует освобождение от бедности и горя, от тягости труда, измождающего его до костей и все же ненадежного, не дающего ему жизненного благополучия…

Тени воспоминания проходили сейчас по лицу полковника Фомина, сидевшего посреди руин поврежденного города, который он некогда создал со своими товарищами. Воспоминания запечатлевали на его лице то улыбку, то грусть, то спокойное воображение давно минувшего.

Он построил тогда электрическую станцию. В клубе волполит-просвета был бал в честь открытия к действию мощной по тому времени силовой электроустановки, и Афродита тогда танцевала на том балу, освещенном сиянием электричества, под оркестр из трех баянов, и она была счастливее самого Назара, потому что дело ее мужа удалось.

Но трудно было тогда Фомину вести постройку. Волостных средств отпустили по бюджету мало; потребовалось поэтому разъяснить всему населению волости пользу электричества, чтобы народ вложил в постройку станции и электрической сети свой труд и свои сложенные вместе скопленные средства. Ради того Фомин организовал тогда тридцать четыре крестьянских товарищества по электрификации и объединил их в волостной союз. Это стоило ему много сердца, тревоги и беспокойного труда. Он вспомнил одну крестьянскую девушку-сироту, Евдокию Ремейко; родители оставили ей небольшое девическое приданое, она без остатка внесла его в свой пай и потом усерднее и охотнее многих работала как плотник второй руки на постройке здания станции. Сейчас Евдокия Ремейко если еще жива на свете, то она уже пожилая женщина, а была бы она молодая, то служила бы, наверное, в Красной Армии или воевала в партизанском отряде. Фомин вспомнил еще многих людей, работавших с ним тогда, — крестьян и крестьянок, слободских жителей, стариков и юношей. Они со всей искренностью и чистосердечием, изо всего своего умения строили новый мир на земле: их затаенные, сдавленные способности объявились тогда наружу и начали развиваться в осмысленной благодатной работе;

их душа, их понимание жизни светлели и росли тогда, как растут растения из земли, с которой сняты каменные плиты. Станция еще не была вполне достроена и оборудована, а Фомин уже видел с удовлетворением, что ее строители — крестьяне, работавшие добровольно сверх своего хлебного труда на полях, настолько углубились в дело и почувствовали через него интерес друг к другу и свою связь с рабочим классом, сделавшим машины для производства электричества, что убогое одиночество их сердец отошло от них, и единолично-дворовое равнодушие ко всему незнакомому миру и страх перед ним также стали оставлять их. Правда, в тайном замысле каждого человека есть желание уйти со своего двора, из своего одиночества, чтобы увидеть и пережить всю вселенную, но надо найти посильные и доступные для всех пути для того. Старый крестьянин Еремеев выразил тогда Фомину свою смутную мысль о том же: «Иль мы не чувствуем, Назар Иванович, что Советская власть нам рыск жизни дает: действуй, мол, радуйся и отвечай сам за добро и за лихо, ты, мол, теперь на земле не посторонний прохожий. А прежде-то какая жизнь была: у матери в утробе лежишь — себя не помнишь, наружу вышел — гнетет тебя горе и беда, живешь в избе, как в каземате, и света не видать, а помер — лежи смирно с гробу и забудь, что ты был. Повсюду нам было тесное место, Назар Иванович, — утроба, каземат да могила — одно беспамятство; и ведь каждый всем мешал! А теперь каждый всем в помощь — вот она где Советская власть и кооперация!»

Где тот старик Еремеев теперь? Может быть, и существует еще; хотя едва ли, уж много прошло времени…

Электрическая станция работала недолго; через семь дней после пуска ее в действие она сгорела. Назар Фомин был в тот час за сорок верст от слободы; он выехал, чтобы осмотреть плотину возле хутора Дубровка, размытую осенним паводком, и установить объем работ для ее восстановления. Ему сообщили о пожаре с верховым нарочным, и Фомин сразу поехал обратно.

На окраине слободы, где еще вчера было новое саманное здание электростанции, теперь стало пусто. Все сотлело в прах. Остались лишь мертвые металлические тела машин — вертикального двигателя и генератора. Но от жара из тела двигателя вытекли все его медные части; сошли и окоченели на фундаменте ручьями слез подшипники и арматура; у генератора расплавились и отекли контактные кольца, изошла в дым обмотка и выкипела в ничто вся медь.

Назар Фомин стоял возле своих умерших машин, глядевших на него слепыми отверстиями выгоревших нежных частей, и плакал. Ненастный ветер уныло гремел железными листами на полу, свернувшимися от пережитого ими жара. Фомин поглядел в тот грустный час своей жизни на небо; поверху шли темные облака осени, гонимые угрюмой непогодой; там было скучно и не было сочувствия человеку, потому что вся природа, хоть она и большая, она вся одинокая, не знающая ничего, кроме себя. Лишь здесь, что сгорело в огне, было иное; тут был мир, созданный людьми в сочувствии друг другу, здесь в малом виде исполнилась надежда на высшую жизнь, на изменение и оживление в будущем всей тягостной, гнетущей самое себя природы, — надежда, существующая, возможно, во всей вселенной только в сердце и сознании человека, и не всякого человека, а того лишь, который первым в жертве, в работе и в революции пробился к такому пониманию своей судьбы. Как мала еще, стало быть, эта благая сила в размерах огромного мира и как ее надо беречь!

Для Назара Фомина наступило печальное время; следственная власть сообщила ему, что станция сгорела не по случайности или небрежности, а сожжена злодейской рукой. Этого не мог сразу понять Фомин: каким образом то, что является добром для всех, может вызвать ненависть и стать причиной злодейства? Он пошел посмотреть человека, который сжег станцию. Преступник на вид показался ему обыкновенным человеком, и о действии своем он не сожалел. В словах его Фомин почувствовал неудовлетворенную ненависть, ею преступник и под арестом питал свой дух. Теперь Фомин уже не помнил точно его лица и слов, но он запомнил его нескрытую злобу перед ним, главным строителем уничтоженного народного создания, и его объяснение своего поступка, как действия, необходимого для удовлетворения его разума и совести. Фомин молча выслушал тогда преступника и понял, что переубедить его словом нельзя, а переубедить делом — можно, но только он никогда не даст возможности совершить дело до конца, он постоянно будет разрушать и уничтожать еще вначале построенное не им.

Фомин увидел существо, о котором он предполагал, что его либо вовсе нет на свете, либо оно после революции живет уже в немощном и безвредном состоянии. На самом же деле это существо жило яростной жизнью и даже имело свой разум, в истину которого оно верило. И тогда вера Фомина в близкое блаженство на всей земле была нарушена сомнением; вся картина светлого будущего перед его умственным взором словно отдалилась в туманный горизонт, а под его ногами опять стлалась серая, жесткая, непроходимая земля, по которой надо еще долго идти до того сияющего мира, который казался столь близким и достижимым.

Крестьяне, строители и пайщики электростанции сделали собрание. На собрании они выслушали слова Фомина и задумались в молчании, не тая своего общего горя. Потом вышла Евдокия Ремейко и робко сказала, что надо снова собрать средства и снова отстроить погоревшую станцию; в год или полтора можно сызнова все сработать своими руками, сказала Ремейко, а может быть, и гораздо скорее. «Что ты, девка, — ответил ей с места повеселевший крестьянин, неизвестно кто, — одно приданое в огне прожила, другое суешь туда же: так ты до гробовой доски замуж не выйдешь, так и зачахнешь в перестарках!»

Обсудив дело, сколько выдаст Госстрах по случаю пожара, сколько поможет государство ссудой, сколько останется добавить из нажитого трудом, пайщики положили

себе общей заботой построить станцию во второй раз. «Электричество потухло, — сказал кустарь по бочарному делу Евтухов, — а мы и впредь будем жить неугасимо! И тебе, Назар Иванович, мы все в целости мерикандуем в карикатическом смысле строить по плану и масштабу, как оно было!» Евтухов любил и великие и малые дела рекомендовать к исполнению в категорическом смысле; он и жил категорически и революционно и изобрел круглую шаровую бочку. Словно теплый свет коснулся тогда омраченной души Назара Фомина. Не зная, что нужно сделать или сказать, он прикоснулся к Евдокии Ремейко и, стыдясь людей, хотел поцеловать ее в щеку, но осмелился поцеловать только в темные волосы над ухом. Так было тогда, и живое чувство счастья, запах волос девушки Ремейко, ее кроткий образ до сих пор сохранились в воспоминании Фомина.

И снова Назар Фомин на прежнем месте построил электрическую станцию, в два раза более мощную, чем погибшая в огне. На эту работу ушло почти два года. За это время Афродита оставила Назара Фомина; она полюбила другого человека, одного инженера, приехавшего из Москвы на монтаж радиоузла, и вышла за него вторым браком. У Фомина было много друзей среди крестьян и рабочего народа, но без своей любимой Афродиты почувствовал себя сиротой, и сердце его продрогло в одиночестве. Он раньше постоянно думал, что его верная Афродита — это богиня, но теперь она была жалка в своей нужде, в своей потребности по удовольствию новой любви, в своей привязанности к радости и наслаждению, которые были сильнее ее воли, сильнее и верности и гордой стойкости по отношению к тому, кто любил постоянно и единственно. Однако и после разлуки с Афродитой Назар Фомин не мог отвыкнуть от нее и любил ее, как прежде; он и не хотел бороться со своим чувством, превратившимся теперь в страдание: пусть обстоятельства отняли у него жену и она физически удалилась от него, но ведь не обязательно близко владеть человеком и радоваться лишь возле него, — достаточно бывает чувствовать любимого человека постоянным жителем своего сердца; это, правда, труднее и мучительней, чем близкое, удовлетворенное обладание, потому что любовь к равнодушному живет лишь за счет одной своей верной силы, не питаясь ничем в ответ. Но разве Фомин и другие люди его страны изменяют мир к лучшей судьбе ради того, чтобы властвовать над ним или пользоваться им затем, как собственностью?.. Фомин вспомнил еще, что у него явилась тогда странная мысль, оставшаяся необъяснимой. Он почувствовал в разлуке с Афродитой, что злодейская сила снова вступила поперек его жизненного пути; в своей первопричине это была, может быть, та же самая сила, от которой сгорела электростанция. Он понимал разницу событий, он видел их несоответственно, но они равно жестоко разрушали его жизнь и противостоял им один и тот же человек. Возможно, что он сам был повинен перед Афродитой, — ведь бывает, что зло совершается без желания, невольно и незаметно, и даже тогда, когда человек напрягается в совершении добра другому человеку. Должно быть, это бывает потому, что каждое сердце разное с другим: одно, получая добро, обращает его целиком на свою потребность, и от доброго ничего не остается другим; иное же сердце способно и злое переработать, обратить в добро и силу — себе и другим.

После утраты Афродиты Назар Фомин понял, что всеобщее блаженство и наслаждение жизнью, как он их представлял дотоле, есть ложная мечта и не в том состоит истина человека и его действительное блаженство. Одолевая свое страдание, терпя то, что его могло погубить, снова воздвигая разрушенное, Фомин неожиданно почувствовал свободную радость, не зависимую ни от злодея, ни от случайности. Он понял свою прежнюю наивность, вся натура его начала ожесточаться, созревая в бедствиях, и учиться способности одолевать, срабатывать каменное горе, встающее на жизненном пути; и тогда мир пред ним, доселе, как ему казалось, ясный и доступный, теперь распространился в дальнюю таинственную мглу — не потому, что там было действительно темно, печально или страшно, а потому, что он действительно был более велик во всех направлениях и сразу его нельзя обозреть — ни в душе человека, ни в простом пространстве. И это новое представление более удовлетворяло Фомина, чем то убогое блаженство, ради которого, как прежде он думал, только и жили люди.

Но он тогда вместе со своим поколением находился лишь у начала нового жизненного пути всего русского советского народа; и все, что переживал в то время Назар Фомин, было только вступлением к его трудной судьбе, первоначальным испытанием юного человека и его подготовкой к необходимому историческому делу, за свершение которого взялся его народ. В сущности, в стремлении к счастью для одного себя есть что-то низменное и непрочное; лишь с подвига и исполнения своего долга перед народом, зачавшим его на свет, начинается человек, и в том состоит его высшее удовлетворение или истинное вечное счастье, которого уже не может истребить никакое бедствие, ни горе, ни отчаяние. Но тогда он не мог скрыть своей печали от своих несчастий, и, если бы возле него не было людей, любивших его как единомышленника, может быть, он вовсе бы пал духом и не оправился. «Успокойся, — с грустью понимания сказал ему один близкий товарищ, — ты успокойся! Чего ты ожидал другого — кто нам приготовил здесь радость и правду? Мы сами их должны сделать, потому наша партия и совершает смысл жизни в мире… Наша партия — это гвардия человечества, и ты гвардеец! Партия воспитывает не блаженных телят, а героев для великой эпохи войн и революций… Перед нами будут все более возрастать задачи, мы подымимся на такие горы, откуда видны будут все горизонты до самого конца света! Чего же ты скулишь и скучаешь! Живи с нами — что тебе, все тепло от одной домашней печки да от жены, что ль! Ты сам умный — ты знаешь, нам не нужна немощная, берегущая себя тварь, другое время теперь наступило!»

Фомин в первый раз услышал тогда слово «гвардия»… Жизнь его продолжалась далее. Афродита, жена Назара Фомина, оскорбленная неверностью второго мужа, встретила однажды Назара и сказала ему, что ей живется грустно и она тоскует по нем, что она неправильно понимала жизнь, желая лишь радоваться в ней и не знать ни долга, ни обязанностей. Назар Фомин молча выслушал Афродиту; ревность и уязвленное самолюбие еще существовали в нем, подавленные, почти безмолвные, но все еще живые, как бессмертные твари. Но радость его перед лицом Афродиты, близость ее сердца, бьющегося навстречу ему, умертвили его жалкую печаль, и он после двух с лишним лет разлуки поцеловал у Афродиты руку, протянутую к нему.

Пошли новые годы жизни. Много раз обстоятельства превращали Фомина в жертву, подводили на край гибели, но его дух уже не мог истощиться в безнадежности или унынии. Он жил, думал и работал, словно постоянно чувствуя большую руку, ведущую его нежно и жестко вперед — в судьбу героев. И та же рука, что вела его жестко вперед, та же большая рука согревала его, и тепло ее проникало ему до сердца.

* * *

— До свиданья, Афродита! — вслух сказал Назар Фомин.

Где бы она ни была сейчас, живая или мертвая, все равно здесь, в этом обезлюдевшем городе, до сих пор еще таились следы ее ног на земле и в виде золы хранились вещи, которые она когда-то держала в руках, запечатлев в них тепло своих пальцев, — здесь повсюду существовали незаметные признаки ее жизни, которые целиком никогда не уничтожаются, как бы глубоко мир ни изменился. Чувство Фомина к Афродите удовлетворялось в своей скромности даже тем, что здесь когда-то она дышала и воздух родины еще содержит рассеянное тепло ее уст и слабый запах ее исчезнувшего тела — ведь в мире нет бесследного уничтожения.

— До свиданья, Афродита! Я тебя сейчас только чувствую в своем воспоминании, но я хочу видеть тебя всю, живой и целой!..

Фомин встал со скамьи, поглядел на город, низко осевший в свои руины, свободно просматриваемый теперь из конца в конец, поклонился ему и пошел обратно в полк. Сердце его, наученное терпению, было способно снести, может быть, даже вечную разлуку, и оно способно было сохранить верность и чувство привязанности до окончания своего существования. Втайне же он имел в себе гордость солдата, который может исполнить

любой труд и подвиг человека; и Фомин был счастливым, когда сбивал противника, вросшего в бетон и в землю, или когда отчаяние своей души превращал в надежду, а надежду — в успех и в победу.

Ординарец зажег свет в маленькой стеариновой плошке на деревянном кухонном столе. Фомин снял шинель и сел писать письмо Афродите: «Дорогая Наташа, ты верь мне и не забывай меня, как я тебя помню. Ты верь мне, что все сбудется, как быть должно, и мы снова будем жить неразлучно. У нас еще будут с тобою прекрасные дети, которых мы обязаны родить. Они томят мое сердце тоской по тебе…»

Внутри немца

— Что с нами стало сейчас? Отчего наши солдаты отступают, что происходит внутри немца? — спрашивает немецкий инвалид нынешней войны Карл Диц в письме к своему брату на Восточный фронт.

Ответ на первый вопрос Карла Дица явствует из его инвалидности. Но он имеет в виду не одного себя, а всех пемецких солдат. Ответим ему: с немцами и с Карлом Дицем стало то, что сделала с ними Красная Армия. Много немцев сейчас, военных и гражданских, и много людей других национальностей задают себе тот же вопрос, что и Карл Диц: что стало с немцами, что происходит внутри немца?

Правильное, объективное понимание того, что происходит «внутри» противника, — в его духе, в его сознании, в мотивах его поведения, в его надеждах, — имеет большое военное значение, наравне с данными разведки.

Мы имеем сейчас основания и возможность посмотреть внутрь неприятеля. Нас интересует тот процесс в психологии противника, который происходит в нем под влиянием поражения на Восточном фронте, под давлением советского и союзного оружия.

Этот процесс поворота в немецком сознании можно наблюдать и в непосредственной форме, в форме писем или поведения немцев, и в форме более скрытой — в директивных документах официальной идеологии и всюду, где сила действительности с жестокостью рока меняет мысли, поведение и обычаи людей, вразумляя им спасение или, если они уже неспособны к разумению, толкая их к гибели.

Невеста пишет из Берлина своему жениху, обер-лейтенанту Георгу Винек (пол. почта 40841): «Ты не представляешь, мой любимый, сколько страданий и мук нам приносит эта война. Все лучшее от нас уходит» (23/II 1944 г.).

Немка уверяет обер-лейтенанта, что даже ему, непосредственно сражающемуся на фронте, все же нужно представить ужасную участь людей в тылу. Жизнь в немецком тылу по степени смертельной опасности теперь мало отличается от существования на фронте. В этом немке можно поверить. Страдания и муки, о которых она пишет, затягиваясь во времени и умножаясь в количестве, производят в германском народе «тихую» массовую смерть, и постепенно дело идет к тому, что цивильному немцу жить будет еще опаснее, чем солдату. Причина этой опасности заключается не только в бомбах с воздуха; здесь действует прогрессирующее истощение физических и моральных сил «завоевателей мира», которое может привести целый народ в оцепенелое состояние — внешне покорное и как бы послушное тиранической воле его «фюрера», но на самом деле уже бессильное, таящее в себе смертельный шок, массовую гибель. Поверхностным поводом для гибели может стать какая-либо пустяковая болезнь или общий невроз, но истинные, глубокие причины этого явления действуют уже сейчас. Немка сообщает: «Все лучшее от нас уходит». Эта фраза, исполненная печали и некоторого раздумья, неточна: все лучшее от немцев ушло давно, а что не ушло, то было уничтожено. Это имеет для немцев огромные, трагические последствия: без лучших людей не только нельзя спастись, но даже невозможно перед смертью придумать в утешение какой-либо «сон золотой», последний эффектный обман уцелевших еще остатков народа.

Душевный механизм немца, каков бы он ни был, сламывается и начинает действовать

для устроителей этого механизма столь же неожиданно, как винтовка, стреляющая себе в затвор. Пленный унтер-офицер 8 батальона 85 пех. полка рассказал 26 марта 1944 года, что он недавно сам видел в г. Вупертале. Пленный шел тогда по улице в этом Вупертале и вдруг замечает, что с высоты третьего этажа начал быстро сннжаться большой портрет Гитлера. Человек, производивший эту операцию снижения, весело кричал сверху: «Внимание — фюрер идет!» За миг свободы и своеволия этот человек, вероятно, отдал затем жизнь. Но одновременно с такими действиями немцев охватывает апатия и бессильный фатализм. «Многие люди в Германии, — заявляют пленные, — относятся к воздушным налетам как явлению природы». А как же им иначе осталось относиться к этому, — можно только, склонив голову, ожидать бомбу. Времена Ковентри, времена бомбежек старух и детей на русских дорогах навсегда прошли.

Офицер по национал-социалистическому воспитанию (есть такая должность) 198 пех. див. старший лейтенант Мюллер трактует в одном документе новую и самую злободневную немецко-фашистскую философию. В этой философии, которую, несомненно, питает отчаяние, скрываемое, однако, авторами ее даже от самих себя, — в этой философии кратко выражены последние безумные надежды фашистских властителей, их последняя фантастическая мечта.

«Великие оружейники нашего века, — говорится в документе, — могут стать вершителями судеб». Далее излагается некоторое чаяние, что хорошо бы и нужно бы, дескать, изобрести такое оружие, которое сразу бы и мгновенно поразило всех врагов Германии: вот тогда бы немцы победили и выиграли войну, а без такого чудесного оружия воевать им, немцам, трудно. Немцы при этом всерьез надеются изобрести такое оружие и наброситься с ним в первую очередь на Англию, чтобы она их больше не обижала с воздуха.

Ясно, что тут мы имеем дело с новым средством для обмана своего народа (мы, дескать, скоро откуем такой меч, которым нам удастся все же обезглавить мир и завоевать его, — потерпите только, немцы, еще немного), но, кроме того, этот документ сам по себе является доказательством идиотизма фашистских идеологических деятелей и выражением их презрения к немцам, как народу дураков.

В средние века в той же Германии были алхимики, которые в своем наивном невежестве пытались срочно добыть золото или эликсир вечной жизни из каких-либо дешевых подручных материалов. Был и такой «деятель науки», который хотел освободить солнце из огурца. Но это были сравнительно невинные люди.

Развитие реальной опытной науки, в которой прямо или косвенно принимало участие несколько поколений человечества, открыло единственно доступный путь к истине, благу и могуществу трудящихся людей, объединенных в своих усилиях и надеждах. По этому пути до сих пор идет прогрессивное человечество во главе со своим авангардом — Советским Союзом.

Но для нынешних немцев-фашистов опыт всемирной человеческой истории — ничто. Им сейчас срочно нужно изобрести всемогущее оружие, иначе у них нет шансов победить. Глупость этой алхимической надежды очевидна, но из этой глупости врага мы можем сделать для себя один разумный, полезный вывод — о близкой духовной катастрофе противника. Никакое крупное научное открытие или техническое изобретение нельзя теперь совершить кустарным, магическим способом. Наука и техника коллективны и всемирны по своей сущности; наука может совершить «чудо», но только в сотрудничестве со всем прогрессивным миром, а не вопреки этому сотрудничеству, не в одиночестве и не «впереди прогресса».

В том же фашистском документе в скрытой и внешне пышной форме далее говорится нечто еще более идиотическое: «Подчинение техники организующей воле является последней большой задачей, перед которой стоит западная культура». В переводе на простой, конкретный язык это означает, что если Гитлер скажет (а он это, видимо, уже сказал, и сказал не однажды), что ему нужно чудодейственное оружие, то, стало быть, наука мгновенно должна подчиниться «организующей воле» Гитлера и тут же создать такое

смертоносное оружие, от которого все свободные народы земли падут замертво в прах. Невежда может, конечно, давать своим запуганным техникам такие поручения, но выполнить их нельзя. Все лучшее, что было когда-то в Германии, теперь от них ушло; то, что не успело уйти, то умерщвлено или обездушено до степени идиотизма. Немецкая земля обеспложена господством тиранов; в ней не осталось сил не только на большое творческое дело, но даже на то, чтобы создать в грамотной форме свою последнюю, предсмертную мечту. Этого, видимо, и нельзя сделать, как нельзя изобразить палача героем, если бы этим даже занялся одаренный художник. Есть невозможное на свете; иногда оно является добром, потому что кладет предел злу.

Гитлер ждет, что из той земли, которую он обратил в камень, для него вырастут плоды. Но гитлеровская земля годна теперь лишь для постройки склепа своему «фюреру». Тот, кто хотел устрашить мир, кто отверг науку, ныне сам наполнил немецкий народ ужасом и безумием и сам ищет спасения у «великих оружейников», у науки, чтобы она дала в руки тирана всемогущий меч.

Однако этот всемогущий меч могут создать и владеть им другие руки, которые равно способны и одухотворять мир трудом и сражать тиранов. Гитлеровцам же остается в утешение лишь бредовая фантасмагория о «всемогущем оружии»; как бесплодная женщина видит в сновидениях своего ребенка, а наяву ей остается лишь сознание своего бессилия.

Действующая армия 1944 г.

Страх солдата

[текст отсутствует]

«Челюсть дракона»

…Тихая ночь войны, проникнутая взорами тысяч бодрствующих людей, медленно лилась по земле…

Четвертая контратака немцев была отбита. Полк Мещерина продвинулся в заданном направлении, и его батальоны заняли новые рубежи. Огонь умолк на поле боя, и наступили сумерки перед долгой зимней ночью. Подполковник Мещерин успел осмотреть местность, что лежала теперь впереди расположения его батальона, и сверить ее с картой; карта, видимо, была точна.

Перед Мещериным по фронту находилась балка с мягким рельефом. В этой балке лежали последовательно один за другим рыбные пруды, но между верховьем одного пруда и плотиной другого, расположенного выше, были, однако, сухие пространства. Противник сейчас был отогнан по ту сторону балки; там у него, против левого фланга полка, находилась развитая система огневых точек, и далее за ними были два населенных пункта, которые к утру Мещерину надлежало взять. Против правого фланга полка рос густой сосновый бор, спускавшийся в сухой тальвег балки меж двумя водоемами.

Что было сейчас в том немецком лесу? Лицом к этому лесу стоял третий батальон Мещерина, утомленный встречными боями с контратакующим противником. Этот батальон подбил сегодня три танка и истребил в двух рукопашных боях около роты фашистских пехотинцев, но люди Мещерина утомились, и не каждый из них, кто еще утром был жив и здоров, теперь дышал.

Стало темно, наступила ночь. Мещерин прошел по ходу сообщения в блиндаж, оставшийся от немцев, ординарец Порошков засветил ему свечи на деревянном столе. Подполковник задумался. Война переменилась. Сейчас она происходила на прусской земле. Теперь бой и маневр совершаются на местности плотной обороны противника, и так называемый «оперативный простор» требует такой же неослабной энергии от наступающих, как и прорыв передней полосы укреплений, потому что «простор» является лишь тесниной

следующей очереди укреплений в глубине прорванной обороны.

Что было сейчас в темном немецком лесу? Оттуда выходили танки в контратаку, и туда они возвращались — те из них, что способны были возвратиться. Однако немцы понимают, что мы уже учли такое назначение леса, и что же они предпримут? Будут ли они ночью или утром снова контратаковать нас танками из леса или откажутся от этого в предвидении, что мы, естественно, обеспечим тут мощный противотанковый огонь?

— Порошков, сходи к артиллеристам, — сказал Мещерин, — попроси, чтобы майор Беляков сейчас же зашел ко мне…

Ординарец ушел. Мещерин читал карту. Против его полка было три прудовых водоема. Немцы, возможное дело, уже заложили взрывчатку в тела плотин или под водоспуски и взорвут их, тогда неподвижные водоемы обратятся в поток, и балка станет на время рекою, а затем долго будет мочажиной, заболоченной топью, и трудно, тяжко придется работать и двигаться здесь машинам, пушкам и людям.

Далее, за балкой, слева на фланге, находились огневые укрепленные точки противника, прикрывающие подступы с юго-запада к двум населенным пунктам. Мещерин расположил против них два своих батальона, третий его батальон стоял против леса, еще одна рота автоматчиков была у него в резерве.

Что было в лесу и за лесом, что было еще далее, в глубине обороны противника, где нынче же ночью придется идти батальонам Мещерина, — то оставалось неразведанного тайной.

Он вышел из блиндажа наружу, подышал свежим воздухом и посмотрел на погоду. С Балтики быстро шли холодные тучи, но поверх туч светила луна, и ее неподвижный магический свет слабо проникал сквозь тучи, еле озаряя землю из невидимого светильника, как бывает в сновидении.

В томлении Мещерин пошел по земле. Его беспокоил немецкий лес на правом фланге. Он бы мог сказать майору Белякову, командиру артиллерийского полка, чтобы Беляков выставил достаточно орудий против того леса на случай, если немцы начнут контратаковать из леса танками. Но Мещерину нужны были пушки Белякова на левом фланге, там следовало скоро и сокрушительно подавить развитую систему огневых точек противника. Затем много пушек потребуется при движении вперед в плохо разведанную глубину противника. Поэтому густо держать артиллерийские стволы против леса было неэкономно, этим ослаблялся удар по огневым точкам немцев на левом фланге, и это могло задержать наше движение в глубину — к немецким населенным пунктам.

Мещерин обратился лицом на восток. Он находился сейчас здесь один. Его полк был подобен мечу, вдавливающемуся в тело мучителя его народа, но рукоятка этого меча была в руках у Мещерина, и от движения его руки, от мысли Мещерина зависело, вонзит ли он меч в тело врага на разрушение его или противник иступит его меч и даже сломает его своим сопротивлением.

«Родина, помоги мне», — прошептал вслух Мещерин. Ему страшно стало своего долга и своей ответственности. Он понимал еще и то простое жизненное обстоятельство, что если он примет сегодня в ночь неверное решение, то его далекие дети и дети всего народа лишний день проживут не по-детски, не получив всего, что положено иметь ребенку — близость родителей и вдосталь молока и сахара.

Он увидел силуэты людей и возвратился в блиндаж. Пришел майор Беляков с Порошковым, и Мещерин поговорил с майором о ночной задаче.

Беляков был хорошим артиллеристом, но он любил готовые цели и ясность положения на поле боя.

— Давайте, Сергей Леонтьевич, куда и во что мне бить. Мне нужна работа, — сказал он Мещерину. — А лес этот, — он указал по карте, — у меня есть стволы против него, — там танки должны быть.

— Они были там, — произнес Мещерин, — а теперь мы не знаем.

— Может, и нету, — согласился Беляков. — Свободная вещь, что ушли.

— Пушки ваши мне слева нужны, а тут вы их столько держите, что, может быть, и зря, как вы полагаете? Поменьше бы хватило!

Беляков на минуту озадачился. Он был полный на тело, веселый по нраву человек, но не любивший думать над тайнами, если не было фактов, чтобы их разгадать.

— Я реалист, Сергей Леонтьевич, — сказал майор. — У вас есть разведка по этому лесу?

— Пока нет, — ответил Мещерин. — Я велел ее выслать из третьего батальона туда. Когда люди вернутся, мне позвонят.

— Вам виднее, Сергей Леонтьевич… Действуйте, как находите точнее, а я поставлю свои пушки куда нужно и попаду во что требуется.

— А ваше мнение, товарищ майор?.. Я могу и вовсе не получить от разведки ничего. И у меня времени мало.

— Мои наблюдатели слышали в этом лесу моторы машин, — сообщил артиллерист.

— Да, но что это значит?

— Да ничего не значит, Сергей Леонтьевич, — засмеялся Беляков. — Мало ли какая машина там шумела и куда она шла, может, это тягач кряж волок!..

— Для хорошего солдата все звуки на войне, вероятно, понятны, как буквы для грамотного человека, — сказал Мещерин.

— Ах, да! Ну конечно! — понял и смутился Беляков. — Это совершенно точно, Сергей Леонтьевич.

Мещерин посмотрел на часы.

— Я могу быть свободным, товарищ подполковник?

— Да, а через два часа мы снова с вами увидимся, Владимир Иванович. Тогда я вам скажу, как быть с этим лесом. Я думал, вы сами кое-что знаете…

Артиллерист ушел, Мещерин отправился к начальнику штаба полка майору Полуэктову, работавшему в соседнем блиндаже. Полуэктов уточнял задачу для батальона. Как всегда, он считал данные о противнике совершенно недостаточными. Он сидел за картой, чертил на ней знаки, проектируя бой, и бурчал в махорочные усы недовольство. Если ему поручить боевую задачу, то он никогда бы не мог начать ее решения вследствие крайней аккуратности своего характера, требующей невыполнимой точности, ясности, взвешенности всех элементов предстоящего дела, но и тогда, если бы того достигнуть, он все же не был бы уверен: так ли это все, а может, все выйдет наоборот. Однако добросовестность Полуэктова, хотя и обезволена щепетильной рассудочностью, все же являлась достоинством, и Мещерин, ценя в Полуэктове то хорошее, что в нем было, не принимал в расчет его бездейственных суждений.

В который раз Мещерин начал снова читать местность по карте, затем он просмотрел разведывательную сводку штаба дивизии и прочие документы, но мало было точных данных, годных, чтобы их положить в основу плана наступательного боя.

— Что-то у нас великоват получается этот самый коэффициент неопределенности и неизвестности, — сказал он Полуэктову.

— Вот то-то и дело, — сразу согласился Полуэктов. — То-то и дело, о том и душа-то болит.

— Вот здесь у него есть минометы, — говорил Мещерин, указывая точку на карте, — здесь позиция очень удобная, я бы тут держал огонь по пехоте. Обязательно бы держал! А у нас тут неясность, мы не знаем, есть ли там эти минометы на самом деле.

— Артиллеристы тоже оставляют эту точку втуне, — доложил Полуэктов, — для них это не цель.

— Надо накрыть огнем эту неясность! — сказал Мещерин. — И накрыть надо огнем той же плотности, майор, как разведанную цель: допустим, что у них здесь батарея шестиствольных.

— Есть, — произнес Полуэктов. — Я сговорюсь с Беляковым.

Мещерин позвонил в третий батальон:

— Как дела, Богатырь?.. Пришли наши дети из чужой деревни?

«Богатырь» ответил, что «дети» вернулись, но только не все, двоих еще нету. Тогда Мещерин сказал, что он сам сейчас придет в батальон, и вышел наружу. До штаба третьего батальона было недалеко, всего метров восемьсот.

Тихая ночь войны, проникнутая взорами тысяч бодрствующих людей, медленно лилась на земле. Мгновенные невнятные звуки изредка возникали во тьме и снова утихали в безмолвии. Время от времени в дальнем мраке, рассеивая напряжение, светилась ракета, и она гасла…

Командир батальона майор Осьмых доложил командиру полка, что первая разведгруппа возвратилась, а вторая вот-вот ожидается; общее же положение на участке батальона без изменений, но томит безвестность, и люди устали, утратив в сегодняшних боях многих своих товарищей.

— Мучит меня этот неведомый лес, Сергей Леонтьевич, — сказал майор Осьмых. — Как в ночь идти нам туда, что мы там встретим?

— Надо знать, за неведение смерть бывает, — произнес Мещерин. — А с чем пришли ваши разведчики? Позовите их сюда!

— Да что мои разводчики! — угрюмо сказал Осьмых. — Пустяки они разведали… Были у меня два разведчика — Пушкарев и Веретенников, нет их более…

Младший лейтенант Анжеликов доложил командирам, что он разведал у противника. Он ходил на южную опушку соснового бора с двумя сержантами — Храмовым и Петрушевым. Храмов проник в глубину леса.

— И что же? — спросил Мещерин. — Доложите подробно каждую мелочь…

Разведчики, спускаясь по скату балки с нашей стороны, заметили, что вершины двух деревьев, росших в лесу, наклонились и пали.

— Как они падали? — заинтересованно спросил Мещерин. — Навстречу друг другу или врозь?

Анжеликов задумался.

— Не установили, товарищ подполковник…

— Позовите Храмова и Петрушева, — приказал Мещерин.

Сержант Храмов доложил, что деревья падали навстречу одно другому, потому что немцы их валили на завал дороги, а завалка иначе не делается.

— Вы это глазами видели, что деревья валились вершинами друг к другу? — спросил Мещерин.

— Никак нет, товарищ подполковник, — произнес Храмов, — глазами я этого не упомнил.

— А надо бы упомнить глазами, сержант! — сказал подполковник.

Петрушев обнаружил в лесу котлован, в котором незадолго стоял танк: один земляной откос был еще теплый на ощупь, туда, наверно, били газы из выхлопных труб при разогреве мотора.

Оба разведчика слышали в глубине леса работу танковых моторов, но стало темно, глухо, и дойти до машин они не сумели.

— Подолгу работали моторы и слышно было по звуку, что машины удаляются, или нет? — спрашивал Мещерин.

— Не подолгу, нет, не подолгу, — сказали оба сержанта.

Анжеликов доложил, что танки, похожее дело, шли на короткие расстояния внутри леса. Тогда Мещерин спросил его:

— А зачем, как вы думаете?

Анжеликов не знал.

— Если танки противника остались в лесу, то зачем немцам устраивать завал своей же дороги? — обратился Мещерин к майору Осьмых.

— Да, — озадачился Осьмых. — Было неизвестно, а стало вовсе загадочно.

Мещерин отпустил разведчиков и сказал майору:

— Нет, Иван Ефимович, нам все будет известно, надо только думать уметь…

Немного погодя явились двое разведчиков из второй группы. Их задачей было обследование западной опушки леса. Они шли уже затемно и вовсе не слышали никаких звуков в лесу. Противника они не обнаружили; они прошли по опушке в глубину местности почти до северной окраины леса, и там они наблюдали то, что им было непонятно. Когда луна затемнялась бегущими тяжелыми тучами, разведчики видели вдалеке, в полевом пространстве, краткое свечение нескольких точек, — свет был фиолетового и оранжевого цвета и беззвучен, словно то сияли замедленные зарницы, когда же луна изредка освещала поле, разведчики видели в том же направлении, где во тьме вспыхивал безмолвный свет, низкий голый частокол, как будто на земле лежала длинная рыба с обглоданными костями ребер или будто из земли выросли зубы.

— Все делается более ясным, — тихо сказал Мещерин и, поблагодарив разведчиков, отпустил их.

— Что же ясно-то, Сергей Леонтьевич? — спросил майор Осьмых. — Ну, частокол я понимаю, — это, конечно, «зубы дракона», видать я их сам не видал, но слыхал про них, а что там еще светится, какая зарница? Или ребятам так показалось?..

— Нет, они рассказали точно, — произнес Мещерин, — все так и есть. Они видели противотанковое препятствие, железобетонные зубы дракона — надолбы, а перед этой «челюстью дракона» немцы, значит, поставили еще одно заграждение — они пропустили по проволоке ток высокого напряжения, чтобы наша пехота не прошла там.

— А свет?

— А свет — это явление короны. Ток высокого напряжения стремится истечь с поверхности проводника в пространство, и, если бывают к тому физические условия, ток как бы взрывается с проводника, и тогда он слабо светится, Иван Ефремович, он светится короной вокруг проводника.

Осьмых грустно улыбнулся, оттого, что сам он никогда бы не мог сообразить того, о чем услышал от командира полка.

— Эх, башка! — сказал Осьмых и ударил сам себя кулаком по голове, он уважал Мещерина и завидовал ему.

— Вы что? — спросил Мещерин.

— Ничего, Сергей Леонтьевич, — я вижу, офицер должен знать все на свете, в точности и в подробности.

— Совершенно верно, Иван Ефремович. И сверх всего он должен понимать еще кое-что… Я скоро буду говорить с генералом, а после захода луны мы выступаем вперед… Через час вы приходите ко мне, я поставлю задачу вашему батальону.

В своем штабе Мещерин вместе с Полуэктовым стали чертить по карте живую, точную картину предстоящего боя. Мещерин обладал духом творческой мысли и воображения; он смело, словно своевольно, соединял в одно целое разрозненные, противоречивые факты действительности, чтобы из них получился единый живой образ знания, в котором уже возможно прочитать верное решение для его воли, для технического расчета действий его подразделений.

Полуэктов иногда удивлялся, иногда возражал, но изредка и он восхищался волшебным развитием мысли командира, угадывающей с точной ясностью тайну врага. Постепенно и у Полуэктова сложилось представление о замысле противника, и на этом основании уже можно было проектировать свой наступательный бой.

Командир был прав. Немцы едва ли занимались сейчас лесозаготовками в сосновом бору, — значит, сводя деревья, они делали завалы дорог на случай, если мы прорвемся в тот лес. Свои танки, оставшиеся в лесу, немцы оттуда не вывели, а закопали их или поместили в углубленные котлованы, как постоянные огневые точки.

План обороны противника заключался здесь в том, чтобы уничтожить полк Мещерина. Меж густыми огневыми точками на левом фланге и лесом на правом лежало чистое поле, причем оно могло простреливаться точным огнем из дотов слева и, возможно, танками

справа, а в глубине этого поля, на подходе к двум населенным пунктам, нас ожидала «челюсть дракона» и проволочные препятствия под током. И более того, как только наши подразделения выйдут на поле меж лесом и системой дотов, немцы взорвут прудовые плотины, образуют в тылу наступающих водную преграду, отрежут нас от тылов и резервов и начнут уничтожение нашей живой силы на поле перед «челюстью дракона».

Мещерин велел передать обстановку по радио командиру дивизии и свой план решения поставленной его полку задачи. Он попросил также, чтобы его соседи справа и слева одновременно с ним, после захода луны, приступили к решению своих задач или же произвели хотя бы демонстративные действия.

После того Мещерин вызвал к себе командиров своих батальонов и командира артиллерийского полка майора Белякова. Но тут же Мещерин отменил свое распоряжение, потому что с рубежей третьего батальона он услышал огонь бронебоек, а затем пушечные выстрелы немецких танков. Все сразу изменилось и стало другим, как бывает в жизни и на войне.

Командир третьего батальона майор Осьмых доложил по радио Мещерину, что против него идут пять танков, они сейчас проходят балку ниже прудовой плотины, а за машинами движутся пехотные цепи числом не менее двух рот. Их обнажила на земле засветившаяся меж тучами луна и обнаружили посты боевого охранения.

Мещерин задумался над картой; он представил в живом видении местность перед собой — плотину, немецкие танки и бегущую вперед пехоту врага, а также свой усталый третий батальон, ночь и тучи с заходящей за ними луной.

Истинное решение, то есть проект победы, находилось здесь же, в правильном и внезапном для врага использовании резко изменившейся обстановки. Мещерин уже предчувствовал это истинное решение, оно уже было в его сердце, но его еще не было в его мысли, и он, томясь, вспомнил, что плотины, всего вероятнее, заминированы противником, и сейчас немецкая пехота как раз проходит сухое место балки меж двумя водоемами.

— Я с ними сделаю то, что они хотели сделать со мной! — вслух сказал Мещерин.

И общее решение его легко сложилось вокруг этого первоначального намерения, которое само по себе еще не давало ему возможности занять два населенных пункта за «челюстью дракона».

Мещерин передал майору Осьмых, что он дает ему на усиление резервную роту, и приказал майору, чтобы он после того, как эта контратака будет отбита, отводил свои роты на правый фланг. Затем майор должен, обойдя пруд в верховье, направиться в лес, занять его опушку и завалить деревьями выходы танковых дорог противника.

Майора Белякова Мещерин попросил немедля разрушить артиллерийским огнем земляную плотину водоема, ниже которой двигались немцы; остальной артиллерии правого фланга следовало уничтожить вырвавшиеся танки. Своему резерву, роте автоматчиков, Мещерин велел занять второй рубеж и истреблять пехоту, которую ведут за собою танки. Одновременно Мещерин указал Белякову, чтобы он дал всю мощь огня на левом фланге: надлежало сразу накрыть всю систему огневых точек противника и держать огонь до их сокрушения, впредь до нашей пехотной атаки по сигналу. Командирам первого и второго батальонов Мещерин приказал обходить живою силой группу огневых точек, накрываемых нашим огнем, — с тем чтобы первому батальону пробиваться вперед, к немецким населенным пунктам, а второму батальону занять штурмом всю систему огневых точек после их подавления артиллерийским огнем.

Ничего нельзя было забыть, и все надо было делать одновременно, почти мгновенно. Офицера связи Рыжова, дав ему двух саперов, Мещерин направил на плотину, расположенную ниже той, которую Беляков должен разрушить. На той, нижней плотине Мещерин приказал Рыжову открыть водоспуск, чтобы вода, идущая сверху, сработав свое дело для Мещерина, не сорвала нижней плотины и не повредила соседям.

— Водоспуск, вероятно, заминирован, — сказал Мещерин саперам, — разминируйте его.

Все же Мещерин через дивизию предупредил соседа слева о том, что он делает.

Больше всего Мещерина беспокоило, что на левом фланге не столь достаточно артиллерии, а на правом ее все же избыток, хотя бой сейчас идет именно на правом фланге.

Дело началось сразу во всю мощь.

Голос нашей артиллерии, произойдя из безмолвия, гремел и расширялся сейчас над темной землей, будто великая песнь, таившаяся в кроткой тишине, теперь ветром шла по миру и ветер ее обращался в ураган, а ураган — в гибель. Мещерин вышел на минуту из блиндажа и посмотрел на землю и небо: по небу волнами шло красное зарево дышащих орудий, и в ответ нарастающему огню небо гудело, как чугунное, словно раскручивалось в яростных оборотах мчащееся издали, настигающее и давящее всех впереди тяжкое весом колесо.

Беляков, командный пункт которого был почти рядом с блиндажом Мещерина, прислал связного. Связной доложил, что плотина разрушена, вода из пруда затопляет местность ниже этой плотины, а эту местность только что миновала немецкая пехота и теперь у них в тылу илистая вода и мертвая оглушенная рыба. Беляков сообщал далее, что один танк сожжен и два подбиты, а остальные два пока еще мечутся; теперь он ведет плотный отсечный огонь по пехоте.

Мещерин велел Белякову немедленно передвинуть две батареи на усиление левого фланга, а остальными пушками уничтожить два танка и после того дать весь огонь в глубину расположения противника — на внешний край «челюсти дракона», чтобы искрошить электрическую систему высокого напряжения. Мещерин передал примерные координаты «дракона», но приказал сразу же послать туда артиллериста-корректировщика, который должен действовать согласованно с командиром третьего батальона.

Ночь от блеска огня стала непроглядной, луна теперь уже закатилась. Полуэктов сильно тревожился за положение в батальонах на левом фланге.

Из первого и второго батальонов действительно пришло донесение, что противник ведет столь сильный огонь из дотов, что обойти их не удается, и наша пехота залегла и зарывается в землю. Наш артогонь ведется довольно точно, но живучесть врага в его укреплениях еще велика.

Командир дивизии запросил по радио обстановку и сообщил Мещерину, что оба его соседа двинуты в дело со своими задачами; Мещерину же надлежит обязательно занять два немецких населенных пункта не позднее пяти часов утра, памятуя, что на его направлении решается основная задача всей дивизии, причем Мещерину не следует сегодня ожидать свежих сил противника на своем участке.

— Справишься, Сергей Леонтьевич? — спросил командир дивизии. — Что будет нужно, я помогу. Когда начнешь, я тебя поддержу тяжелыми пушками. А к рассвету я, может, сам приеду к вам в полк.

— Будем трудиться, товарищ генерал, — ответил Мещерин.

Беляков сам явился к Мещерину и, довольный, рассказал, что два последних немецких танка хотели отойти обратно, но увязли в балке в илистом наносе, они теперь стоят по брюхо в воде и буксуют на месте.

— Расстрелять их надо, некогда нам их рассматривать, — сказал Мещерин.

— Зачем, товарищ подполковник? — засмеялся Беляков. — У них боеприпасы вышли, они беззубые, я своих ребят с двумя тягачами и гранатами послал, они их живьем доставят, они уже у них на броне сидят… Пусть в доход идут! Чего добру пропадать?

— Как дела с «челюстью дракона»?

— Бил я туда изредка на ощупь. Сейчас велел обождать стрелять, корректировщик молчит, сигналов от него нету.

Мещерину пе понравилось это долгое дело. Явившийся командир роты автоматчиков старший лейтенант Невзоров доложил командиру полка обстановку: немцев за танками шло человек около двухсот, иные из них побиты, иные рассеялись во тьме, и до утра их трудно обнаружить.

— Товарищ Невзоров, — обратился Мещерин, — я вам ставлю новую задачу. Я вам покажу по карте. Вы знаете, в каком состоянии наш третий батальон?

— Приблизительно, товарищ подполковник.

— Вот, вы обойдете посуху пруд, выйдете сюда, на опушку леса, там вы встретите наших людей из третьего батальона. Затем вы пойдете по западной опушке леса и будете двигаться вперед, вот сюда — к этим «зубьям дракона». Вы их представляете себе? Впереди вас будут идти два танка.

Мещерин объяснил, что он называл «челюстью дракона».

— Теперь, — обратился Мещерин к Белякову, — я прошу вас, товарищ майор, все ваши орудия дать мне на поддержку левого фланга. Задачу вы знаете, затем вот еще что… У вас есть люди, которые могут заправить эти два годных немецких танка и повести их, — Мещерин посмотрел на карту, — вести их надо километра четыре, вот до «дракона» этого…

— Такие мастера у меня найдутся! — ответил майор.

Через сорок минут оба немецких танка с нашими водителями пошли в обход высыхающего пруда; за машинами, но в отдалении от них следовали группами автоматчики, а на броне машин лежало по двое бойцов с противотанковыми гранатами.

Майору Осьмых Мещерин поставил задачу — проникать постепенно в лес, выслав вперед разведчиков, и выходить далее в направлении «дракона», где уже будут действовать штурмовые группы. Мещерин был уверен, что в лесу ничего, кроме нескольких танков, нет. Если они способны простреливать полевое пространство перед «челюстью дракона», обороняющей подходы к населенным пунктам, или могут выйти из котлованов и пойти своим ходом во фланг или в тыл нашим штурмовым группам, тогда майор Осьмых завяжет с ними бой и отвлечет их на себя.

— Видал я бои, — сказал Полуэктов Мещерину, — но от нынешнего боя и у меня голова думать устала… Чего это первый и второй опять замолчали? Порошков, позови радиста!

Мещерин вслушивался в нарастающий гул огня на своем левом фланге: майор Беляков там работал быстро.

Командиры левого фланга донесли, что огонь немцев слабеет, но идти вперед все еще трудно.

Мещерин поглядел на часы. Два танка и Невзоров должны уже подойти к «челюсти дракона». В волнении он вышел наружу, поднялся из хода сообщения на накат блиндажа и посмотрел в нужном направлении, хотя, он сам знал, едва ли что сейчас можно было разглядеть и понять отсюда. Но Мещерин кое-что увидел и понял. Вдали, где лежала «челюсть дракона», засветились две немецкие ракеты. Но блеска разрывов снарядов видно не было, значит, немцы оказались в недоумении и пока еще не знают, почему два их танка подошли к их «дракону». Мещерин дал задачу Невзорову и его гранатометчикам на броне, не подходя вплотную к электрической высоковольтной линии, разбить ее гранатами с ближней дистанции. Машины должны подойти к «дракону» одновременно, но на расстоянии ста метров одна от другой: на этом промежутке электрическая линия, оборванная с двух концов, станет неопасной для жизни. Обстрел «челюсти» немцами будет мало полезен для самих немцев, потому что чаща железобетонных зубов оборонит ползущих меж ними людей Невзорова.

Старший лейтенант Невзоров исполнял в точности свою задачу. Он сам ехал в одном из танков и слегка приоткрыл люк, чтобы лучше смотреть по местности. Однако трудно было заблаговременно разглядеть провода возле «дракона», а немцы, услышав работающие моторы, упредили Невзорова и дали в воздух ракеты, ослепившие водителей, и танки на скорости, с включенными фрикционами рванули корпусами электрическую линию, и тогда люди на машинах вторично были ослеплены молниями, а танки напоролись на зубы своего «дракона» и стали на месте. Ток мгновенно получил заземление через тела машин; людей же лишь тряхнуло, а иных на время свело судорогой. Однако метать гранаты уже не надо было, что пошло только на пользу дела.

Все группы автоматчиков Невзорова благополучно миновали «челюсть дракона» и вышли на окраину немецкого населенного пункта.

Вскоре над «челюстью дракона» засветились сразу четыре ракеты; немецкая батарея ударила из одной усадьбы по пустым немецким танкам и разбила их. Невзоров заметил расположение батареи и направил туда автоматчиков, чтобы уничтожить орудийные расчеты. Невзорова удивила тишина и безлюдье в этом немецком городке; должно быть, немцы, прикрытые спереди «драконом», считали этот городок безопасным и держали здесь только артиллерию.

У Невзорова не было рации, поэтому Мещерин долго не знал о его действиях. Однако на поддержку Невзорову Мещерин приказал майору Осьмых выделить одну роту и направить ее в сторону «дракона» меж двумя танками, обеспечив движение роты разведкой.

Осьмых доложил, что в лесу обнаружено три закопанных танка и одна его рота ведет сейчас перестрелку с боевым охранением противника.

— Действуйте пока так, — приказал Мещерин. — А вы сами держите связь со своей ротой, что пойдет к «дракону», и следуйте затем за нею с остальными подразделениями, если Невзоров уже прошел вперед. Пора кончать задачу! Из этого леса немцы сами утром уйдут — к нам в плен.

На левом фланге с прежним напряжением работала наша артиллерия.

«Нельзя так долго! — думал Мещерин. — Неужели Беляков бездельник?»

Вошел радист и подал Мещерину записку от командира первого батальона: огонь немцев ослабевает, батальон обошел с запада немецкую укрепленную полосу.

— А что нам делать со вторым батальоном, Сергей Леонтьевич? — спросил Полуэктов.

— Есть у него потери?

— Командир давеча сообщал, что незначительные. Что ж, он еще и не начинал выполнять свою задачу, ему ведь штурмовать надо.

Артиллерийский огонь внезапно утих. Беляков позвонил Мещерину по телефону:

— Товарищ командир полка!.. Ваш командир второго просит сигналами прекратить огонь, у него, наверно, рация вышла из строя. Вы его не слышите?

— Нет, — сказал Мещерин. — Прекратить огонь, товарищ майор, до нашего требования.

— Есть, — произнес Беляков.

— Второй штурмует, Сергей Леонтьевич! — сказал довольный Полуэктов.

— Да, — сказал Мещерин. — А что сейчас в третьем?

Через полчаса майор Осьмых доложил, что восточный населенный пункт уже давно занят Невзоровым, а Осьмых сейчас только занял западный городок; там был гарнизон человек в полтораста, он рассеян нами, и еще там находились тылы пехотной дивизии, действующей против соседа слева.

— Все, — произнес Мещерин, — задача решена. Сейчас четыре тридцать. Скоро приедет генерал.

— Четыре тридцать, только всего, — согласился Полуэктов. — А я с вечера прожил так долго, как будто десять лет прошло, как будто мы с вами постарели, Сергей Леонтьевич.

— Да, — сказал Мещерин. — Сегодня наш полк дал «дракону» по зубам.

Подполковник положил голову на карту и десять минут спал кротко и блаженно, как в младенчестве, потом он опять поднял голову и начал работать.

Штурм лабиринта

— Ты не спеши, Алексей Алексеевич, но побей их основательно, — сказал на прощанье генерал полковнику Бакланову. — Однако и не задерживайся здесь, а то мы далеко уйдем, не догонишь.

Генерал уехал вперед; полковник остался один возле своего блиндажа, устроенного в ягоднике, в окрестности старого немецкого городка. В этом городе остался немецкий

гарнизон, снабженный мощными средствами огня и большим запасом продовольствия и боеприпасов. Немецкому гарнизону был дан приказ держаться здесь без срока, хоть до конца света, пока не прибудет к нему помощь. Полк Бакланова с приданным ему усилением — батальоном тяжелой штурмовой пехоты, батальоном резерва и артиллерией всех калибров, в том числе и самоходной, — оставлен был на месте, чтобы блокировать этот немецкий городок и взять его, тогда как наши главные силы ушли вперед преследовать противника.

Было раннее утро. Бакланов посмотрел в чужое пространство, на город, на дома, тесно умещенные на земле, подымающиеся по холму к центральной площади; в центре города еще уцелели две готические башни и к ним была подвешена на траверзах электрическая высоковольтная магистраль. «Вкуса у них нет, — подумал Бакланов, — и скучно нам здесь».

Тоска по родине мучила теперь Бакланова. Он любил русские избы, считая их самым лучшим, самым человечным архитектурным произведением; он любил плетни, полевые дороги во ржи, закаты солнца за далеким горизонтом в Орловской степи, он любил видеть женщин-крестьянок, стоящих за штурвалом комбайна, и ему нравился шум ветра в березовых рощах Подмосковья; он вспоминал теперь с грустной улыбкой и деловых сельских воробьев, и белых бабочек над желтыми цветами лишь потому, что все это существовало в России… Здесь, в Германии, был иным и вид природы, и унылый порядок жилищ, аккуратных до бездушности, и сама земля здесь пахла не теплом жизни, но какой-то химией мертвых веществ.

Полковник услышал, как в его блиндаже позвонил телефон, и ординарец Елисей Копцов сказал в трубку:

— Алло, Земля слушает.

Полковник пошел в блиндаж, там его ожидала работа; система укреплений противника в осажденном городе была ему неясна, о ней были известны лишь общие сведения по опыту истекших боев. Но Бакланов, как любой советский офицер, знал, что он имеет перед собой изобретательного, трудолюбивого противника, творящего в отчаянном сопротивлении разнообразные системы обороны, и без достаточного изучения и разведки укреплений врага нельзя штурмовать город, чтобы не проливать в слепоте напрасно крови своих войск.

Эта неизвестность общего инженерного и тактического принципа, по которому была построена вся система обороны немецкого города, тревожила Бакланова.

Артиллерийский начальник сообщил Бакланову, что он еще вчера вечером накрыл точным огнем шесть дотов в южной части города, помещавшихся в приспособленных зданиях, но утром артиллерийская разведка обнаружила, что три из разрушенных дотов снова ожили в руинах домов, а по соседству, в том же районе, возникли еще пять свежих дотов. Противник вел себя здесь, как сказочный многоглавый дракон: ему размозжили огнем шесть голов, а к утру у него отросло восемь. Это было неожиданно и смущало полковника Бакланова, и совесть его мучилась неведением, потому что всякое невежество постыдно.

Он ясно понимал, что вся тайна заключается в той инженерной идее, по которой была сооружена оборонительная система города, но идея-то эта ему была еще неизвестна; однако первоначально победа зарождается именно в истинной разведке тайны противника.

— Что есть четыре? — нараспев, но тихо спросил сам себя ординарец Копцов и ответил: — Четыре есть конечности у живого тела, четыре колеса у телеги спокон века, у круглого года времени четыре…

Алексей Алексеевич прислушался. В блиндаже за бревенчатой перегородкой жил ординарец полковника Елисей Копцов. Когда Елисей имел досуг, он обычно сидел неподвижно и тихим голосом протяжно напевал бесконечное песнопение, служившее ему источником самообразования, развитием ума и утешением. Это была мелодия, подобная звучащему сердцебиению. Алексей Алексеевич уже знал песнопение Елисея и сам иногда в скучные свободные минуты напевал его. Елисей был происхождением из Сибири, и он в свое время доложил полковнику, что песнь эту певали в старинное время в Сибири, а долговечность и прелесть ее состояли в том, что каждый человек мог ее петь по своему смыслу, глядя по душевной надобности, а старое значение песни забыто.

Теперь тоже Елисей успокаивающе произносил нараспев:

— Что есть два?

И сам отвечал себе:

— Два есть семья: боец Елисей да жена его Дарья, Дарья Матвеевна любезная моя.

Потом Елисей продолжал другие куплеты: что есть пять, что есть шесть и так далее — он

мог доходить до любого числа, по порядку и враздробь. Алексей Алексеевич спокойно работал над картой под напев Елисея, словно под музыкальный аккомпанемент.

— Что есть один? — провозглашал Елисей. И держал ответ самому себе:

— Один есть я, боец Копцов, и солнце одно, и в полку один полковой командир.

— Что есть осьмнадцать? Восемь притоков текут в Ангару, десять притоков кормят потоки Шилки-реки. Вот что осьмнадцать — такое число.

— Елисей, а что есть сто? — спросил Алексей Алексеевич.

— Сто есть жизнь, век человека! — провозгласил Елисей. — Сто годов деды наши живали и нам завещали.

В прежний раз Елисей объяснял число «сто» как число роты: сто бойцов и сто человек душ едоков. Он никогда не повторялся и всякий раз определял образ одного и того же числа по-иному. В полку уже получила распространение эта песнь-наука под именем: «Слово Елисея».

Бойцы часто в разговоре вдруг спрашивали один другого: что есть тыща или сорок один и даже что есть полтора. Задача заключалась в быстром, правильном и складном ответе, а самый смысл ответа определялся по разуму и усмотрению того, кто отвечал.

Наша артиллерия сразу открыла огонь, сделав несколько залпов, и телефонный зуммер зазвонил на столе полковника.

Начальник артиллерии полковник Кузьмин сказал по проводу о причине огня:

— Я, Алексей Алексеевич, гашу помаленьку доты. Их теперь стало вдруг одиннадцать, а по-моему, их еще больше.

— Что это, Евтихий Павлович? — спросил Бакланов. — Строят они их, что ли, под твоим огнем?

— Построены-то они еще прежде, Алексей Алексеевич, — ответил артиллерист, — но не все еще жить пущены, многие нас молча ожидают. Да не в этом сомнение. Сомнение у меня, Алексей Алексеевич, в том: почему у них и мертвые потом живут. Я накрываю огнем их в прах, — и доты были и огневые точки, — а они ставят сызнова в развалины новые пушки и опять живут. Откуда у них питание туда идет, по какой трубе?

— Заходи, Евтихий Павлович, мы подумаем, — сказал Бакланов.

Действительно, каким способом немцы производили эамену разбитых пушек новыми, питали их боеприпасами, комплектовали свежими расчетами, приспосабливали под доты прочные здания или ставили огневые средства в руинах, — как это происходило, если наблюдение с земли и с воздуха не обнаруживало никакой деятельности и движения противника на поверхности?

Артиллерийский полковник Кузьмин, войдя в блиндаж, сразу спросил:

— Елисей, что есть сорок и что есть ничто?

— Сорок, товарищ гвардии полковник, есть сумма от сложения ручьев, протоков и речек, что перешел с боем, а также и спокойно, наш полк в прусской земле! — сообщил Елисей.

— Точно! — вспомнил полковник Бакланов.

— А ничто есть промежное пространство меж нами и противником! Вот что ничто!

— В этом ничто вся сумма-то и содержится, где вычитают нашего брата-солдата, — улыбнулся полковник Кузьмин.

Полковники стали вдвоем рассматривать план старого немецкого города.

Артиллерист нанес на план отметки дотов и огневых точек по тем сведениям, какие у него были на последний час.

— Что толку, Евтихий Павлович? — сказал Бакланов. — Что толку в этих данных, если разбитый твоими пушками дот опять может жить или возникнуть как его подобие в соседнем здании, если мы даже не знаем, сколько же у него всего этих дотов или того, чем он их заменяет, и откуда он берет людей и технику и где у него находятся резервы? И потом — это не война: бить противника на ощупь, давать ему паузы для отдыха. Надо ударить раз, но наверняка и насмерть. А иначе — что толку?

Кузьмин задумался.

— Толку нет, и правда… У него, видишь ли, Алексей Алексеевич, есть бродячие доты за каменными стенами.

— Вот существо-то, черт его побрал! Это мусорный враг!

— Что же, рушить весь город? — произнес Бакланов. — Здесь нет пока такой необходимости. Это и для нашего огня накладно, это не бой, а немыслимо глупое дело.

— Дурость, конечно, — согласился артиллерист.

— Побольше ума, Евтихий Павлович, — и поменьше огня. А то мы, бывает, навалом норовим давить противника, чтоб думать не надо.

— То-то и дело, Алексей Алексеевич. Елисей, что есть девяносто один?

— Разрешите, товарищ гвардии полковник, ответить после взятия этого немецкого населенного пункта. Не положено отвлекаться мыслью от главной задачи.

— Молодец, Елисей! — сказал Бакланов. — Видишь, Евтихий Павлович, мы с тобой сейчас ошибаемся, что думаем одни. Умен, должно быть, не тот, кто надеется на одну свою голову. Вот когда в огне живешь, тогда думать за тебя некому, тогда ты уж обязан думать один, и один за всех… Елисей, сходи к начальнику штаба, он отдохнул теперь, пусть он сейчас же придет…

Когда пришел начальник штаба майор Годнев, Бакланов спросил, какие у него есть сведения об этом городе. Годнев доложил, что он уже беседовал с двумя инженер-майорами о характере сооружений в городе, показывал им план города и данные разведки. Инженеры ничего нового не открыли ему; они сказали, что этот город старой постройки, с большим запасом прочности в городских сооружениях, причем в окрестностях есть месторождения бутового камня, из которого, очевидно, и сложены фундаменты зданий.

— Это нам мало, — сказал Бакланов и стал размышлять: дивизия нам тут не поможет, армия тоже едва ли… Ну ладно, вы сейчас же, майор, запросите по радио шифром все данные об этом немецком городе — исторические и экономические. Пусть даст их нам немедленно штаб фронта — для оперативной надобности.

Майор ушел на связь исполнять поручение. Командир батальона, закрывавшего выходы из города на запад, донес Бакланову по телефону, что из города внезапно вырвались шесть средних танков, стремясь прорваться на запад; они сдерживаются противотанковой артиллерией и маневрируют сейчас на западной окрестности города. Кроме того, в тылу батальона, с северо-запада, появилась группа тяжелых танков, четыре машины, но пехоты за ними нет; эти машины стремятся, наоборот, в город; сейчас они находятся в лесной посадке и по ним также ведется огонь.

Бакланов сообщил Кузьмину обстановку и спросил его мнение: что это значит?

— А ничего особого, — сказал артиллерист. — Немцы же сволочи, и война идет, а в войне всегда хаос бывает. Если они танки из города выводят, значит, они не желают закапывать их в городе в оборону, значит, им пушки не нужны, у них, стало быть, есть их достаточно. А те четыре, что снаружи в город едут, те из какого-нибудь маленького блуждающего котелка выбрались, а теперь осиротели, отбились и хотели бы домой, ко двору, а у двора чужие части стоят… Пусти ты их свободно, Алексей Алексеевич, навстречу, а я самоходками их из засады накрою. Давай сообразим по карте, как это будет.

Они стали соображать.

— Нельзя, — неуверенно сказал Бакланов. — Я боюсь считать врага глупым. А если это его хитрость, а ведь у меня там батальон? Давай твои самоходки на северо-запад, освободи меня от тяжелых машин.

Он взял трубку и приказал командиру западного батальона:

— Петр Иванович! Поддержи еще маленько их огнем. Против тяжелых сейчас тебе поможем, против средних воюй сам и давай все время их координаты на КП артиллеристам — тебе видней. Как ты думаешь, что ты мне еще хочешь сказать?

— Ясно, товарищ полковник,— ответил командир западного.— Беспокойства большого нету. Я думаю управиться без потерь, у них машины идут не резво, веры у них нету, они пропадут…

Кузьмин ушел на свой командный пункт. Вскоре пришел начштаба Годнев.

— Есть новая разведка?

— Ничего нельзя сделать, Алексей Алексеевич. Люди ходили чуть не до центра города, проникали в дома, но дельного ничего не обнаружили и населения не видели.

— А ведь население есть, не могло оно целиком уйти отсюда.

— Не могло… Тот, что узнал кое-что, не пришел назад,— сказал Годнев.— Две группы разведчиков до сих пор не вернулись, одиннадцать человек.

— А что ты думаешь, майор?

— Трудно. Штурмовать втемную нельзя.

— Нельзя,— сказал полковник.— Этот город надо взять малым боем, но большой разведкой.

— Точно, товарищ полковник, — согласился майор.

— «Точно»! А что «точно»? Как мне надоело это слово! — рассердился Бакланов. — Все говорят «точно» и «точно» — как пластинки в патефоне. А что именно «точно», когда вы не можете предложить плана операции! Ну ладно, извините меня, я еще больше чувствую себя виноватым, чем вы.

Годнев молчал. Немного погодя позвонил Кузьмин.

— Алексеич! — сказал артиллерист. — Четыре тяжелых я изувечил, а средних пока не удается накрыть, они уходят обратно ко двору. Ну, как — хорошо, или ты недоволен?

— Что хорошего, когда плохо: шесть машин ведь уйдут, и нам еще придется с ними иметь дело! — ответил Бакланов. — Топчемся мы тут зря. Преследовать их! Преследовать их надо в упор огнем по пятам! Загнать их в трущобу, откуда они вышли! — Последние слова Бакланов произнес с тою сухою страстью, которая была свойственна его натуре; он знал, что, если мысль бывает временно бессильна, тогда полезно предаться действию, но никогда не быть в нерешительности, и действие всегда подскажет истину и даст решение.

— Есть, товарищ полковник! — ответил артиллерист. — Я сейчас попробую…

— Не пробовать надо, а делать быстро и надежно!.. Пустите им вослед четыре-пять самоходок, две-три установки пусть бьют с хода слепящим огнем по дотам с ближней дистанции, остальные преследуют танки до конца. Потом сразу мне сообщите результат… Ну все… Действуйте живым боем!

Вскоре прибыл ответ из штаба фронта. В сообщении подробно излагались все сведения об этом немецком городе: количество зданий, их стиль, время постройки, техническая характеристика сооружений, способ планировки, занятие жителей и многое другое. Бакланова более всего заинтересовали экономические сведения о районе, прилегающем к городу; это, оказывается, был старый район маслоделия и сыроварения, а город издавна обслуживал свой район как складское хозяйство и как центр оптовой торговли с потребительским западом Германии. В городе, особенно в средней его части, есть большое число зданий, говорилось в справке штаба, где подземная часть зданий относится по кубатуре к внешней, наземной, как 3: 2, потому что в подземной части находятся помещения с постоянно пониженной температурой для хранения продовольственных товаров — сливочного масла и сыра, главным образом.

— Вот что мне нужно было! — обрадовался Бакланов.

Он вызвал начальника штаба, и вместе с ним они заново прочитали план города. Здания в центре города имели два, три, иногда четыре этажа; здания стояли близко одно к другому, их внешний объем поддавался довольно точному расчету; однако подвалы под ними не

могли быть по глубине равными высоте зданий, и все же они были на $3/2$ больше объема наземных зданий, — следовательно, подземные помещения распространялись в ширину, но тогда они должны были занимать почти всю площадь в центральной части города.

Бакланов до войны был землеустроителем; он умело прикинул на счетной линейке кубатуру подземных помещений и нарисовал на плане города приблизительное очертание расположения подвалов — наименьшую площадь, которую они должны занимать.

— Ясно теперь? — спросил полковник у майора Годнева.

— Не совсем, Алексей Алексеевич.

— Ясно. Они соединили все подвалы города в один лабиринт промежуточными тоннелями, а кверху — почти в каждый монументальный дом — у них есть вертикальные шахты-выходы, по ним они и маневрируют: каждый дом может быть дотом и через полчаса им не быть. Вот в чем была загадка. В этом складском лабиринте под землей у них техника, боеприпасы, гарнизон, даже цивильные немцы, а наверху у них огневые расчеты и оперативные группы… Я думаю теперь, они туда даже танки свои закатывают…

Резкие близкие разрывы зашатали блиндаж, и две мыши появились на полу, словно ища защиты возле людей.

Ординарец Елисей подошел к полковнику и стал возле него.

— Ничего, — сказал Алексей Алексеевич, — мы им сделаем могилу в этом лабиринте.

Осыпанный землей, пришел полковник Кузьмин со своим ординарцем.

— Пугают нас, полковник! — сказал он. — Как решил действовать Алексей Алексеевич? Да ты хоть скажи поскорей, как будешь воевать: тебе голову оторвут, моя в запасе будет — и я буду знать.

И Кузьмин захохотал. Бакланов тоже засмеялся; он любил этого старого артиллериста за его характер истинного воина; он мог жить и думать под огнем спокойно и обыкновенно, лишь слегка более воодушевленно, потому что все близкие люди своей части тогда делаются особо дорогими для сердца.

— Сейчас мы им всем новую засечку сделаем, а потом я им дам жару, они у меня отсверкаются! Я их в мусор пущу! — погрозил Кузьмин.

— Не надо, это бессмысленно, береги лучше свои пушки для будущего дела, — сказал Бакланов. — Завтра мы через этот город вперед пойдем.

— Ну-ну, Алексей Алексеевич!..

Блиндаж заскрипел в древесных пазах от недалекого разрыва снаряда.

— Чего они щупают? — спросил Бакланов.

— А пускай выскажутся: мои ребята запишут их речь, а потом мы их по зубам.

— Я же говорю тебе, что не надо пока ничего, надо терпеть огонь молча. Любите вы палить, пушкари, прямо как дети — огонь зажигать!

— Ага. Ну — не надо. Разреши доложить, Алексей Алексеевич, о действиях моих самоходок.

Кузьмин взял карандаш и сделал на плане города две пометки:

— Вот здесь у них и вот тут, возле этой каланчи, есть въезды под землю, туда и ушли их танки, которых гнали мои ребята. Под каланчу ушли четыре танка, — артиллерист указал на одну готическую башню, что в центре города, — а сюда, вот у здешних амбаров, у этой архитектуры, — артиллерист уставил карандаш на здании в одном северном квартале, — сюда скрылись еще две машины.

— Не подбил ни одной? — спросил Бакланов.

— Нету, Алексей Алексеевич, не вышло. Впору было от их дотов на ходу обороняться. Тесно было от огня. Две мои машины не вернулись, а одна больная пришла.

Бакланов выслушал артиллериста и сказал ему:

— Скоро, сегодня же, ты опять пойдешь по этой дороге.

— Что? — спросил Кузьмин.

— Вот что, — произнес Бакланов и улыбнулся. Он уже знал судьбу событий вперед и был теперь счастливым от своей уверенности. — Вот, Евтихий Павлович!.. Давай с тобой так

трудиться! Садись, сейчас сообразим, как мы будем…

И они стали соображать, как надо действовать, рисуя на картах.

Затем полковник Бакланов вызвал к себе командира штурмового батальона капитана Чернова. Он рассказал ему его боевую задачу и показал на плане города, как нужно ее исполнять. По этой задаче выходило, что бой должен быть краток, но жесток и страшен. Начальник штаба уже привык к таким решениям командира, но полковнику Кузьмину понравились тщательность, осторожность, колеблющаяся осмотрительность, с которыми Бакланов начинал планировать операцию, жесткость, уверенная смелость самого решения, не похожая на его подготовку.

«Головастый солдат», — подумал артиллерист.

Капитан Чернов молча слушал полковника. Он был молодой офицер, сердце его было чувствительно, но как солдат он восхищался яростью предстоящего штурма и, размечая свою карту, доверчиво смотрел на старшего офицера. Полковник поднялся и обнял Чернова, потом поцеловал его в уста. Чернов на мгновение прильнул в ответ к груди полковника — словно для того, чтобы взять от него добавочную силу и веру, которые ему потребуются в наступающем смертном труде.

После ухода капитана полковник вызвал к себе командира резервного батальона. Этому батальону была поставлена задача — усилить штурмовые группы Чернова.

Когда все ушли и полковник освободился, ординарец Елисей робко попросил у Алексея Алексеевича, чтобы он разрешил ему пойти в резервный батальон и повоевать немного в новом бою. Время от времени Елисей Копцов ходил в боевые операции, и Бакланов разрешал ему это делать, чтобы солдат освежался в сражениях. Елисей и сам любил ходить в бой: после того ему лучше было жить в полку и он чувствовал себя более нормально.

— Хорошо, Елисей, ступай подерись, — согласился Алексей Алексеевич, — а я завтра утром сам чай заваривать не буду, я тебя дождусь.

— Обождите меня, товарищ полковник. Я после боя враз явлюсь, как и всегда допрежде было.

Бакланов улыбнулся.

— Я обожду, Елисей. А ты скажи, что есть три?

— В каждой операции положено иметь три части, товарищ полковник: разведка, план и выполнение — вот что три!

— А что есть четыре?

— А четыре, когда все три части были правильны, а противник сделал свое противоречие, и нужно делать на четвертое поправку выполнения, — вот что четыре!

«Верно, — подумал полковник. — В поправке выполнения самое главное в бою и бывает».

— Ступай, Елисей, и поправь огнем, штыком и гранатой мою ошибку!..

Елисей вышел наружу и прислушался. Вдалеке, за городом, били пушки. По звуку можно было различить стрельбу противотанковой артиллерии и удары танковых пушек.

Командир запасного батальона сообщил Бакланову по телефону, что против его расположения снова появились танки, теперь их было уже восемь, и за ними шла пехота, числом до батальона.

Новая контратака немцев не могла быть предвидена, но и ее можно заставить служить главной задаче; контратака даже облегчала тактическое решение основной задачи.

Бакланов посмотрел на часы. Сейчас ровно восемнадцать. Немцы упреждали Бакланова всего на двадцать минут.

— Ну что ж, — решил полковник, — и мы поторопимся… Сдерживайте их пока своими средствами! — указал он командиру западного. Сейчас я вам помогу.

Над блиндажом просвистел снаряд и разорвался поодаль. Из города открыли огонь немецкие импровизированные доты. Немцы поддерживали из города свои контратакующие танки и вели еще редкий огонь по другим целям.

Бакланов спросил по телефону у Кузьмина:

— Сколько сейчас всего работает огневых точек у противника?

Артиллерист ответил, что — одиннадцать.

— А сколько из них старых точек, определенных прежде?

— Старых всего пять, — ответил Кузьмин.

— А как расположены новые точки?

— Тесно к старым, Алексей Алексеевич, и вперемежку с ними. Даю вам их, наносите.

Бакланов нанес на план города шесть новых огневых точек. Они все были в пределах тех

зданий, которые получил Чернов при задаче. Всего таких зданий, сообщавшихся с подземным лабиринтом, было двадцать два. Это число установил Бакланов на основании данных артиллеристов, а также характера, зданий и их расположения.

— Начинаем, Евтихий Павлович, немедленно. Весь план упреждается на двадцать минут вперед.

— Законное дело! — обрадовался артиллерист.

Пришел майор Годнев. Бакланов дал ему поправку в первоначальный план и направил к полковнику Кузьмину.

Через несколько минут артиллерист позвонил Бакланову.

— Задача ясна, товарищ полковник. Красивое дело будет, все по закону получится.

— Давайте, Евтихий Павлович, давайте покрепче, погуще огня и побольше скорости самоходкам!..

Бакланов закрыл глаза, воображая то, что сейчас начнет происходить в натуре, в действительности, что он уже пережил незадолго в мысли и в чувстве, когда задумывал эту операцию.

Раздался знакомый голос своей артиллерии, столько раз уже слышанный, но каждый раз волнующий и влекущий, как новая музыка.

Все двадцать два здания, в которых могли существовать «бродячие» доты противника, были одновременно накрыты нашим огнем тяжелых калибров. Но по одному кварталу города в северной части велся редкий огонь из легких полевых калибров — там находился въезд в подземный лабиринт. Такой редкий огонь был назначен Баклановым. По сигналу ракетой командира самоходок этот огонь в определенный момент должен быть вовсе прекращен, — именно тогда, когда наши самоходки погонят назад танки противника, вышедшие против западного батальона.

Бакланов указал Кузьмину в поправке первоначального плана, чтобы Кузьмин выслал в распоряжение нашего западного батальона десять самоходок или сколько он может, но — побольше. Эти самоходные пушки должны отбить контратакующие танки противника и направиться в их преследование; пехотой же, следовавшей за танками, займется наш западный батальон на ее истребление. Танки противника, которые еще останутся на ходу, пойдут, наверное, в укрытие под землю, откуда они и вышли до того.

Однако въезд под землю возле готической башни накрыт нашим мощным огнем; другой въезд в лабиринт, что в северном квартале города, будет свободен от огня — туда и пойдут оставшиеся танки, желая себе спасения. Вслед за ними, хотя бы в упор, броня в броню, должны ворваться наши самоходки, они имеют задачу — прямо идти под землю, двигаясь вперед, пока работают гусеницы, и ведя огонь перед собой во тьму лабиринта. За самоходками, когда их движение в глубину лабиринта станет невозможным, проникнет далее рота из штурмового батальона Чернова. Штурмовые группы Чернова сойдут с брони, когда машины остановятся, и будут драться с противником в тесном, рукопашном бою, идя под землею все время вперед, к центральной части города, навстречу своим.

Пока Кузьмин ведет пушечный огонь наверху, остальные штурмовые группы Чернова и приданные ему подразделения из резервного батальона накапливаются к исходному рубежу, невдалеке от зоны «бродячих» дотов. После прекращения работы нашей артиллерии и обмена ракетными сигналами эти штурмовые группы одновременно блокируют все двадцать два здания-дота, сообщающиеся с их общей подземной питательной системой —

лабиринтом. Там, где еще уцелеют отдельные солдаты из огневых расчетов противника, они уничтожаются штурмовыми группами. Затем штурмовые группы проникают по вертикальным проходам под землю и ведут бой в лабиринте, двигаясь к северному выходу из-под земли, навстречу своим.

Бакланов, собственно, спроектировал бой на охват противника с флангов, — с той разницей, что вся операция происходит не на горизонтальной плоскости, а по вертикали. Одним флангом противника является северный выход лабиринта, а другим — двадцать два наземных здания. Полковник, однако, понимал, что его решение о бое «по вертикали» не исчерпывается геометрическими координатами, а меняет в его пользу самое существо операции.

Командир верил в точность своего замысла и в отважную душу своих бойцов, и все же он с трудом переживал сейчас волнение своего сердца.

И подлинно, верно ли то, что лабиринт имеет лишь два больших выхода — на севере города и у готической башни? А если таких выходов три или четыре?

Бакланова беспокоило это соображение, но он не боялся такой внезапности. Он понимал, что невозможно знать все с абсолютной достоверностью. Кто стремится лишь к абсолютному знанию, тот рискует ничего не узнать и обречен на бездействие.

Опасен был еще разрыв во времени: если проникновение в лабиринт с севера и через доты слишком не совпадает по сроку.

Много было опасного и неизвестного. Бакланов улыбнулся. «Вся война опасна», — подумал он.

Огонь утих. Пришел Годнев от Кузьмина.

— Пока все нормально, товарищ полковник. Семь танков противника подбиты, в лабиринт за одним танком противника вошли четыре наших самоходки, остальные где-то на подходе, но связи с ними пока нет.

— А сверху что, на дотах?

— Чернов прислал связного. Он говорит, что Кузьмин завалит ему своим огнем ходы под землю, и он боится, что его люди не проберутся туда.

— Проберутся, — сказал Бакланов.

Они помолчали. Снаружи была полная тишина. Бой ушел под землю.

По крайней мере, с северного конца наши штурмовые группы уже проникли в лабиринт и ударили врагу под сердце.

— Скоро Елисей должен вернуться, — произнес Бакланов. — С утра будем в дорогу собираться. Вперед поедем, майор.

— Поедем, товарищ полковник.

Зазвонил телефон. Кузьмин сказал в трубку:

— Ну как, Алексей Алексеевич?.. Тут твой Чернов с моим наблюдателем-лейтенантом связался. Он просил передать тебе, что у него только шесть дырок под землю осталось и его люди вошли туда, а остальные все дырки я завалил, проходу к немцам нету: законное дело получилось!

И артиллерист захохотал.

Кузьмин еще хотел что-то сказать, но связь с ним искусственно прервали. Командир западного батальона просил немедленно командира полка. Он доложил, что вблизи его боевого охранения из какого-то погреба, который находится в развалинах холодильника, выползают немцы и подымают руки; вышло уже и сдалось восемьдесят шесть человек, в их числе два капитана.

— Принимайте их, что же делать, — сказал Бакланов.

— Значит, у них там еще маленький выход был, — обратился полковник к Годневу. — Про него мы не знали. Мы их в бок, стало быть, выдавливаем из лабиринта.

В чистой тишине пространства они оба одновременно вдруг услышали далекий лай живой собаки.

— Значит, все, товарищ полковник, — произнес майор Годнев.

— Все, — подтвердил Бакланов. — Где же мой Елисей?

Майор ушел. Бакланов на минуту закрыл глаза и забылся во сне. В сновидении он увидел Елисея, вернувшегося из боя, черного от земли и утомления, непохожего на себя.

— Пришел, Елисей? — тихо, не слыша своего голоса, спросил полковник.

— Так точно, я — вот он, товарищ полковник, я есть один!

— А что есть один? Сложи, Елисей, вещи в дорогу, поедем вперед, дорога недальняя, скоро победа и дороге конец.

— Есть, товарищ полковник, вы поезжайте, а я после к вам приду.

— Нет, Елисей, ты со мной поедешь… Давай будем чай пить, сделай заварку погуще. В России в деревнях теперь хозяйки проснулись и печи топить начинают, потом они коров пойдут доить, а на дворах там теперь уже воробьи, должно быть, появились, они на мужиков похожи, серые деловые разумные птицы… Эх, Елисей!.. Светает уже!

— Нет, темно еще, товарищ полковник, — тихо произнес Елисей.

Он прислонился спиной к бревенчатой стене, слушая полковника, задремал и уснул, неподвижно оставшись на месте.

Полковник велел ему проснуться, чтобы он лег как следует и отдохнул. Елисей не ответил и не послушался. Бакланову очень хотелось, чтобы Елисей проснулся, он желал спросить у ординарца, как было дело в лабиринте, потому что переживание боя есть великое дело; Бакланов понимал решающую жесткость солдатского штыка, и он мог чувствовать биение человеческого сердца солдата, идущего в атаку, во тьму, и вот теперь это знающее сердце, только что испытавшее бой, было так близко от него, но безмолвно.

Бакланов крикнул Елисею, чтобы тот проснулся, и сам проснулся.

В блиндаже никого не было. Елисей не присутствовал. Он не вернулся из лабиринта и никогда уже не вернется.

1945

Сержант Шадрин

(История русского молодого человека нашего времени)

Каждое поколение, каждая эпоха создает свой образ и свой тип молодого человека. В свое время по почину Максима Горького и под его редакцией была издана большая серия романов «История молодого человека 19-го столетия». Герои этих романов — молодые люди разных национальностей, представители различных общественных классов, люди всех поколений века, носители почти всех идей своего времени, люди разной судьбы, но сердце каждого из них было искренним, ум их искал истины, а воля, если она не была уже сломлена, была устремлена к делу или подвигу — в той степени, в какой им дано было это понимать.

Мы не судьи им, молодым людям девятнадцатого столетия, но мы можем сравнить жизнь или судьбу молодого человека прошлого века, даже самого лучшего из них, с жизнью советского молодого человека эпохи Великой Отечественной войны. Сравнить, правда, трудно — столь велика разница и обстоятельства времени и характеров людей, а главное — результатов жизненного труда и подвига. В самом деле, о каком молодом поколении и какого народа можно достоверно сказать, что его жертвами и героизмом, его усилиями, соединенными с трудом и подвигом старших поколений, были спасены Родина и человечество от рабства и гибели и открыты дороги свободы в даль истории?..

Здесь мы кратко изложим историю лишь одного нашего молодого человека, нашего воина, — не одного из самых лучших, но среднего из сотен тысяч таких же прекрасных молодых наших воинов.

Он родился в селе Елани, Енисейского района, Красноярского края. Родители его крестьяне, и сам он до войны работал в колхозе, помогая родителям. С малолетства он был

приучен к труду, к заботе о семье, к дисциплине общественного труда и ответственности. Такая жизнь и воспитание и сделали из него, Александра Максимовича Шадрина, хорошего солдата. Он и до войны уже был тружеником и принял войну как высший и самый необходимый труд, превратив его в непрерывный, почти четырехлетний подвиг. Русский советский воин не образовался вдруг, когда он взял в руки автомат; он возник прежде, когда еще не знал боевого огня; характер и дух человека образуются постепенно из любви к нему родителей, из отношения к нему окружающих людей, из воспитания в нем сознания общности жизни народа.

Свою службу в 1941 году рядовой Шадрин начал под Старой Руссой, в первом учебно-лыжном батальоне. Там же он испытал первый бой с врагом. Когда огонь противника стал плотен и трудно было в первый раз переживать бой, так что иной молодой боец забывал, что ему нужно делать, командир взвода приказал по цепи:

— Работать надо, ребята! Работай огнем! Это лодырю страшно в бою, а кто работает — тому ничего.

Шадрин опомнился и стал тщательно и усердно вести огонь по заданной цели — по опушке леса, где накапливалась немецкая пехота. Работая огнем, он успокоился и понял, что командир был прав. Так он узнал первую простую солдатскую науку о войне: в бою надо быть неутомимо занятым своим делом — истреблением противника; тогда робость не войдет в твое сердце, а смерть будет идти от тебя к врагу, но не к тебе.

В начале 1942 года Шадрин был ранен, но не тяжко. Весною того же года он опять вернулся в строй и воевал на Ильмень-озере, на Сонецком заливе, что против реки Ловать. Потом, осенью 1942 года, его часть отошла в тыл на переформирование и, усиленная, направлена была на Центральный фронт, на Курскую дугу. Время было тяжелое, но солдаты понимали, что без труда ничего не дается. Для того они и шагали тогда тысячи верст по русской земле, чтобы снова выходить Родину и переменить ее судьбу — от смерти к жизни.

Сейчас уже не может вспомнить Шадрин, сколько тысяч верст прошли его молодые ноги, и, как в сновидении, встают в его воображении сотни деревень, поселков и городов, малых, больших и великих, за каждый из которых был бой, за каждый из которых пали, уснув вечным сном, близкие товарищи. И сколько горя пришлось пережить Шадрину, навсегда расставаясь с погибшими друзьями, сколько раз дрожало его сердце, когда он всматривался в последнюю минуту в дорогое утихшее лицо друга перед вечной разлукой с ним! Он не знал, как могло вместиться столь много чувства и памяти в одно солдатское сердце.

Он помнит одно придорожное кладбище. В стороне от дороги стояло несколько самодельных деревянных памятников в форме пирамидок, с красноармейской звездой наверху. На памятниках написаны имена тех, кто погребен под ними; в некоторые памятники были вделаны фотографии погибших, но солнце, ветер и дожди быстро уничтожали изображения людей, чей образ должен быть вечен в памяти живых. Шадрин в сумерки проходил мимо этого кладбища. Он увидел там тогда одинокую пожилую женщину. Женщина опустилась на колени возле одной могилы. Сначала женщина была безмолвной, а потом она стала петь колыбельную песнь своему сыну, спящему здесь, на грядущую вечную ночь.

Шадрин не знал, как нужно было утешить эту женщину-мать и можно ли было ее утешить в этот час. Но он знал, как можно утешить нашу общую Мать Родину. Он знал и чувствовал, что ненависть к противнику питается любовью к своему народу, а образ народа явился перед ним и в лице этой женщины, склонившейся над прахом своего сына.

Война нарастала в жестокости и беспощадности, в мощности оружия и длительности боев.

На Центральном фронте часть, где служил Шадрин, вошла в состав одной из армий. Первый бой на этом фронте, где дрался Шадрин, был под Муравчиком.

Немцы снова захотели здесь, на Курской дуге, повернуть войну в свою пользу и обрушили на нас мощный удар техники и живой силы. Несколько суток непрерывно шел

бой. Разрывы снарядов временами были так часты на местности, что гарь, газ, земная пыль вытеснили чистый воздух, нечем было дышать, и бойцы чувствовали угар. Но они стояли на месте, чтобы не оставлять товарищей и довести врага до изнеможения в этой битве грудь в грудь, а затем пойти вперед, на сокрушение его.

Шадрин узнал, в чем есть сила подвига. Красноармеец понимает значение своего дела, и дело это питает его сердце терпением и радостью, превозмогающими страх. Долг и честь, когда они действуют, как живые чувства, подобны ветру, а человек подобен лепестку, увлекаемому этим ветром, потому что долг и честь есть любовь к своему народу и она сильнее жалости к самому себе.

Шадрин и его товарищи стояли здесь на свою смерть за жизнь России. Они дрались с воодушевлением и яростью, и враг был истощен на месте, не двинувшись в глубину нашей земли. Здесь Шадрин снова был ранен. Но он видел и понимал, что если бы его взвод, рота, вся часть дрались плохо, если бы командование было неумелым, то он и его товарищи вовсе погибли бы.

Из госпиталя Шадрин опять вернулся в свою часть и снова пошел в бой. Это было под селом Красавка. Бой здесь был еще более ожесточенным, битва гремела одновременно почти по всей Курской дуге. После нескольких суток боев наши бойцы пошли вперед, противник был уже надломлен в духе и истощен в своей силе.

Снова Шадрин прошел мимо Муравчика, и далее солдат пошел далеко вперед — до самой победы в Берлине.

Он брал с боем Семеновку и Новозыбков, Орловской области, вышел к Гомелю и на реку Десну. Он вошел в край многочисленных рек, и каждую нужно было форсировать под огнем врага, через каждую плыть на плотах или знаменитых подручных средствах, из них самым простым иногда оказывалось — вплавь на собственном животе.

Через реку Сож рота, где служил Шадрин, переправлялась под сплошным навесом огня противника, и Шадрин до сих пор помнит волны на Соже, гонимые разрывами снарядов против течения.

В районе Речицы Шадрин переправлялся через Днепр, а в промежутках меж больших рек переходил с боем через десятки других водных потоков, и из них ни один не забыт в его памяти.

Путь солдата продолжался — сквозь огонь — на запад, по земле и через реки. Шадрин вышел на Ковельское направление, затем на Брест-Литовск и Владову на реке Буг. Это было уже очень далеко от Муравчика и Красавки. Шадрин уже сносил не одну пару сапог, но ноги его шли вперед хорошо.

Изменилась природа вокруг него, изменился вид городов и сел, и сам Шадрин изменился — он дрался теперь спокойнее, точнее и лучше, чем когда-то под Старой Руссой.

После боев за Люблин, за Прагу Варшавскую, затем за всю Варшаву Шадрин прошел пешим маршем с боями пятьсот семьдесят километров за четырнадцать суток — от Варшавы до Дойч-Крона, что на правом берегу Одера.

Перед этим походом Шадрин находился на высоте 119 под Рушполье. Немцы контратаковали эту высоту много раз и большими силами. Пали смертью храбрых многие товарищи Шадрина, пали все офицеры; тогда сержант Шадрин принял на себя командование ротой, и высота осталась за нами. Высота после боя изменилась от огня, она стала как бы меньше; Шадрин устал, но не изменился.

После Рушполья Шадрин шел четырнадцать суток, в среднем по сорок километров в сутки, сбивая по дороге противника, нагруженный, кроме личных вещей и снаряжения, минометом. Одежда снашивалась на нем, истирался от огневой работы металл оружия, но Шадрин, когда приходилось как следует поесть и выспаться, не чувствовал, чтобы тело его оплошало или душа стала равнодушной.

Здесь было идти веселее, чем ходить по России в сорок первом или сорок втором году.

Из Дойч-Крона часть, где служил Шадрин, переправилась на левобережный плацдарм Одера, а оттуда — на восточную окраину Берлина.

Здесь Шадрин сел на броню танка, обошел Берлин с запада и после двухсуточного боя ворвался в Потсдам. Здесь бой был особый, он проходил и на земле и под землей, в тоннелях, в подвалах, в подземных галереях, во мраке глубоких казематов и в бункерах.

День и ночь работал Шадрин у минометов; душевное удовлетворение успешным боем поглощало без остатка утомление советского воина. На его глазах зло мира обращалось в руины, и его миномет превращал в трупы живую силу зла — фашистских солдат.

После завоевания Берлина Шадрин пошел далее на запад, к реке Эльбе. Здесь снова был бой. Сутки непрерывно дрался Шадрин на Эльбе, но это был уже последний бой войны. После боя Шадрин умылся в Эльбе, лег на землю и посмотрел на небо. Ясность неба и его бесконечность были родственны его душе. «Все! — сказал вслух Шадрин. — Свети теперь, солнце, а ночью — звезды!» — и уснул.

На чужой земле лежал худощавый молодой человек со светлыми волосами, с потемневшим от ветра и солнца лицом, пришедший сюда из Сибири. Он спал сейчас счастливым, с выражением кротости на изможденном лице. Он совершил то, чего никто еще не совершал; велика его душа, благотворно его тело и прекрасна его молодость, вся исполненная подвига.

Это было седьмого мая 1945 года.

С тех пор миновало уже много времени. Шадрин по-прежнему служит в Красной Армии. Останется ли он в ней пожизненно или уйдет в гражданскую жизнь на свою родину, в Сибирь, — неизвестно. Но пожизненно останется в душе Шадрина чувство вечной, кровной связи с армией, ставшей для него семьей, домом и школой за годы войны. Пожизненно долг и честь останутся законом его сердца и поведения, и пожизненно он будет тружеником — на хлебной ли ниве, в мастерской завода или в солдатском строю, — потому что он воспитан в подвиге, а подвиг есть высший труд, тот труд, который оберегает народ от смерти. И этот подвиг — труд солдат — матери, рождающей народ. И так же у нас священно существо солдата, как священна мать.

1945

Полотняная рубаха

Дело было во время войны. Я лежал в госпитале, в просторной горнице деревенского дома, а дом тот стоял на берегу озера, недалеко от Минска. Рядом со мною лежал раненый танкист, старшина Иван Фирсович Силин. Он был ранен в грудь навылет; наружный воздух, как ему казалось, проникал в него через рану до самого сердца, и Силин постоянно зябнул. Первые дни Иван Силин лежал в лихорадочном бреду или в дремотном забытьи и говорил со мною мало. Он спросил у меня только, чей я сам и откуда родом, — и умолк. Должно быть, Силин хотел узнать, не земляк ли я ему, не дальний ли родственник. Это ему нужно было знать на случай своей смерти, чтобы я, вернувшись на родину, рассказал там о Силине его семейным и близким людям. Однако я родился далеко от Силина.

— Нет, ты не тот! — вздохнул Силин.

— Не тот, — сказал я.

Через неделю Ивану Фирсовичу стало лучше; дышать он начал свободнее, и смертная синюха сошла с его лица. Теперь он уже более походил на самого себя, и я увидел его серые глаза, заблестевшие жизненной силой, и широкое, рябое, доброе лицо, мягкое, как пашня.

— Ты не спишь? — спросил он у меня.

— Нет. А что?

— Так. Умирать неохота.

— А мы не будем.

— Будем-то будем, — сказал Иван Силин, — как не будем? Да не скоро.

— Ну и что ж! — ответил я ему. — Если не скоро — это не беда.

— Беда! Как не беда! — сказал Силин. — Я никогда не хочу помирать! Сто лет

проживу — не захочу, и ты не захочешь.

— Я бы лет в сто шестьдесят пожалуй бы захотел.

— Врешь. Опять бы прибавки попросил, опять бы капли пил и пульс считал.

— Кто ее знает…

— Как — кто ее знает? — рассерчал Иван Фирсович. — Да я знаю! Мне вот мать, родная моя мать, умирать никогда не велела! И чего со мной не было, — из другого бы давно весь дух вышел, и из меня выходил, — сколько раз я кровью весь исходил, да напоследок сожмусь в последний остаток, разгневаюсь весь, сберегу одну живую каплю крови и от нее опять согреюсь и отдышусь. И вот живу и буду жить, хоть огонь прошел меня насквозь и две дырки в легких оставил, дышать трудно, холодно мне дышать…

И Силин рассказал про свою жизнь, что с ним было.

— Я начал помнить жизнь с того утра, как я проснулся, прижавшись к матери. Я всегда спал рядом с матерью, у нас была в комнате одна железная кровать, и еще деревянный стол, и две табуретки. Отца у меня не было, он умер давно, я его совсем не помню. Остались мы с матерью двое на свете и стали жить. Это было еще до революции, я тогда родился. Жили мы так бедно, как во сне теперь может присниться: у нас ничего не было, ничего не хватало — ни хлеба с картошкой, ни дров в зиму, ни керосину для света, ни одежды никакой, и хозяин дома из комнаты гнал — за то, что матери нечем было платить за комнату, рубль в месяц. Мать работала поденщицей, она делала всякую работу, что люди ей давали, — белье стирала, полы мыла, дрова колола, возле умирающих сидела, как бы вот при нас с тобой… Она за все бралась, лишь бы меня чем было кормить, лишь бы меня вырастить, а самой потом умереть. Разве можно было жить в той злостной жизни! Рассерчать надо было, прогневаться всем народом, — да это случилось позже, а мы тогда мучились… А, да не о том я все рассказываю! Я тебе про сердце свое хочу рассказать, что оно чувствовало. Много говорить мне некогда, дыхания не хватит… От голода я рос тихо, долго был маленьким. И помню, как я горевал, как плакал, когда мать уходила на работу, до вечера я тосковал по ней и плакал. И где бы я ни был, я всегда скорее бежал домой, со сверстниками-ребятишками я играл недолго — скучать начинал; за хлебом в лавку пойду, обратно тоже бегу и от хлеба куска не отщипну, весь хлеб целым приносил. А вечером мне было счастье. Мать укладывала меня спать и сама ложилась рядом; она всегда была усталая и не могла со мною сидеть и разговаривать. И я спал, я сладко спал, прижавшись к матери; это было мое время. Никого и ничего у меня не было на свете, все было чужим вокруг нас; не было у меня ни одной игрушки; помню какой-то пустой пузырек, его я нашел во дворе, и еще обглоданную сломанную деревянную ложку, я не играл ими, а держал их в руках, перекладывал их и думал что-то. Была у меня только одна родная мать. И к ней я прижимался, я целовал ее нательную рубаху и гладил рубаху рукою, я всю жизнь помню ее теплый запах, этот запах для меня самое чистое, самое волнующее благоухание… Ты этого, наверно, пе понимаешь?

— Нет, — ответил я. — Моя мать умерла при моих родах, я ничего о ней не знаю, и отца не помню.

— Это плохо… Тебе плохо! — сказал Иван Фирсович. — Кто ни отца, ни матери не помнит, тот и солдатом редко бывает хорошим, я это замечал…

Он отдышался раненой, больной грудью и опять заговорил о своей жизни:

— Утром мать подымалась рано, а я держался за ее рубаху и не отпускал от себя. Мать жалела меня, и чтобы я не скучал по ней, когда ее нету, она отдала мне свою нательную рубаху, а она у нее была одна. И когда мне было страшно или скучно, я прижимал к себе материнскую рубаху и целовал ее, — тогда я словно чувствовал мать около себя, и мне бывало легче. Рубаха матери сшита из полотна, сколько я ни теребил ее, а она все цела… Незадолго до Октябрьской революции, мне было лет девять-десять, мать моя умерла. Она заболела воспалением легких; теплой одежды у нее не было, сентябрь стоял холодный, и она умерла. Перед смертью она тосковала и целовала меня, — она все боялась оставить меня одного на свете, она боялась, что меня затопчут люди, что я погибну без нее и меня даже не заметит никто. Умирая, она велела мне жить. Она обняла меня, а другую руку подняла на

кого-то, будто защищая меня, — да только рука ее тут же опустилась от слабости.

«А ты живи, ты живи — не бойся! — говорила она мне. — Побей, кто тебя ударит. Живи долго, живи за меня, за нас всех, не умирай никогда, я тебя люблю». Она отвернулась к стене и умерла сердитой; она, должно быть, знала, что жизнь у нее отнята насильно, но я тогда ничего этого не знал, я только запомнил все, как было. И с тех пор я всю жизнь храню при себе полотняную рубаху моей бедной, мертвой, вечной моей матери. Рубаха уже почти истлела, а цела еще, и в ней я всегда чувствую мать, в ней она бережется для меня…

Без матери я бы, наверно, погиб и давно бы умер, но тогда в мир пришел Ленин, началась революция. Я уже был мальчиком, потом юношей, я научился понимать жизнь. Ленин для меня, круглого сироты, стал отцом и матерью, я почувствовал издалека, что я нужен ему, — это я, который никому был не нужен и заброшен, — и отдал ому все свое сердце, отдал навсегда — до могилы и после могилы. Что ж мать, — она умерла, а мне велела жить, и жить сильно, гневно против зла. Но зачем было мне жить, этого мать не сказала. Это сказал мне Ленин, и во мне тогда, в ранней юности, засветилось сердце, мне явилась мысль, и я стал счастливым… Вот слушан дальше. Если ты хочешь знать, в Ленине для меня будто снова воскресла мать, и для меня он больше, чем мать, — ведь мать была только несчастной женщиной, мученицей, умершей в рабстве, а Ленин! — знаешь ли ты, кем был и есть Ленин?

— Знаю, — сказал я.

— Не знаешь! — произнес Иван Силин. — И вот я жил и жил, и воздуха для жизни становилось все больше и больше, как и для всех людей в нашей рабочей стране… А изредка я доставал старую полотняную материнскую рубаху и целовал ее, тогда боль воспоминания о матери огнем проходила во мне; однако я чувствовал, что мать словно все более далеко и год от году все дальше уходила от меня, но я все еще вндел ее в своей памяти; она не звала меня за собой и была довольна, что я живу, как она велела, но я понял, что как только она уйдет далеко-далеко, когда я уже не разгляжу ее в своем воспоминании, тогда я и сам умру, только это будет не скоро, — может быть, никогда этого не будет, потому что мертвые матери тоже любят нас: она опять станет ближе ко мне… Во время войны я хранил материнскую рубаху у себя на груди, за пазухой; сейчас только она у меня под подушкой… Ты вот не знаешь, ты не поймешь, как легко бывает умереть, как умираешь с жадностью и с ясной мыслью, когда идешь на смерть под знаменем родины, и родина эта живет в твоем сердце, как истина, как Ленин, и ты прижимаешь ее к себе, как бедную рубаху дорогой матери… А все-таки жалко бывает перед смертью этой прелести и сказочности жизни! Ты этого не поймешь, ты едва ли жертвовал собою…

— Я это понимаю, — ответил я.

— Не понимаешь, — сказал Силин, — и не поймешь!.. Вот со мной как было, — ты слыхал о Проне-реке?

— Слыхал.

— Мы форсировали Проню как раз в утро самой короткой ночи: значит, это было двадцать второго июня сорок четвертого года. Всю ночь работала наша авиация, на рассвете ударила артиллерия, потом пошли мы. Вот перешли мы рубеж, Проню эту реку, идем вперед, вошли в полосу прорыва, я веду машину, башнер бьет по целям, — бой идет нормально. И время в том бою скоро прошло, мы воевали прилежно. Вдруг командир машины мне: боекомплект весь, огонь нечем вести. А из боя нас не выводят, задача все еще решается, противник хоть и дрогнул и отходит, а живой. Приказа выходить из боя нет — мы идем в преследование. Веду я машину и вижу плоховатый кое-как огороженный, но живой дзот противника, бьет оттуда тяжелый пулемет, я живьем вижу струю огня, вижу, как пулеметчик стволы водит в щелевом зазоре. И я знаю, куда он бьет, — по нашей пехоте. А в пехоте идут такие же дети Ленина, как я, и у них были матери, также завещавшие им жить долго и вечно. Но где же вечно, когда их сечет сейчас огонь насмерть? Я закрыл глаза и открыл их; я почему-то подумал, — может, пулемет противника прекратит огонь в эту минуту, может, ствол у него перегреется или наши в него влепят. А пулемет бьет, а у нас огня нету.

Командир мне: видишь, дескать, положение! Я ему: вижу! Страшно нам и стыдно стало. Командир, а ну! И я понял его, он подумал одинаково, что я, в крайнем чувстве люди похожи. Я повернул машину — и прямо на дзот, раздавлю его сейчас! И опять я вижу их пулемет: он работает огнем в упор, в грудь нашей пехоты, и наши цепи залегают. Тут злоба во мне стала сильной и увлекательной, будто вся жизнь в ней. От той злобы я стал весь как богатырь… Я тронул рукою свою грудь, там, глубоко под комбинезоном, хранилась рубаха моей матери. «Мама, думаю, видишь!» — и наехал машиной на врага. Машина просела в бревна, в грунт, это я еще помню и помню, как сразу со всох оборотов отрезало мотор, — потом я не помню себя. А очнувшись, я понял, что вышло: дзот мы раздавили со всей его начинкой, но сами тоже подорвались. Я опробовал себя, — чувствую, остался целым, контузило маленько, голова болит, из носа кровь. Эх, думаю, и не сгорел я, не велела мне мать умирать, я и не буду. И тут же вспомнил: а вдруг меня заклинило в машине, не выберусь! Нет, выбрался… — Силин умолк.

— И все? — спросил я.

— Не все, нету. Откуда же все? Сейчас отдышусь…

— И я чувствую — не все!

— А чего ты чувствуешь! — сказал Силин. — Зря ты чувствуешь, ты же не знаешь, что было со мной… Выбрался-то я выбрался, да у машины и залег: противник повел сильный огонь. Навдалеке, так обок машины, гляжу, лежит командир моей машины и с ним наш башенный стрелок Николай Верзий; они вели огонь из личного оружия. Я огляделся и сообразил: противник нас контратакует, дело ясное. Я хотел перебежками приблизиться к своему командиру. Приподнялся я чуть-чуть, и сразу ожгло меня. В груди стало тепло, потом пусто и прохладно, я приник обратно к земле, слабый, как сонный. И два немца из земли бросаются на меня, — земля изрыта кругом, кто и близко, не видно того, — бросаются они на меня… И в тот же момент были они — и нету их, пали они оба на землю. Сразил их кто-то, наш боец, и не слышно было, чем сразил; встал он надо мной и говорит: живи, брат, — а сам далее в бой ушел. После видели того бойца и другие, он отличился, говорят; я спрашивал о нем, когда меня в госпиталь эвакуировали, да говорили о нем разное; бой ведь скоро забывается — один так расскажет, другой иначе. Сказали мне его имя, но опять неправильно, никто на такую фамилию не отзывается. Ты не слыхал про такого: Вермишельник Демон, или Демьян, что ль, Иванович?

— Слыхал, — сказал я. — Его зовут Карусельников Демьян Иванович.

— Вот так вернее, — согласился Иван Фирсович. — А то Демона придумали!.. А где он сейчас, не знаешь?

— Знаю.

— Жив он?

— Живой.

— Где он, не знаешь?

— Он тут, — сказал я. — Демьян Карусельников.

— Где?.. Ты, что ль? Едва ли!

— Так точно, старшина, это я.

— А непохож! — сказал Силин. — Ты не похож на того, хоть я его и не разглядел, не помню совсем… Вот как оно вышло! А ведь ты говорил — у тебя не было ни отца, ни матери, что ты безотцовщипа…

— Материнской рубахи у меня не было за пазухой… А родина у меня есть и Ленин есть, как у тебя. От них, сам видишь, и ты жив и я цел. Стало быть, и я не безотцовщина.

Возвращение

Алексей Алексеевич Иванов, гвардии капитан, убывал из армии по демобилизации. В части, где он прослужил всю войну, Иванова проводили, как и быть должно, с сожалением, с любовью, уважением, с музыкой и вином. Близкие друзья и товарищи поехали с Ивановым

на железнодорожную станцию и, попрощавшись там окончательно, оставили Иванова одного. Поезд, однако, опоздал на долгие часы, а затем, когда эти часы истекли, опоздал еще дополнительно. Наступала уже холодная осенняя ночь; вокзал был разрушен в войну, ночевать было негде, и Иванов вернулся на попутной машине обратно в часть. На другой день сослуживцы Иванова снова его провожали; они опять пели песни и обнимались с убывающим в знак вечной дружбы с ним, но чувства свои они затрачивали уже более сокращенно, и дело происходило в узком кругу друзей.

Затем Иванов вторично уехал на вокзал; на вокзале он узнал, что вчерашний поезд все еще не прибыл, и поэтому Иванов мог бы, в сущности, снова вернуться в часть на ночлег. Но неудобно было в третий раз переживать проводы, беспокоить товарищей, и Иванов остался скучать на пустынном асфальте перрона.

Возле выходной стрелки станции стояла уцелевшая будка стрелочного поста. На скамейке у той будки сидела женщина в ватнике и теплом платке; она и вчера там сидела при своих вещах и теперь сидит, ожидая поезда. Уезжая вчера ночевать в часть, Иванов подумал было — не пригласить ли и эту одинокую женщину, пусть она тоже переночует у медсестер в теплой избе, зачем ей мерзнуть всю ночь, неизвестно, сможет ли она обогреться в будке стрелочника. Но пока он думал, попутная машина тронулась, и Иванов забыл об этой женщине.

Теперь эта женщина по-прежнему неподвижно находилась на вчерашнем месте. Это постоянство и терпение означали верность и неизменность женского сердца, по крайней мере в отношении вещей и своего дома, куда эта женщина, вероятно, возвращалась. Иванов подошел к ней: может быть, ей тоже не так будет скучно с ним, как одной.

Женщина обернулась лицом к Иванову, и он узнал ее. Это была девушка, ее звали «Маша — дочь пространщика», потому что так она себя когда-то назвала, будучи действительно дочерью служащего в бане, пространщика. Иванов изредка за время войны встречал ее, наведываясь в один БАО, где эта Маша, дочь пространщика, служила в столовой помощником повара по вольному найму.

В окружающей их осенней природе было уныло и грустно в этот час. Поезд, который должен отсюда увезти домой и Машу и Иванова, находился неизвестно где в сером пространстве. Единственное, что могло утешить и развлечь сердце человека, было сердце другого человека.

Иванов разговорился с Машей, и ему стало хорошо. Маша была миловидна, проста душою и добра своими большими рабочими руками и здоровым, молодым телом. Она тоже возвращалась домой и думала, как она будет жить теперь новой, гражданской жизнью; она привыкла к своим военным подругам, привыкла к летчикам, которые любили ее, как старшую сестру, дарили ей шоколад и называли «просторной Машей» за ее большой рост и сердце, вмещающее, как у истинной сестры, всех братьев в одну любовь, и никого в отдельности. А теперь Маше непривычно, странно и даже боязно было ехать домой к родственникам, от которых она уже отвыкла.

Иванов и Маша чувствовали себя сейчас осиротевшими без армии; однако Иванов не мог долго пребывать в уныло-печальном состоянии, ему казалось, что в такие минуты кто-то издали смеется над ним и бывает счастливым вместо него, а он остается лишь нахмуренным простачком. Поэтому Иванов быстро обращался к делу жизни, то есть он находил себе какое-либо занятие или утешение, либо, как он сам выражался, простую подручную радость — и тем выходил из своего уныния. Он придвинулся к Маше и попросил, чтобы она по-товарищески позволила ему поцеловать ее в щеку.

— Я чуть-чуть, — сказал Иванов, — а то поезд опаздывает, скучно его ожидать.

— Только поэтому, что поезд опаздывает? — спросила Маша и внимательно посмотрела в лицо Иванову.

Бывшему капитану было на вид лет тридцать пять, кожа на лице его, обдутая ветрами и загоревшая на солнце, имела коричневый цвет, серые глаза Иванова глядели на Машу скромно, даже застенчиво, и говорил он хотя и прямо, но деликатно и любезно. Маше

понравился его глухой, хриплый голос пожилого человека, его темное грубое лицо и выражение силы и беззащитности на нем. Иванов погасил огонь в трубке большим пальцем, нечувствительным к тлеющему жару, и вздохнул в ожидании разрешения. Маша отодвинулась от Иванова. От него сильно пахло табаком, сухим поджаренным хлебом, немного вином — теми чистыми веществами, которые произошли из огня или сами могут родить огонь. Похоже было, что Иванов только и питался табаком, сухарями, пивом и вином. Иванов повторил свою просьбу.

— Я осторожно, я поверхностно, Маша… Вообразите, что я вам дядя.

— Я вообразила уже… Я вообразила, что вы мне папа, а не дядя.

— Вон как… Так вы позволите?

— Отцы у дочерей не спрашивают, — засмеялась Маша.

Позже Иванов признавался себе, что волосы Маши пахнут, как осенние павшие листья в лесу, и он не мог их никогда забыть… Отошедши от железнодорожного пути, Иванов разжег небольшой костер, чтобы приготовить яичницу на ужин для Маши и для себя.

Ночью пришел поезд и увез Иванова и Машу в их сторону, на родину. Двое суток они ехали вместе, а на третьи сутки Маша доехала до города, где она родилась двадцать лет тому назад. Маша собрала свои вещи в вагоне и попросила Иванова поудобнее заправить ей на спину мешок, но Иванов взял ее мешок себе на плечи и вышел вслед за Машей из вагона, хотя ему еще оставалось ехать до места более суток.

Маша была удивлена и тронута вниманием Иванова. Она боялась сразу остаться одна в городе, где она родилась и жила, но который стал теперь для нее почти чужбиной. Мать и отец Маши были угнаны отсюда немцами и погибли в неизвестности, а теперь остались у Маши на родине лишь двоюродная сестра и две тетки, и к ним Маша не чувствовала сердечной привязанности.

Иванов оформил у железнодорожного коменданта остановку в городе и остался с Машей. В сущности, ему нужно было бы скорее ехать домой, где его ожидала жена и двое детей, которых он не видел четыре года. Однако Иванов откладывал радостный и тревожный час свидания с семьей. Он сам не знал, почему так делал, может быть потому, что хотел погулять еще немного на воле.

Маша не знала семейного положения Иванова и по девичьей застенчивости не спросила его о нем. Она доверилась Иванову по доброте сердца, не думая более ни о чем.

Через два дня Иванов уезжал далее, к родному месту. Маша провожала его на вокзале. Иванов привычно поцеловал ее и любезно обещал вечно помнить ее образ.

Маша улыбнулась в ответ и сказала:

— Зачем меня помнить вечно? Этого не надо, и вы все равно забудете… Я же ничего не прошу от вас, забудьте меня.

— Дорогая моя Маша… Где вы раньше были, почему я давно-давно не встретил вас?

— Я до войны в десятилетке была, а давно-давно меня совсем не было…

Поезд пришел, и они попрощались. Иванов уехал и не видел, как Маша, оставшись одна, заплакала, потому что никого не могла забыть: ни подруги, ни товарища, с кем хоть однажды сводила ее судьба. Иванов смотрел через окно вагона на попутные домики городка, который он едва ли когда увидит в своей жизни, и думал, что в таком же подобном домике, но в другом городе, живет его жена Люба с детьми Петькой и Настей, и они ожидают его; он еще из части послал жене телеграмму, что он без промедления выезжает домой и желает как можно скорее поцеловать ее и детей.

Любовь Васильевна, жена Иванова, три дня подряд выходила ко всем поездам, что прибывали с запада. Она отпрашивалась с работы, не выполняла нормы и по ночам не спала от радости, слушая, как медленно и равнодушно ходит маятник стенных часов. На четвертый день Любовь Васильевна послала на вокзал детей — Петра и Настю, чтобы они встретили отца, если он приедет днем, а к ночному поезду она опять вышла сама.

Иванов приехал на шестой день. Его встретил сын Петр; сейчас Петрушке шел уже двенадцатый год, и отец не сразу узнал своего ребенка в серьезном подростке, который

казался старше своего возраста. Отец увидел, что Петр был малорослый и худощавый мальчуган, но зато головастый, лобастый, и лицо у него было спокойное, словно бы уже привычное к житейским заботам, а маленькие карие глаза его глядели на белый свет сумрачно и недовольно, как будто повсюду они видели один непорядок. Одет-обут Петрушка был аккуратно: башмаки на нем были поношенные, но еще годные, штаны и куртка старые, переделанные из отцовской гражданской одежды, но без прорех — где нужно, там заштопано, где потребно, там положена латка, и весь Петрушка походил на маленького небогатого, но исправного мужичка. Отец удивился и вздохнул.

— Ты отец, что ль? — спросил Петрушка, когда Иванов его обнял и поцеловал, приподнявши к себе. — Знать, отец.

— Отец… Здравствуй, Петр Алексеевич.

— Здравствуй… Чего ехал долго? Мы ждали-ждали.

— Это поезд, Петя, тихо шел… Как мать и Настя: живы-здоровы?

— Нормально, — сказал Петр. — Сколько у тебя орденов?

— Два, Петя, и три медали.

— А мы с матерью думали — у тебя на груди места чистого нету. У матери тоже две медали есть, ей по заслуге выдали… Что ж у тебя мало вещей — одна сумка?

— Мне больше не нужно.

— А у кого сундук, тому воевать тяжело? — спросил сын.

— Тому тяжело, — согласился отец. — С одной сумкой легче. Сундуков там ни у кого не бывает.

— А я думал — бывает. Я бы в сундуке берег свое добро — в сумке сломается и помнется.

Он взял вещевой мешок отца и понес его домой, а отец пошел следом за ним.

Мать встретила их на крыльце дома; она опять отпросилась с работы, словно чувствовало ее сердце, что муж сегодня приедет. С завода она сначала зашла домой, чтобы потом пойти на вокзал. Она боялась — не явился ли домой Семен Евсеевич: он любит заходить иногда днем, у него есть такая привычка — являться среди дня и сидеть вместе с пятилетней Настей и Петрушкой. Правда, Семен Евсеевич никогда пустой не приходит, он всегда принесет что-нибудь для детей — конфет, или сахару, или белую булку, либо ордер на промтовары. Сама Любовь Васильевна ничего плохого от Семена Евсеевича не видела; за все эти два года, что они знали друг друга, Семен Евсеевич был добр к ней, а к детям он относился, как родной отец, и даже внимательнее иного отца. Но сегодня Любовь Васильевна не хотела, чтобы муж увидел Семена Евсеевича; она прибрала кухню и комнату, в доме должно быть чисто и ничего постороннего. А позже, завтра или послезавтра, она сама расскажет мужу всю правду, как она была. К счастью, Семен Евсеевич сегодня не явился.

Иванов приблизился к жене, обнял ее и так стоял с нею, не разлучаясь, чувствуя забытое и знакомое тепло любимого человека.

Маленькая Настя вышла из дома и, посмотрев на отца, которого она не помнила, начала отталкивать его от матери, упершись в его ногу, а потом заплакала. Петрушка стоял молча возле отца с матерью, с отцовским мешком за плечами: обождав немного, он сказал:

— Хватит вам, а то Настька плачет, она не понимает.

Отец отошел от матери и взял к себе на руки Настю, плакавшую от страха.

— Настька! — окликнул ее Петрушка. — Опомнись, кому я говорю! Это отец наш, он нам родня!..

В доме отец умылся и сел за стол. Он вытянул ноги, закрыл глаза и почувствовал тихую радость в сердце и спокойное довольство. Война миновала. Тысячи верст исходили его ноги за эти годы, морщины усталости лежали на его лице, и глаза резала боль под закрытыми веками — они хотели теперь отдыха в сумраке или во тьме.

Пока он сидел, вся его семья хлопотала в горнице и на кухне, готовя праздничное угощение. Иванов рассматривал все предметы дома по порядку: стенные часы, шкаф для посуды, термометр на стене, стулья, цветы на подоконниках, русскую кухонную печь…

Долго они жили здесь без него и скучали по нем. Теперь он вернулся и смотрел на них, вновь знакомясь с каждым, как с родственником, жившим без него в тоске и бедности. Он дышал устоявшимся родным запахом дома — тлением дерева, теплом от тела своих детей, гарью на печной загнетке. Этот запах был таким же, как и четыре года тому назад, и он не рассеялся и не изменился без него. Нигде более Иванов не ощущал этого запаха, хотя он бывал за войну по разным странам в сотнях жилищ; там пахло иным духом, в котором, однако, не было запаха родного дома. Иванов вспомнил еще запах Маши, как пахли ее волосы; но они пахли лесною листвой, незнакомой заросшей дорогой, не домом, а снова тревожной жизнью. Что она делает сейчас и как устроилась жить по-граждански, Маша — дочь пространщика? Бог с ней…

Иванов видел, что более всех действовал по дому Петрушка. Мало того, что он сам работал, он и матери с Настей давал указания, что надо делать и что не надо и как надо делать правильно. Настя покорно слушалась Петрушку и уже не боялась отца, как чужого человека; у нее было живое сосредоточенное лицо ребенка, делающего все в жизни по правде и всерьез, и доброе сердце, потому что она не обижалась на Петрушку.

— Настька, опорожни кружку от картошечной шкурки, мне посуда нужна…

Настя послушно освободила кружку и вымыла ее. Мать меж тем поспешно готовила пирог-скородум, замешанный без дрожжей, чтобы посадить его в печку, в которой Петрушка уже разжег огонь.

— Поворачивайся, мать, поворачивайся живее! — командовал Петрушка. — Ты видишь, у меня печь наготове. Привыкла копаться, стахановка!

— Сейчас, Петруша, я сейчас, — послушно говорила мать. — Я изюму положу, и все, отец ведь давно, наверно, не кушал изюма. Я давно изюм берегу.

— Он ел его, — сказал Петрушка. — Нашему войску изюм тоже дают. Наши бойцы, гляди, какие мордастые ходят, они харчи едят… Настька, чего ты села — в гости, что ль, пришла? Чисть картошку, к обеду жарить будем на сковородке… Одним пирогом семью не укормишь!

Пока мать готовила пирог, Петрушка посадил в печь большим рогачом чугун со щами, чтобы не горел зря огонь, и тут же сделал указание и самому огню в печи:

— Чего горишь по-лохматому, ишь во все стороны ерзаешь! Гори ровно. Грей под самую еду, даром, что ль, деревья на дрова в лесу росли… А ты, Настька, чего ты щепу как попало в печь насовала, надо уложить ее было, как я тебя учил. И картошку опять ты чистишь по-толстому, а надо чистить тонко — зачем ты мясо с картошки стругаешь: от этого у нас питание пропадает… Я тебе сколько раз про то говорил, теперь последний раз говорю, а потом по затылку получишь!

— Чего ты, Петруша, Настю-то все теребишь, — кротко произнесла мать. — Чего она тебе? Разве сноровится она столько картошек очистить, и чтоб тебе тонко было, как у парикмахера, нигде мяса не задеть… К нам отец приехал, а ты все серчаешь!

— Я не серчаю, я по делу… Отца кормить надо, он с войны пришел, а вы добро портите… У нас в кожуре от картошек за целый год сколько пищи-то пропало?.. Если б свиноматка у нас была, можно б ее за год одной кожурой откормить и на выставку послать, а на выставке нам медаль бы дали… Видали, что было бы, а вы не понимаете!

Иванов не знал, что у него вырос такой сын, и теперь сидел и удивлялся его разуму. Но ему больше нравилась маленькая кроткая Настя, тоже хлопочущая своими ручками по хозяйству, и ручки ее уже были привычные и умелые. Значит, они давно приучены работать по дому.

— Люба, — спросил Иванов жену, — ты что же мне ничего не говоришь — как ты это время жила без меня, как твое здоровье и что на работе ты делаешь?..

Любовь Васильевна теперь стеснялась мужа, как невеста: она отвыкла от него. Она даже краснела, когда муж обращался к ней, и лицо ее, как в юности, принимало застенчивое, испуганное выражение, которое столь нравилось Иванову.

— Ничего, Алеша… Мы ничего жили. Дети болели мало, я растила их… Плохо, что я

дома с ними только ночью бываю. Я на кирпичном работаю, на прессу, ходить туда далеко…

— Где работаешь? — не понял Иванов.

— На кирпичном заводе, на прессу. Квалификации ведь у меня не было, сначала я во дворе разнорабочей была, а потом меня обучили и на пресс поставили. Работать хорошо, только дети одни и одни… Видишь, какие выросли? Сами все умеют делать, как взрослые стали, — тихо произнесла Любовь Васильевна. — К хорошему ли это, Алеша, сама не знаю…

— Там видно будет, Люба… Теперь мы все вместе будем жить, потом разберемся — что хорошо, что плохо…

— При тебе все лучше будет, а то я одна не знаю — что правильно, а что нехорошо, и я боялась. Ты сам теперь думай, как детей нам растить…

Иванов встал и прошелся по горнице.

— Так, значит, в общем ничего, говоришь, настроение здесь было у вас?

— Ничего, Алеша, все уже прошло, мы протерпели. Только по тебе мы сильно скучали, страшно было, что ты никогда к нам не приедешь, что ты погибнешь там, как другие…

Она заплакала над пирогом, уже положенным в железную форму, и слезы ее закапали в тесто. Она только что смазала поверхность пирога жидким яйцом и еще водила ладонью руки по тесту, продолжая теперь смазывать праздничный пирог слезами.

Настя обхватила ногу матери руками, прижалась лицом к ее юбке и исподлобья сурово посмотрела на отца.

Отец склонился к ней.

— Ты чего?.. Настенька, ты чего? Ты обиделась на меня?

Он поднял ее к себе на руки и погладил ее головку.

— Чего ты, дочка? Ты совсем забыла меня, ты маленькая была, когда я ушел на войну…

Настя положила голову на отцовское плечо и тоже заплакала.

— Ты что, Настенька моя?

— А мама плачет, и я буду.

Петрушка, стоявший в недоумении возле печной загнетки, был недоволен.

— Чего вы все?.. Настроеньем заболели, а в печке жар прогорает. Сызнова, что ль, топить будем, а кто ордер на дрова нам новый даст? По старому-то всё получили и сожгли, чуть-чуть в сарае осталось — поленьев десять, и то одна осина… Давай, мать, тесто, пока дух горячий не остыл.

Петрушка вынул из печи большой чугун со щами и разгреб жар по поду, а Любовь Васильевна торопливо, словно стараясь поскорее угодить Петрушке, посадила в печь две формы пирогов, забыв смазать жидким яйцом второй пирог.

Странен и еще не совсем понятен был Иванову родной дом. Жена была прежняя — с милым, застенчивым, хотя уже сильно утомленным лицом, и дети были те самые, что родились от него, только выросшие за время войны, как оно и быть должно. Но что-то мешало Иванову чувствовать радость своего возвращения всем сердцем — вероятно, он слишком отвык от домашней жизни и не мог сразу понять даже самых близких, родных людей. Он смотрел на Петрушку, на своего выросшего первенца-сына, слушал, как он дает команду и наставления матери и маленькой сестре, наблюдал его серьезное, озабоченное лицо и со стыдом признавался себе, что его отцовское чувство к этому мальчугану, влечение к нему, как к сыну, недостаточно. Иванову было еще более стыдно своего равнодушия к Петрушке от сознания того, что Петрушка нуждался в любви и заботе сильнее других, потому что на него жалко сейчас смотреть. Иванов не знал в точности той жизни, которой жила без него его семья, и он не мог еще ясно понять, почему у Петрушки сложился такой характер.

За столом, сидя в кругу семьи, Иванов понял свой долг. Ему надо как можно скорее приниматься за дело, то есть поступать на работу, чтобы зарабатывать деньги и помочь жене правильно воспитывать детей, — тогда постепенно все пойдет к лучшему, и Петрушка будет

бегать с ребятами, сидеть за книжкой, а не командовать с рогачом у печки.

Петрушка за столом съел меньше всех, но подобрал все крошки за собою и высыпал их себе в рот.

— Что ж ты, Петр, — обратился к нему отец, — крошки ешь, а свой кусок пирога не доел… Ешь! Мать тебе еще потом отрежет.

— Поесть все можно, — нахмурившись, произнес Петрушка, — а мне хватит.

— Он боится, что если он начнет есть помногу, то Настя тоже, глядя на него, будет много есть, — простосердечно сказала Любовь Васильевна, — а ему жалко.

— А вам ничего не жалко, — равнодушно сказал Петрушка. — А я хочу, чтоб вам больше досталось.

Отец и мать поглядели друг на друга и содрогнулись от слов сына.

— А ты что плохо кушаешь? — спросил отец у маленькой Насти. — Ты на Петра, что ль, глядишь?.. Ешь как следует, а то так и останешься маленькой…

— Я выросла большая, — сказала Настя.

Она съела маленький кусок пирога, а другой кусок, что был побольше, отодвинула от себя и накрыла его салфеткой.

— Ты зачем так делаешь? — спросила ее мать. — Хочешь, я тебе маслом пирог помажу?

— Не хочу, я сытая стала…

— Ну, ешь так… Зачем пирог отодвинула?

— А дядя Семен придет. Это я оставила. Пирог не ваш, я сама его не ела. Я его под подушку положу, а то остынет…

Настя сошла со стула и отнесла кусок пирога, обернутый салфеткой, на кровать и положила его там под подушку.

Мать вспомнила, что она тоже накрывала готовый пирог подушками, когда пекла его Первого мая, чтобы пирог не остыл к приходу Семена Евсеевича.

— А кто этот дядя Семен? — спросил Иванов жену.

Любовь Васильевна не знала, что сказать, и сказала:

— Не знаю, кто такой… Ходит к детям один, его жену и его детей немцы убили, он к нашим детям привык и ходит играть с ними.

— Как играть? — удивился Иванов. — Во что же они играют здесь у тебя? Сколько ему лет?

Петрушка проворно посмотрел на мать и на отца; мать в ответ отцу ничего не сказала, только глядела на Настю грустными глазами, а отец по-недоброму улыбнулся, встал со стула и закурил папироску.

— Где же игрушки, в которые этот дядя Семен с вами играет? — спросил затем отец у Петрушки.

Настя сошла со стула, влезла на другой стул у комода, достала с комода книжки и принесла их отцу.

— Они книжки-игрушки, — сказала Настя отцу, — дядя Семен мне вслух их читает, вот какой забавный Мишка, он игрушка, он и книжка…

Иванов взял в руки книжки-игрушки, что подала ему дочь: про медведя Мишку, про пушку-игрушку, про домик, где бабушка Домна живет и лен со внучкой прядет…

Петрушка вспомнил, что пора уже вьюшку в печной трубе закрывать, а то тепло из дома выйдет.

Закрыв вьюшку, он сказал отцу:

— Он старей тебя — Семен Евсеич!.. Он нам пользу приносит, пусть живет…

Глянув на всякий случай в окно, Петрушка заметил, что там на небе плывут не те облака, которые должны плыть в сентябре.

— Чтой-то облака, — проговорил Петрушка, — свинцовые плывут, из них, должно быть, снег пойдет! Иль наутро зима станет? Ведь что ж тогда нам делать-то: картошка вся в поле, заготовки в хозяйстве нету… Ишь положение какое!..

Иванов глядел на своего сына, слушал его слова и чувствовал свою робость перед ним. Он хотел было спросить у жены более точно, кто же такой этот Семен Евсеевич, что ходит уже два года в его семейство, и к кому он ходит — к Насте или к его миловидной жене, — но Петрушка отвлек Любовь Васильевну хозяйственными делами:

— Давай мне, мать, хлебные карточки на завтра и талоны на прикрепление. И еще талоны на керосин давай — завтра последний день, и уголь древесный надо взять, а ты мешок потеряла, а там отпускают в нашу тару, ищи теперь мешок, где хочешь, иль из тряпок новый шей, нам жить без мешка нельзя! А Настька пускай завтра к нам во двор за водой никого не пускает, а то много воды из колодца черпают: зима вот придет, вода тогда ниже опустится, и у нас веревки не хватит бадью опускать, а снег жевать не будешь, а растапливать его — дрова тоже нужны.

Говоря свои слова, Петрушка одновременно заметал пол возле печки и складывал в порядок кухонную утварь. Потом он вынул из печи чугун со щами:

— Закусили немножко пирогом, теперь щи мясные с хлебом есть, — указал всем Петрушка. — А тебе, отец, завтра с утра надо бы в райсовет и военкомат сходить, станешь сразу на учет — скорей карточки на тебя получим.

— Я схожу, — покорно согласился отец.

— Сходи, не позабудь, а то утром проспишь и забудешь.

— Нет, я не забуду, — пообещал отец.

Свой первый общий обед после войны, щи и мясо, семья съела в молчании, даже Петрушка сидел спокойно, точно отец с матерью и дети боялись нарушить нечаянным словом тихое счастье вместе сидящей семьи.

Потом Иванов спросил у жены:

— Как у вас, Люба, с одеждой — наверно, пообносились?

— В старом ходили, а теперь обновки будем справлять, — улыбнулась Любовь Васильевна. — Я чинила на детях, что было на них, и твой костюм, двое твоих штанов и все белье твое перешила на них. Знаешь, лишних денег у нас не было, а детей надо одевать.

— Правильно сделала, — сказал Иванов, — детям ничего не жалей.

— Я не жалела, и пальто продала, что ты мне купил, теперь хожу в ватнике.

— Ватник у нее короткий, она ходит — простудиться может, — высказался Петрушка.

— Я кочегаром в баню поступлю, получку буду получать и справлю ей пальто. На базаре торгуют на руках, я ходил прицenялся, есть подходящие…

— Без тебя, без твоей получки обойдемся, — сказал отец.

После обеда Настя надела на нос большие очки и села у окна штопать материны варежки, которые мать надевала теперь под рукавицы на работе, — уже холодно стало, осень во дворе. Петрушка глянул на сестру и осерчал на нее:

— Ты чего балуешься, зачем очки дяди Семена одела?..

— А я через очки гляжу, а не в них.

— Еще чего! Я вижу! Вот испортишь глаза и ослепнешь, а потом будешь иждивенкой всю жизнь проживать и на пенсии. Скинь очки сейчас же, я тебе говорю! И брось варежки штопать, мать сама заштопает или я сам возьмусь, когда отделаюсь. Бери тетрадь и пиши палочки — забыла уж, когда занималась!

— А Настя что — учится? — спросил отец.

Мать ответила, что нет еще, она мала, но Петрушка велит Насте каждый день заниматься, он купил ей тетрадь, и она пишет палочки. Петрушка еще учит сестру счету; складывая и вычитая перед нею тыквенные семена, а буквам Настю учит сама Любовь Васильевна.

Настя положила варежку и вынула из ящика комода тетрадь и вставочку с пером, а Петрушка, оставшись доволен, что все исполняется по порядку, надел материн ватник и пошел во двор колоть дрова на завтрашний день; наколотые дрова Петрушка обыкновенно приносил на ночь домой и складывал их за печь, чтобы они там подсохли и горели затем более жарко и хозяйственно.

Вечером Любовь Васильевна рано собрала ужинать. Она хотела, чтобы дети пораньше уснули и чтобы можно было наедине посидеть с мужем и поговорить с ним. Но дети после ужина долго не засыпали; Настя, лежащая на деревянном диване, долго смотрела из-под одеяла на отца, а Петрушка, легший на русскую печь, где он всегда спал и зимой и летом, ворочался там, кряхтел, шептал что-то и не скоро еще угомонился. Но наступило позднее время ночи, и Настя закрыла уставшие глаза, а Петрушка захрапел на печке.

Петрушка спал чутко и настороженно: он всегда боялся, что ночью может что-нибудь случиться и он не услышит — пожар, залезут воры-разбойники или мать забудет затворить дверь на крючок, а дверь ночью отойдет, и все тепло выйдет наружу. Нынче Петрушка проснулся от тревожных голосов родителей, говоривших в комнате рядом с кухней. Сколько было времени

— полночь или уже под утро — он не знал, а отец с матерью не спали.

— Алеша, ты не шуми, дети проснутся, — тихо говорила мать. — Не надо его ругать, он добрый человек, он детей твоих любил…

— Не нужно нам его любви, — сказал отец. — Я сам люблю своих детей… Ишь ты, чужих детей он полюбил! Я тебе аттестат присылал, и ты сама работала, — зачем тебе он понадобился, этот Семен Евсеич? Кровь, что ль, у тебя горит еще… Эх ты, Люба, Люба! А я там думал о тебе другое. Значит, ты в дураках меня оставила…

Отец замолчал, а потом зажег спичку, чтобы раскурить трубку.

— Что ты, Алеша, что ты говоришь! — громко воскликнула мать. — Детей ведь я выходила, они у меня почти не болели и на тело полные…

— Ну и что же!.. — говорил отец. — У других по четверо детей оставалось, а жили неплохо, и ребята выросли не хуже наших. А у тебя вон Петрушка что за человек вырос — рассуждает, как дед, а читать небось забыл.

Петрушка вздохнул на печи и захрапел для видимости, чтобы слушать дальше. «Ладно, — подумал он, — пускай я дед, тебе хорошо было на готовых харчах».

— Зато он все самое трудное и важное в жизни узнал! — сказала мать. — А от грамоты он тоже не отстанет.

— Кто он такой, этот твой Семен? Хватит тебе зубы мне заговаривать, — серчал отец.

— Он добрый человек.

— Ты его любишь, что ль?

— Алеша, я мать двоих детей…

— Ну дальше! Отвечай прямо!

— Я тебя люблю, Алеша. Я мать, а женщиной была давно, с тобой только, уже забыла когда.

Отец молчал и курил трубку в темноте.

— Я по тебе скучала, Алеша… Правда, дети при мне были, но они тебе не замена, и я все ждала тебя, долгие страшные годы, мне просыпаться утром не хотелось.

— А кто он по должности, где работает?

— Он служит по снабжению материальной части на нашем заводе.

— Понятно. Жулик.

— Он не жулик. Я не знаю… А семья его вся погибла в Могилеве, трое детей было, дочь уже невеста была.

— Неважно, он взамен другую, готовую семью получил — и бабу еще не старую, собой миловидную, так что ему опять живется тепло.

Мать ничего не ответила. Наступила тишина, но вскоре Петрушка расслышал, что мать плакала.

— Он детям о тебе рассказывал, Алеша, — заговорила мать, и Петрушка расслышал, что в глазах ее были большие остановившиеся слезы. — Он детям говорил, как ты воюешь там за нас и страдаешь… Они спрашивали у него: а почему? — а он отвечал им, потому что ты добрый…

Отец засмеялся и выбил жар из трубки.

— Вот он какой у вас — этот Семен-Евсей. И не видел меня никогда, а одобряет. Вот личность-то!

— Он тебя не видел. Он выдумывал нарочно, чтоб дети не отвыкли от тебя и любили отца.

— Но зачем, зачем ему это? Чтоб тебя поскорее добиться?.. Ты скажи, что ему надо было?

— Может быть, в нем сердце хорошее, Алеша, поэтому он такой. А почему же?

— Глупая ты, Люба. Прости ты меня, пожалуйста. Ничего без расчета не бывает.

— А Семен Евсеич часто детям приносил что-нибудь, каждый раз приносил то конфеты, то муку белую, то сахар, а недавно валенки Насте принес, но они не годились — размер маленький. А самому ему ничего от нас не нужно. Нам тоже не надо было, мы бы, Алеша, обошлись, мы привыкли, но он говорит, что у него на душе лучше бывает, когда он заботится о других, тогда он не так сильно тоскует о своей мертвой семье. Ты увидишь его — это не так, как ты думаешь…

— Все это чепуха какая-то! — сказал отец. — Не задуривай ты меня… Скучно мне, Люба, с тобою, а я жить еще хочу.

— Живи с нами, Алеша…

— Я с вами, а ты с Сенькой-Евсейкой будешь?

— Я не буду, Алеша. Он больше к нам никогда не придет, я скажу ему, чтобы он больше не приходил.

— Так, значит, было, раз ты больше не будешь?.. Эх, какая ты, Люба, все вы женщины такие.

— А вы какие? — с обидой спросила мать. — Что значит — все мы такие? Я не такая… Я работала день и ночь, мы огнеупоры делали для кладки в паровозных топках. Я стала на лицо худая, всем чужая, у меня нищий милостыни просить не станет… Мне тоже было трудно, и дома дети одни. Я приду, бывало, дома не топлено, не варено ничего, темно, дети тоскуют, они не сразу хозяйствовать сами научились, как теперь, Петрушка тоже мальчиком был… И стал тогда ходить к нам Семен Евсеевич. Придет — и сидит с детьми. Он ведь живет совсем один. «Можно, — спрашивает меня, — я буду к вам в гости ходить, я у вас отогреюсь?» Я говорю ему, что у нас тоже холодно и у нас дрова сырые, а он мне отвечает: «Ничего, у меня вся душа продрогла, я хоть возле ваших детей посижу, а топить печь для меня не нужно». Я сказала — ладно, ходите пока: детям с вами не так боязно будет. Потом я тоже привыкла к нему, и всем нам было лучше, когда он приходил. Я глядела на него и вспоминала тебя, что ты есть у нас… Без тебя было так грустно и плохо; пусть хоть кто-нибудь приходит, тогда не так скучно бывает и время идет скорее. Зачем нам время, когда тебя нет!

— Ну дальше, дальше что? — поторопил отец.

— Дальше ничего. Теперь ты приехал, Алеша.

— Ну что ж, хорошо, если так, — сказал отец. — Пора спать.

Но мать попросила отца:

— Обожди еще спать. Давай поговорим, я так рада с тобой.

«Никак не угомонятся, — думал Петрушка на печи, — помирились, и ладно; матери на работу надо рано вставать, а она все гуляет — обрадовалась не вовремя, перестала плакать-то».

— А этот Семен любил тебя? — спросил отец.

— Обожди, я пойду Настю накрою, она раскрывается во сне и зябнет.

Мать укрыла Настю одеялом, вышла в кухню и приостановилась возле печи, чтобы послушать — спит ли Петрушка. Петрушка понял мать и начал храпеть. Затем мать ушла обратно, и он услышал ее голос:

— Наверно, любил. Он смотрел на меня умильно, я видела, а какая я — разве я хорошая теперь? Несладко ему было, Алеша, и кого-нибудь надо было ему любить.

— Ты бы его хоть поцеловала, раз уж так у вас задача сложилась, — по-доброму

произнес отец…

— Ну вот еще! Он меня сам два раза поцеловал, хоть я и не хотела.

— Зачем же он так делал, раз ты не хотела?

— Не знаю. Он говорил, что забылся и жену вспомнил, а я на жену его немножко похожа.

— А он на меня тоже похож?

— Нет, не похож. На тебя никто не похож, ты один, Алеша.

— Я один, говоришь? С одного-то счет и начинается: один, потом два.

— Так он меня только в щеку поцеловал, а не в губы.

— Это все равно — куда.

— Нет, не все равно, Алеша… Что ты понимаешь в нашей жизни?

— Как что? Я всю войну провоевал, я смерть видел ближе, чем тебя…

— Ты воевал, а я по тебе здесь обмирала, у меня руки от горя тряслись, а работать надо было с бодростью, чтоб детей кормить и государству польза против неприятелей-фашистов.

Мать говорила спокойно, только сердце ее мучилось, и Петрушке было жалко мать: он знал, что она научилась сама обувь чинить себе и ему с Настей, чтобы дорого не платить сапожнику, и за картошку исправляла электрические печки соседям.

— И я не стерпела жизни и тоски по тебе, — говорила мать. — А если бы стерпела, я бы умерла, я знаю, что я бы умерла тогда, а у меня дети… Мне нужно было почувствовать что-нибудь другое, Алеша, какую-нибудь радость, чтоб я отдохнула. Один человек сказал, что он любит меня, и он относился ко мне так нежно, как ты когда-то давно…

— Это кто, опять Семен-Евсей этот? — спросил отец.

— Нет, другой человек. Он служит инструктором райкома нашего профсоюза, он эвакуированный…

— Ну черт с ним, что он такой! Так что случилось-то, утешил он тебя?

Петрушка ничего не знал про этого инструктора и удивился, почему он не знал его. «Ишь ты, а мать наша тоже бедовая», — прошептал он сам себе.

Мать сказала отцу в ответ:

— Я ничего не узнала от него, никакой радости, и мне было потом еще хуже. Душа моя потянулась к нему, потому что она умирала, а когда он стал мне близким, совсем близким, я была равнодушной, я думала в ту минуту о своих домашних заботах и пожалела, что позволила ему быть близким. Я поняла, что только с тобою я могу быть спокойной, счастливой и с тобой отдохну, когда ты будешь близко. Без тебя мне некуда деться, нельзя спасти себя для детей… Живи с нами, Алеша, нам хорошо будет!

Петрушка расслышал, как отец молча поднялся с кровати, закурил трубку и сел на табурет.

— Сколько раз ты встречалась с ним, когда бывала совсем близкой? — спросил отец.

— Один только раз, — сказала мать. — Больше никогда не было. А сколько нужно?

— Сколько хочешь, дело твое, — произнес отец. — Зачем же ты говорила, что ты мать наших детей, а женщиной была только со мной, и то давно…

— Это правда, Алеша…

— Ну как же так, какая тут правда? Ведь с ним ты тоже была женщиной?

— Нет, не была я с ним женщиной, я хотела быть и не могла… Я чувствовала, что пропадаю без тебя, мне нужно было — пусть кто-нибудь будет со мной, я измучилась вся, и сердце мое темное стало, я детей своих уже не могла любить, а для них, ты знаешь, я все стерплю, для них я и костей не пожалею!..

— Обожди! — сказал отец. — Ты же говоришь — ошиблась в этом новом своем Сеньке-Евсейке, ты никакой радости будто от него не получила, а все-таки не пропала и не погибла, целой осталась?

— Я не пропала, — прошептала мать, — я живу.

— Значит, и тут ты мне врешь. Где же твоя правда?

— Не знаю, — шептала мать. — Я мало чего знаю.

— Ладно. Зато я знаю много, я пережил больше, чем ты, — проговорил отец. — Стерва ты, и больше ничего.

Мать молчала. Отец, слышно было, часто и трудно дышал.

— Ну вот я и дома, — сказал он. — Войны нет, а ты в сердце ранила меня… Ну что ж, живи теперь с Сенькой и Евсейкой! Ты потеху, посмешище сделала из меня, а я тоже человек, а не игрушка…

Отец начал в темноте одеваться и обуваться. Потом он зажег керосиновую лампу, сел за стол и завел часы на руке.

— Четыре часа, — сказал он сам себе. — Темно еще. Правду говорят, баб много, а жены одной нету.

Стало тихо в доме. Настя ровно дышала во сне на деревянном диване. Петрушка приник к подушке на теплой печи и забыл, что ему нужно храпеть.

— Алеша! — добрым голосом сказала мать. — Алеша, прости меня.

Петрушка услышал, как отец застонал и как потом хрустнуло стекло; через щели занавески Петрушка видел, что в комнате, где были отец и мать, стало темнее, но огонь еще горел. «Он стекло у лампы раздавил, — догадался Петрушка, — стекол нету нигде».

— Ты руку себе порезал, — сказала мать. — У тебя кровь течет, возьми полотенце в комоде.

— Замолчи! — закричал отец на мать. — Я голоса твоего слышать не могу… Буди детей, буди сейчас же!.. Буди, тебе говорят! Я им расскажу, какая у них мать! Пусть они знают!

Настя вскрикнула от испуга и проснулась:

— Мама! — позвала она. — Можно, я к тебе?

Настя любила приходить ночью к матери на кровать и греться у нее под одеялом.

Петрушка сел на печи, опустил ноги вниз и сказал всем:

— Спать пора! Чего вы разбудили меня? Дня еще нету, темно во дворе! Чего вы шумите и свет зажгли?

— Спи, Настя, спи, рано еще, я сейчас сама к тебе приду, — ответила мать. — И ты, Петрушка, не вставай, не разговаривай больше.

— А вы чего говорите? Чего отцу надо? — заговорил Петрушка.

— А тебе какое дело — чего мне надо! — отозвался отец. — Ишь ты, сержант какой!

— А зачем ты стекло у лампы раздавливаешь? Чего ты мать пугаешь? Она и так худая, картошку без масла ест, масло Настьке отдает.

— А ты знаешь, что мать делала тут, чем занималась? — жалобным голосом, как маленький, вскричал отец.

— Алеша! — кротко обратилась Любовь Васильевна к мужу.

— Я знаю, я все знаю! — говорил Петрушка. — Мать по тебе плакала, тебя ждала, а ты приехал, она тоже плачет. Ты не знаешь!

— Да ты еще не понимаешь ничего! — рассерчал отец. — Вот вырос у нас отросток.

— Я все дочиста понимаю, — отвечал Петрушка с печки. — Ты сам не понимаешь. У нас дело есть, жить надо, а вы ругаетесь, как глупые какие…

Петрушка умолк; он прилег на свою подушку и нечаянно, неслышно заплакал.

— Большую волю дома взял, — сказал отец. — Да теперь уж все равно, живи здесь за хозяина…

Утерев слезы, Петрушка ответил отцу:

— Эх ты, какой отец, чего говоришь, а сам старый и на войне был… Вон пойди завтра в инвалидную кооперацию, там дядя Харитон за прилавком служит, он хлеб режет, никого не обвешивает. Он тоже на войне был и домой вернулся. Пойди у него спроси, он все говорит и смеется, я сам слышал. У него жена Анюта, она на шофера выучилась ездить, хлеб развозит теперь, а сама добрая, хлеб не ворует. Она тоже дружила и в гости ходила, ее угощали там. Этот знакомый ее с орденом был, он без руки и главным служит в магазине, где по единичкам промтовар выбрасывают…

— Чего ты городишь там, спи лучше, скоро светать начнет, — сказала мать.

— А вы мне тоже спать не давали… Светать еще не скоро будет. Этот без руки сдружился с Анютой, стало им хорошо житься. А Харитон на войне жил. Потом Харитон приехал и стал ругаться с Анютой. Весь день ругается, а ночью вино пьет и закуску ест, а Анюта плачет, не ест ничего. Ругался-ругался, потом уморился, не стал Анюту мучить и сказал ей: «Чего у тебя один безрукий был, ты дура-баба, вот у меня без тебя и Глашка была, и Апроська была, и Маруська была, и тезка твоя, Нюшка, была, и еще надобавок Магдалинка была». А сам смеется, и тетя Анюта смеется, потом она сама хвалилась — Харитон еще хороший, лучше нигде нету, он фашистов убивал, и от разных женщин ему отбоя нету. Дядя Харитон все нам в лавке рассказывает, когда хлеб поштучно принимает. А теперь они живут смирно, по-хорошему. А дядя Харитон опять смеется, он говорит: «Обманул я свою Анюту, никого у меня не было — ни Глашки не было, ни Нюшки, ни Апроськи не было, и Магдалинки надобавок не было, солдат

— сын отечества, ему некогда жить по-дурацки, его сердце против неприятеля лежит. Это я нарочно Анюту напугал…» Ложись спать, отец, потуши свет, чего огонь коптит без стекла…

Иванов с удивлением слушал историю, что рассказывал его Петрушка. «Вот сукин сын какой! — размышлял отец о сыне. — Я думал, он и про Машу мою скажет сейчас…»

Петрушка сморился и захрапел; он уснул теперь по правде.

Проснулся он, когда день стал совсем светлый, и испугался, что долго спал, ничего не сделал по дому с утра.

Дома была одна Настя. Она сидела на полу и листала книжку с картинками, которую давно еще купила ей мать. Она ее рассматривала каждый день, потому что другой книги у нее не было, и водила пальчиком по буквам, как будто читала.

— Чего книжку с утра пачкаешь? Положь ее на место! — сказал Петрушка сестре. — Где мать-то, на работу ушла?

— На работу, — тихо ответила Настя и закрыла книгу.

— А отец куда делся? — Петрушка огляделся по дому, в кухне и в комнате. — Он взял свой мешок?

— Он взял свой мешок, — сказала Настя.

— А что он тебе говорил?

— Он не говорил, он в рот меня и в глазки поцеловал.

— Так-так, — сказал Петрушка и задумался. — Вставай с пола, — велел он сестре, — дай я тебя умою почище и одену, мы с тобой на улицу пойдем…

Их отец сидел в тот час на вокзале. Он уже выпил двести граммов водки и пообедал с утра по талону на путевое довольствие. Он еще ночью окончательно решил уехать в тот город, где оставил Машу, чтобы снова встретить ее там и, может быть, уже никогда не разлучаться с нею. Плохо, что он много старше этой дочери пространщика, у которой волосы пахли природой. Однако там видно будет, как оно получится, вперед нельзя угадать. Все же Иванов надеялся, что Маша хоть немножко обрадуется, когда снова увидит его, и этого будет с него достаточно: значит, и у него есть новый близкий человек, и притом прекрасный собою, веселый и добрый сердцем. А там видно будет!

Вскоре пришел поезд, который шел в ту сторону, откуда только вчера прибыл Иванов. Он взял свой вещевой мешок и пошел на посадку. «Вот Маша не ожидает меня, — думал Иванов.

— Она мне говорила, что я все равно забуду ее и мы никогда с ней не увидимся, а я к ней еду сейчас навсегда».

Он вошел в тамбур вагона и остался в нем, чтобы, когда поезд пойдет, посмотреть в последний раз на небольшой город, где он жил до войны, где у него рожались дети… Он еще раз хотел поглядеть на оставленный дом; его можно разглядеть из вагона, потому что улица, на которой стоит дом, где он жил, выходит на железнодорожный переезд, и через тот переезд пойдет поезд.

Поезд тронулся и тихо поехал через станционные стрелки в пустые осенние поля. Иванов взялся за поручни вагона и смотрел из тамбура на домики, здания, сараи, на пожарную каланчу города, бывшего ему родным. Он узнал две высокие трубы вдалеке: одна была на мыловаренном, а другая на кирпичном заводе; там работала сейчас Люба у кирпичного пресса; пусть она живет теперь по-своему, а он будет жить по-своему. Может быть, он и мог бы ее простить, но что это значит? Все равно его сердце ожесточилось против нее, и нет в нем прощения человеку, который целовался и жил с другим, чтобы не так скучно, не в одиночестве проходило время войны и разлуки с мужем. А то, что Люба стала близкой к своему Семену или Евсею потому, что жить ей было трудно, что нужда и тоска мучили ее, так это не оправдание, это подтверждение ее чувства. Вся любовь происходит из нужды и тоски; если бы человек ни в чем не нуждался и не тосковал, он никогда не полюбил бы другого человека.

Иванов собрался было уйти из тамбура в вагон, чтобы лечь спать, не желая смотреть в последний раз на дом, где он жил и где остались его дети: не надо себя мучить напрасно. Он выглянул вперед — далеко ли осталось до переезда, и тут же увидел его. Железнодорожный путь здесь пересекала сельская грунтовая дорога, шедшая в город; на этой земляной дороге лежали пучки соломы и сена, упавшие с возов, ивовые прутья и конский навоз. Обычно эта дорога была безлюдной, кроме двух базарных дней в неделю; редко, бывало, проедет крестьянин в город с полным возом сена или возвращается обратно в деревню. Так было и сейчас; пустой лежала деревенская дорога; лишь из города, из улицы, в которую входила дорога, бежали вдалеке какие-то двое ребят; один был побольше, а другой поменьше, и больший, взяв за руку меньшего, быстро увлекал его за собою, а меньший, как ни торопился, как ни хлопотал усердно ножками, не поспевал за большим. Тогда тот, что был побольше, волочил его за собою. У последнего дома города они остановились и поглядели в сторону вокзала, решая, должно быть, идти им туда или не надо. Потом они посмотрели на пассажирский поезд, проходивший через переезд, и побежали по дороге прямо к поезду, словно захотев вдруг догнать его.

Вагон, в котором стоял Иванов, миновал переезд. Иванов поднял мешок с пола, чтобы пройти в вагон и лечь спать на полку, где не будут мешать другие пассажиры. Но успели или нет добежать те двое детей хоть до последнего вагона поезда? Иванов высунулся из тамбура и посмотрел назад.

Двое детей, взявшись за руки, все еще бежали по дороге к переезду. Они сразу оба упали, поднялись и опять побежали вперед. Больший из них поднял одну свободную руку и, обратив лицо по ходу поезда в сторону Иванова, махал рукою к себе, как будто призывая кого-то, чтобы тот возвратился к нему. И тут же они снова упали на землю. Иванов разглядел, что у большего одна нога была обута в валенок, а другая в калошу, — от этого он и падал так часто.

Иванов закрыл глаза, не желая видеть и чувствовать боли упавших, обессилевших детей, и сам почувствовал, как жарко у него стало в груди, будто сердце, заключенное и томившееся в нем, билось долго и напрасно всю его жизнь, и лишь теперь оно пробилось на свободу, заполнив все его существо теплом и содроганием. Он узнал вдруг все, что знал прежде, гораздо точнее и действительней. Прежде он чувствовал другую жизнь через преграду самолюбия и собственного интереса, а теперь внезапно коснулся ее обнажившимся сердцем.

Он еще раз поглядел со ступенек вагона в хвост поезда на удаленных детей. Он уже знал теперь, что это были его дети, Петрушка и Настя. Они, должно быть, видели его, когда вагон проходил по переезду, и Петрушка звал его домой, к матери, а он смотрел на них невнимательно, думал о другом и не узнал своих детей.

Сейчас Петрушка и Настя бежали далеко позади поезда по песчаной дорожке возле рельсов; Петрушка по-прежнему держал за руку маленькую Настю и волочил ее за собою, когда она не поспевала бежать ногами.

Иванов кинул вещевой мешок из вагона на землю, а потом спустился на нижнюю

ступень вагона и сошел с поезда на ту песчаную дорожку, по которой бежали ему вослед его дети.

1946

Житейское дело

Шла ночь в деревенской избе. Темно и тихо было за окном, лишь голая ветвь вербы изредка еле слышно постукивала в окно, склоняясь от слабого ветра. Верба зябла в прохладной сырости весенней ночи и словно просилась к людям, в теплую избу. А изба была нетоплепная, в избе на печи лежала без сна хозяйка Евдокия Гавриловна Захарова; она прихварывала уже который день, она грустила по мужу, убитому на войне, и ей сейчас не спалось. Она лежала и не могла согреться под овчинным полушубком, а рядом с ней под отцовской овчиной спали ее дети; их было у нее трое, и все девочки: Марья, Ксения и Груша; старшей, Марье, было девять лет от роду, а Ксения и Груша были двоешки, по восьми лет каждой; мать время от времени укрывала их, потому что девочки спали беспокойно, оии ногами сбрасывали с себя одежду и скрипели зубами. «Должно, глисты у них, — подумала мать, — надо им тыквенного семени дать».

Евдокия Гавриловна приподнялась и снова укрыла своих детей. Они дышали чистым теплом, знакомый запах молока и плоти исходил от них, и сердце матери тронулось тревожной любовью. Дети рождаются, растут, уходят затем из родительского дома в свою большую жизнь, но неподвижно сердце матери: оно одинаково любит свое дитя, одинаково оно прекрасно для нее во все времена его жизни, и мать всегда встревожена за него.

«Что с ними сбудется, что с ними станется? — думала Евдокия Гавриловна. — Вот будут они жить и расти, а отца своего никогда не узнают. А без отца, как и без матери, душа ребенка живет полуголодная. Что ж я одна им?»

Ночь продолжалась. Мать стала думать об озимых полях, о том, сколько снегу было в зиму, сколько его сошло талой водой, сколько пропиталось в почву, о весенней погоде, о семенах в колхозе, о том, не потревожит ли какой новый враг нашу страну, — люди разное говорят, и газеты пишут, — обо всем мире думала Евдокия Гавриловна, потому что посреди мира жили ее малые, беззащитные дети и для них нужно, чтобы светило солнце, чтобы на земле рождался хлеб, а все человечество жило в спокойствии.

Она вспомнила о муже: что с ним сталось теперь, где его могила? — хоть бы кости его поглядеть, ведь и кости его дороги ей, как был дорог он весь!

Верба снова заскреблась в окно, и кто-то другой, одновременно с вербой, постучал в окно, так же негромко и застенчиво, как верба.

Евдокия Гавриловна отворила избу и впустила человека.

— Кто будешь-то? Чего ходишь так поздно, иль беда какая?

Человек снял шапку-ушанку, оправил усы и ответил:

— Беда, хозяйка… Дело у меня неотложное, я и во тьме иду.

Евдокия Гавриловна засветила лампу и подняла ее, чтобы поглядеть на гостя. Перед нею был нестарый еще, моложавый мужик, лет, может быть, тридцати или немногим старше; большие серые глаза его смотрели на хозяйку неподвижно и словно бы равнодушно, а вернее того, своя боль томила этого человека, и ему все равно было — что он видит перед собой. Одет он был в старую солдатскую шинель, но уже без погон, а за спиной его висел вещевой мешок; должно, из армии демобилизовался человек. Хотела было Евдокия Гавриловна спросить у прохожего, какая случилась беда у него, однако нехорошо праздно касаться чужой души, и она не спросила.

— Небось кушать хочешь! — сказала она. — Садись, я тебе поужинать дам.

— Спасибо, хозяйка. Время позднее, начнешь ты хлопотать, в печке греметь, детишек разбудишь!

— Проснутся, опять заснут. Из того тебе не голодать.

— Твоя воля, — сказал гость.

Он уселся на скамье и огляделся в избе. Перед ним ходила женщина и собирала на стол еду; в ее тихом лице, в худощавом теле, привыкшем к работе, было дальнее сходство с женой прохожего, умершей накануне войны. Может быть, жена была помоложе, однако и хозяйке едва ли минуло тридцать лет. А жена прохожего была столь хороша собою — и лицом с кротким, доверчивым выражением, и постоянным своим смущением, даже перед мужем, и напряженным вниманием больших, словно испуганных глаз, ожидающих увидеть чудо в каждом человеке, — что он, видя ее ежедневно, все же не мог привыкнуть к ней и часто любовался ею, будто не зная ее. К прелести человека, должно быть, нельзя привыкнуть. В хозяйке тоже было что-то напомнившее прохожему об его умершей жене, только здешняя женщина была все же погрубее и лицом и правом.

Собрав ужин, Евдокия Гавриловна велела гостю кушать:

— Садись, что ль! Щи-то еще теплые…

— И ты со мной, — попросил гость. — Одному есть не годится.

— Да и я похлебаю маленько. Неможется мне чего-то.

— Ничего, кушай, пожалуйста. Во всякой пище лекарство есть. Говорят, есть такая еда, от нее даже грусть утихает.

— А у тебя после еды-то утихала грусть? Иль тебе, может, непочем и грустить-то?

— Нету, грусть моя никогда не стихала, — сказал гость. — хоть поевши, хоть натощак.

— Бери ложкой полней, со дна доставай! — велела Евдокия Гавриловна. — Чего ты мелко черпаешь, неохотно так? А по ком твоя грусть?

— О сыне болею.

— О сыне?.. Умерший он, что ль, у тебя?

Гость положил на стол деревянную ложку и равнодушно поглядел на хозяйку; ему ничего сейчас не было дорого.

— Беда, что вести нету… Пропал мой сын; живой ли, мертвый, не знаю. Второй месяц хожу по всей округе, людей спрашиваю, а правды никто не говорит, кому его запомнить!.. Тебе-то не попадался он на взгляд; может, еще кусок ему давала иль ночевать привечала? Говорят, будто поблизости он ходит…

— А какой он из себя?

— Да мальчик такой заметный, лет теперь ему одиннадцать, двенадцатый пошел… Из себя он был нерослый, зато на лицо памятный: глаза у него добрые, сам смирный, на голове волосы русые и в кудри вьются…

Евдокия Гавриловна подумала.

— Не помню такого, не видала я его… А чего при тебе его нету?

Гость с удивлением поглядел на хозяйку: глупая она, что ли, есть такие, всякие есть, не одна пшеница в поле растет.

— Жена, тебе я говорю, давно скончалась, сын по мне один остался, а на войну я пошел, тетке его отдал, а тетка негодная, как нормально иногда бывает… А в село Шать, где сын мой с теткой жил, немцы пришли, тетка прочь, к немцам или в тыл — неизвестно, а сын один остался, и ушел он незнаемо куда — в Россию ушел. Он по свету бродит или в земле лежит, не знаю, а я за ним следом второй месяц хожу, да следа не видно… Тебе понятно?

— Мне понятно, — сказала Евдокия Гавриловна. — Мне понятно. А ты-то что же?

— Я-то что же! А я вернулся с фронта, от нашего села Шать половина осталась, половина дворов погорела. Люди тоже разбрелись, скончались, пропали без вести… Две старушки-домоседки видели моего Алешку, как пошел он босой в лес. «Алексей, ты куда? — спросила одна-то старуха. — Убьют тебя, еще немцы ходят в округе». А он им: «Ничего, говорит, я в русскую сторону уйду, отца там буду ждать, здесь люто, я боюсь». Старухи ему: «Возьми хоть хлеба от нас краюшку и народу там от нас поклонись…» И ушел мой Алексей. А куда ушел? — доля его горькая… А я за ним теперь иду: в одной деревне скажут, видели будто такого мальчика, в другой старик мне говорил, жил он у него на пчельнике, — да мой ли, нет ли, не знает, у него много сирот кормилось, а лесник говорил — у партизан был такой

похожий мальчик. Может, и так, а веры нету. След и от большого человека пропадает скоро, а от ребенка и вовсе — что от него остается!..

— Вон беда твоя какая! — произнесла Евдокия Гавриловна. — А может, найдется еще твой Алешка, народ детей бережет.

— А может быть, может быть, — грустно сказал ночной гость; с течением времени он чувствовал в своем сердце все более утихающий голос своего сына, словно тот все более удалялся от него и был уже недостижимо далеко, далее, чем звезда; гость вздрогнул и проговорил, чтобы одолеть свое горе:

— Плохо жить без радости, нельзя жить. Я весь теперь неспособный стал, а прежде я был умелый, я ко всякой работе прилежный был, и в части мне цену знали…

Хозяйка пошла к своим детям, она укрыла, и оглядела их, и тихо порадовалась над ними.

— Твои-то ребятишки ишь целыми живут, — сказал гость.

— Мои-то целы! — ответила Евдокия Гавриловна. — А ты что, хочешь, чтоб и все дети пропали, раз твой пропал?

— Нету, того я не хочу!

— Нету — не хочешь!.. А ты сиди горюй, а сам ложкой из миски черпай! Чего постничаешь? Злой станешь! Добро-то из жизни приходит, а жизнь из пищи…

— Ишь ты какая! — озадачился гость и взял ложку. — У тебя свое разуменье есть!

— А то как же! И с горем надо жить уметь. Я-то неужели, думаешь, с одним счастьем прожила!

От чужой беды недомоганье Евдокии Гавриловны словно бы стало легче, и воспоминанье о муже на время отошло от нее.

Она постелила гостю постель на двух скамьях, составленных рядом, а сама легла на печи, рядом с детьми.

Наутро гость поднялся с рассветом и собрался уходить.

— Ты куда? — спросила его Евдокия Гавриловна.

— А я по своим делам, — может, сына еще сыщу?.. Спасибо тебе, хозяйка, за хлеб, за приют.

Евдокия Гавриловна опустила ноги с печи.

— Обожди! Я сама пойду проведаю о твоем сыне, об Алешке; у нас село большое, людей ты не знаешь. А ты посиди, ты почисти пока что картошек на завтрак. Видишь, они вон там, в ведерке, стоят. Сумеешь?

— Справлюсь… Да чего ты о картошке сомневаешься? Сумею, нет ли? — да ты знаешь, кто я? Я Гвоздарев Антон Александрович, я был знаменитый механик!

— Во как! — обрадовалась Евдокия Гавриловна; она обрадовалась тому, что гость ее рассерчал. — Я за тебя к людям иду, а ты за меня дома работай. А знаменитых теперь много, весь народ знаменитым стал.

Хозяйка ушла из избы. Гвоздарев взял было одну картофелину, очистил ее и бросил прочь, обратно в ведро.

«… А на что мне нужно, будь оно все неладно!»

Он начал ходить взад-вперед по избе. Ему всегда было легче, когда он много ходил; сила тогда понемногу убывала в его теле, сердце уставало, и тоска в нем смирялась. Если бы его связать и заставить быть пеподвижпым, он бы, наверно, стал безумным; он жил здоровым потому, что все время шел к сыну, у него была цель и надежда жизни.

Он шагал туда и сюда, от двери до стены, скучным, серым утром в прохладной избе. Время шло, ничто не менялось вокруг, и Гвоздарев не мог устать на малом пространстве и успокоиться.

Услышав шепот, Гвоздарев поднял голову.

— Все ходит… А чего ходит? Кто такое это? — сказал тихий голос.

С русской печи на него глядели три детских лица; они тотчас же спрятались под овчину, как только чужой человек взглянул на них.

«Живые!» — подумал Гвоздарев и вздохнул.

Тайно и осторожно он начал поглядывать на печь, и дети оттуда чутко и робко следили за ним.

Гвоздарев в промежутки рассмотрел лица детей и запомнил их.

«Счастливые, — снова вздохнул он про себя. — Жизнь для них чудо, как оно и есть… Ишь ты, глазки как у них сияют, — а ведь серенькие глазки, простого цвета, а за ними еще что-то добавочно горит, душа и прелесть изнутри светит. Две-то головки совсем одинаковые, двоешки, что ль, а одна побольше, и уже глядит похитрее, тоже, значит, портится помаленьку. А что в детях хитрость, — ничего, одна маскировка прелести…»

Гвоздарев ходил, не переставая и словно не интересуясь детьми, а сам внимательно слушал их рассуждения о самом себе.

— Он старый, страшный! — прошептал маленький голос.

— А большой, как папа! — сказал голос старшей. — Я помню папу.

— Папа лучше был.

— А ты не помнишь!

— Папа в земельке лежит.

— А этот ходит, угомону на него нету.

— Не щипай меня, Грушка!

— А ты ногой меня ударила.

— Все ходит — лодырь! Мама картошку ему чистить наказала, а он ходит.

— У него медаль!

— У нашей мамы тоже медаль: за доблестный труд.

— Он плохо воевал, он трус, война долго шла, а у него одна только медаль.

«Вот дела-то! — подумал Гвоздарев. — Я орденов не ношу, чтобы пред людьми не гордиться, а дети за это в обиде на меня, что я трус!»

— Наша мама героем будет, председатель Никита Павлович говорил, ее трактор сильнее всех, он лучше всех землю пашет, глубоко, а не мелко.

— Аж пыль летит, я летом видала.

— И огонь из трубы!

— Мама говорила, когда огонь летит — это плохо. Она воду в машину, в нутрё ее пускает, за это ей медаль дали, и кофту на премию, и туфли, и хлеба сто пудов.

— А еще талон на что-то!

— И два платья малолетним детям!

— Это нам, а не тебе!

«Вон оно как! — слушал Гвоздарев. — Хозяйка, значит, тоже механик. Не угадаешь человека! Смотрим мы друг на друга, как во тьму, — отчего такое?» Детские голоса опять зашептались на печи:

— Думает… А чего думает?

— А у него есть мама?

— Нету.

— А бабушка?

— Нету. Он один!

— А чего он живет один? Одни умирают.

— А он добрый! Видишь — ему скучно!

— А отчего ему скучно?

— Ему чужих жалко, добрые и по чужим скучают.

— И нас ему жалко, у нас папы нету…

Будто что-то вошло в грудь Гвоздарева из этих слов ребенка, чего ему недоставало и без чего он жил в горести; так питается каждый человек чужим духом, а здесь его питал своею душою ребенок.

Гвоздарев подошел к печи и встал на лавку, чтобы приблизиться к детям или совсем забраться к ним на печь и полежать рядом с ними, где мать лежала. Но дети укрылись от

него с головой и умолкли.

— Вы чего? Иль напугались?

Дети помолчали, затем один младший голосок сказал:

— Мы к тебе не привыкшие… Гвоздарев погладил их поверх овчины.

— Вы кто же такие будете? — должно быть, одна барышня и два мальчика или как? Нежный смеющийся голосок ответил из-под овчины:

— Мальчиков нету, мы тут девицы!

— Ну, вставайте, девицы. Вам давно обряжаться пора, на дворе день стоит! Старшая дочь, Марья, выпростала голову из-под овчины и близко поглядела на Гвоздарева серьезными и доверчивыми глазами, какие были у ее матери.

— Мама вернется, обижаться будет, — сказала она. — Она тебе велела картошку на завтрак готовить, а ты не управился!..

— Да это я сейчас! Какое тут дело — всего ничего!

— Теперь уж не надо, — сказала старшая дочь. — Теперь я сама, видишь, подымаюсь. А ты ступай на колодезь и две бадейки воды принеси, а то мне тяжко.

«Войди вот в такую семью, враз охомутают, — подумал Антон Гвоздарев, — одно надо, другое, прочее, — детей же целых трое, а к ним забота нужна. У меня вон один малый был, а сколько я в него силы положил, и теперь его забыть не могу! Эх, ты, мой Алешка, Алешка, — повстречайся ты мне, не оставляй отца сиротой! Повстречайся нынче же, чтобы мне далее не ходить. Я на войне сколько исходил и тут вот теперь хожу, сердце меня гонит!»

Гвоздарев сходил за водой и наколол дров на растопку, а Марья тем временем готовила картофель на завтрак; младшим же сестрам она дала пока что по кусочку солонины, чтоб они не просили есть, покуда все не сварится, и Гвоздареву Марья тоже дала ломоть солонины, а себе не взяла.

Немного погодя вернулась в избу и сама хозяйка, Евдокия Гавриловна. Она с робостью, словно виноватая, поглядела на гостя.

Гвоздарев понял ее.

— Видать, ничего ты про сына не проведала? — спросил он хозяйку. — Ходила ты без толку, зря.

— Покамест не проведала. А тебе сразу нужно, чтоб я его за руку привела!

— Да нет, я и потерплю…

— Ну, потерпи маленько… Слух есть — у нас тут памятливая, честная старушка одна живет, ее дочка библиотекарша, книжки читать ребятам дает… А у библиотекарши муж тоже на войне пропал…

— Ну, говори, говори! — рассерчал Гвоздарев. — Говори теперь, кто ее сын, а кто тетка, и замужем ее тетка либо старая дева, и кто ее муж, чем занимается, говори все подробно, чтоб смысла не было.

— Да ты обожди с попреком-то… Это я тебе для твоей же веры подробно говорю. Мне добрая старуха та сказала, а она врать не будет, что такой же малый, как твой, шел по осени за стадом через наше село. Скотину обратно в Белоруссию гнали, и малый твой будто шел следом с пастухами и с уполномоченным. Пригожий такой мальчуган шел по деревне…

— Он у меня и правда пригожий! — согласился Гвоздарев. — Мать у него была собою хороша…

— Он еще у этой старушки, что я-то говорю, соли попросил… Старуха дала ему соли и спросила: ты чей же будешь? А он ей, как большой: Бог весть, говорит, сам не знаю, чей, отца ищу, пойду к нему в Германию, — и пошел… Стало быть, ты его ищешь, а он тебя, и ходите вы оба как непутевые…

— А что ж, по-твоему, делать нам? Сердце-то у нас болит: у него по отцу, а у меня по сыну. Тебе хорошо тут в своей избе, со своими детишками…

— Остановиться тебе надо, вот что!

— А где мне пристанище?

— Ишь ты, солдат, а без разума!.. Да тебе везде пристанище — хоть у нас в колхозе,

хоть в другой ступай. Ты же механик, говоришь!

— А как же!.. Да ведь оно и ты, оказывается, женщина с мастерством!

— И я работаю; я землю трактором пашу. Без пашни не проживешь.

— Вот и главное-то! — согласно произнес Антон Гвоздарев и посмотрел на хозяйку с добрым намерением, как смотрит человек на младшую сестру, когда желает ее приласкать или подарить ей что-либо, да нет у него под руками подарка, а для братской ласки сестра уже выросла.

После завтрака Гвоздарев попрощался с хозяйкой и с детьми ее, поблагодарил семейство за хлеб и приют и ушел совсем. Он решил еще зайти к той доброй, памятливой старухе, у которой была Евдокия Гавриловна, и спросить ее точнее о том мальчике, какому она подала соли.

Добрая старуха оказалась действительно памятливой. Расспросив сначала у Гвоздарева, каков был из себя его сын, она припомнила, что за год она видела на деревне чужих мальчуганов, похожих лицом на Алешку, и видела целых семерых, а не одного. А подумав немного, вспомнила и восьмого такого же. «Эка бестолочь! — думал Гвоздарев, слушая старуху. — Да мне один нужен, а она из доброты мне восьмерых обещает. По ее-то доброте все мальчики на моего Алешку похожи, только из этой доброты сын ко мне не явится».

Он ушел от старухи, понимая ее сочувствие и не видя пользы от него для своего дела.

Выйдя за околицу чужого села, Гвоздарев тотчас услышал работу мощного гусеничного трактора. Он всмотрелся в пустое черное поле и увидел машину, вышедшую из-за летнего дощатого балагана. Трактор ровно тянул за собою многокорпусную раму плугов и дышал через патрубок синим пламенем отработанного газа. За рычагами машины сидела в рабочем комбинезоне Евдокия Гавриловна и спокойно следила за работой механизма. Черная река обработанной земли потоком текла из-под содрогающихся, звенящих стальных лемехов; из мотора слышалось упругое биение поршней, рождающих сокрушающую силу работы; пламя, напряженное до синевы, сверкало из патрубка, но вот звук выхлопа из мягкого, пульсирующего перешел в сухой и резкий. Гвоздарев расслышал даже, как позванивал патрубок в колене от жестких ударов газа. Евдокия Гавриловна на ходу порегулировала машину — Гвоздарев заметил это издали, — и мотор опять заработал мягче. Но вскоре машина снова перешла на жесткий, ненормальный режим, и тогда Гвоздарев не стерпел своего осуждения механику.

— Эх, женщина! — сказал он вслух. — И горючее ты пережигаешь зря, а главное дело, машину утомляешь — ведь ты рвешь ее такой работой, мать своего семейства!.. У меня таких, как ты, желудок не переваривает!

И Гвоздарев пошел через поле к трактору.

— Стоп! — указал он Евдокии Гавриловне.

— Чего ты! — крикнула она со своего места. — У нас план большой. Некогда стоять.

— А мне есть когда о вас заботиться?

Евдокия Гавриловна остановила машину.

Гвоздарев обошел трактор, подумал и залез на гусеничный ход, чтобы осмотреть мотор.

— Видал такую машину иль первый раз только? — спросила его Евдокия Гавриловна.

— Такую-то? — отозвался Гвоздарев. — Да сколько ни есть сейчас женщин в вашей деревне, они за всю свою жизнь столько детей не нарожают, сколько через мои руки моторов прошло — всех систем, серий, наименований и назначений!

— А ну, еще чего скажешь? — улыбнулась Евдокия Гавриловна. — Гляди там скорее, мне стоять некогда…

Антон Гвоздарев углубился в машину. Особенно его заинтересовала система подачи воды в рабочие полости цилиндров, что должно уменьшать расход горючего и смягчать тепловое напряжение двигателя.

— Кто тебе, какой это изобретатель-конструктор питание водой такое устроил? — озадаченно спросил Гвоздарев.

— Это я сама! — сказала Евдокия Гавриловна. — Теперь машина сильнее тянет и ровнее…

— Всегда сильнее тянет?

— Когда как! А то и не заладит!

— Одна работала?

— Одной не справиться было… Два слесаря из МТС работали, и сам старший механик думал — сидел.

Гвоздарев поднял голову от мотора и вздохнул:

— Думал — сидел…

— А что, плохо сделали?

— Оно неплохо, а без расчета… Все приблизительно ляпали, наугад. Мысль была золотая, а родилось из нее ублюдочное дело… Ишь, ну что это такое? — Гвоздарев потрогал пальцами трубки на цилиндрах. — Где тут расчет был? Как у тебя впрыск в цилиндры идет? У тебя то горячая вода туда попадает, то похолоднее, а то никакой нету. Вот у тебя и машина так работает — то она у тебя, как богатырь, бежит и на ходу смеется, то сохнет, как чахоточный, зубами скрипит и плюется огнем…

Евдокия Гавриловна загрустила.

— Я и сама вижу, Антон Александрович, что не ладит что-то… Да все некогда подумать и систему перебрать, пахать надо…

Она вынула теплый платок из рабочего ящика и повязала им голову; нездоровье ее еще не прошло, и она зябла. Антон Гвоздарев нечаянно, между делом, посмотрел ей и глаза; сейчас они еще более походили на глаза его покойной жены, и смысл взгляда был тот же: тайное сочувствие ему, как бы любование им, и вместе — осторожная подозрительность, точно он вот-вот может сделать, подобно ребенку, какую-либо шалость или даже гадость. «Все они, что ли, такие похожие, — подумал Гвоздарев, — тоже ведь задача! А, да мне-то что, какая мне тут задача! Я вот-вот и снимусь отсюда навеки! Мало ли где я был, мало ли кого я видел! Меня каждую ночь сны одолевают от воспоминаний».

Гвоздарев уяснил себе свое положение вполне разумно и убедительно, так что все теперь должно быть для него нормально и просто. Однако сердце или что-то другое, свободно и безмолвно живущее в его груди, как второй, отдельный человек, словно приостановилось в нем, и оно неподвижно, неразлучно следило за Евдокией Гавриловной, не согласное с Гвоздаревым, не согласное ни с чем, даже с правдой. И, почувствовав, что сердце его как бы отделилось от него и приостановилось в томлении, Гвоздарев узнал вдруг, что ему стало хорошо. Странно было, но даже грустное терпение в глазах Евдокии Гавриловны теперь утешало чем-то внимательное сердце Гвоздарева, — а какой был прок для него в грустном выражении ее глаз?..

— Глупость какая! — сказал он, ощупывая водяную систему мотора.

— Где там глупость? — спросила Евдокия Гавриловна. Гвоздарев сказал ей в ответ:

— Душа машины есть расчет, — понятно? А глупость, что делается без расчета. Это вот когда человека лечат или сначала строят, там можно как попало, там все равно выйдет, потому что живому больно, он запищит и скажет, где у него сделано неладно…

Евдокия Гавриловна обиделась.

— Что вы говорите, Антон Александрович! Опомнитесь!.. Закрывайте мотор, мне пахать пора!

— Я знаю, что я говорю! — вскричал в возбуждении Гвоздарев. — А машина — это вам не человек и не скотина, ее надо строить точнее, чем живое существо: она ведь не скажет, где у нее больно и плохо, она будет терпеть до разрушения! Вот где труд-то, это вам не любовь!

Евдокия Гавриловна засмеялась.

— Человека-то все же труднее воспитать, чем сделать машину. Да и человек дороже, чего зря говоришь!

— Кто его знает, что дороже, а что дешевле, — недовольно произнес Гвоздарев. — Я

люблю практический угол зрения.

Он сошел с машины.

— Ну, я пойду, Евдокия Гавриловна. Мне нужно далее идти.

— Ступай, чего же! — сказала Евдокия Гавриловна. — А как с водою быть — не скажешь, чего там нужно сделать?

— А чего тебе сказать? Скажешь, а ты не поймешь! Самому надо сделать! А мне, видишь, некогда, у меня по сыну тоска!

Гвоздарев попрощался и пошел с поля на проселочную дорогу. Евдокия Гавриловна пустила машину в ход и стала пахать. «Ходит человек, — подумала она, — себя обманывает, что ль, иль, правда, ветер в дороге тоску его остужает и ему легче! Пусть ходит тогда, пусть ходит!»

Двигатель перешел на сухой, жесткий режим работы. «Должно быть, всасывающие клапана захватывают воздух, надо их переставить, — озаботилась Евдокия Гавриловна. — Переставить! А когда переставлять? Ночью надо детей еще искупать!»

Евдокия Гавриловна пахала дотемна. Потом она затопила печь в своей избе, нагрела воды и начала купать в корыте детей, сперва Ксюшу и Грушу, а последней купала старшую, Марью. Она любила купать детей: таково было приятно ей нежить их мягкие, слабые тела в теплой воде, чувствовать их чистый, живой запах детства, близко, при себе, держать их под защитой, — так бы и век их держала, если б можно было.

Когда мать уже кончала купать и окатывала водой Марью, а младшие уже грелись на печи, снаружи к окну подошел Антон Гвоздарев. На столе горела лампа, корыто стояло на полу, и хозяйка купала дочку. Плечи и руки у Евдокии Гавриловны были обнажены, голова была простоволосая, сама она разрумянилась от тепла и своего счастья с детьми. Гвоздарев хотел было сразу постучать, но из интереса или от стеснения обождал. «А скажи вот, пожалуйста, что такое! — обсудил он положение. — Вот ведь и троих детей она родила, а может, и того больше, а ведь вся целая, полная живет! Природа, значит, постоянно своим ремонтом обслуживает человека! Конечно, тут и харчи действуют, и воздух с водой — колодезь у них артезианский, микробов никаких! Интересно как-то!»

Он тихо постучал в оконную раму. Марья увидела и узнала его первая.

— Мама! Это давешний мужик стучится…

Девочка склонила свою голову и прикрыла плоскую грудь руками.

— Чего он ходит, мама, неприкаянный такой…

Евдокия Гавриловна догадалась, кто стучался в окно.

— У него горе, дочка.

— Горе! А у нас иль радость, что ли, отца нету…

Хозяйка обернулась к окну; на нее глядело довольное, радующееся лицо Гвоздарева.

— Обожди пока входить, — приказала она, — а то избу настудишь; ступай во двор, захвати там охапку дровишек, подтопить еще надо, и ужин заодно согреем…

— Это я сейчас! — ответил с улицы Гвоздарев.

После ужина Гвоздарев сказал хозяйке, что он не в гости к ней пришел, не зря, а из совести. Отошедши тогда, днем, от машины, он сосчитал в уме, что если правильно наладить впрыск воды в цилиндры, то можно при том же горючем, что отпущено по плану, запахать лишних сто, а то и двести гектаров. А ведь это, худо-бедно, считай, десять тысяч пудов хлеба. Вот тогда он почувствовал, что в нем есть совесть, и, отойдя еще верст десять, он подумал и вернулся.

— За ночь-то я управлюсь, пожалуй, отрегулировать всю водяную систему! — сказал он. — Ты только посвети мне. Где твоя машина стоит?

— Ну что ж, — согласилась Евдокия Гавриловна. — У нас депо сельхозмашин и орудий, там есть весь инструмент для текущего ремонта, и там моя машина почует.

Марья грелась на печке; она глядела оттуда и все хотела что-то сказать.

— А вас где-нибудь сын Алешка дожидается, — сказала она. — Он, может, плачет по вас…

«Эка ябеда, — подумал Гвоздарев, — чует она что-то», — и ответил:

— Сын у меня малый сознательный, ночью он спит, а не плачет.

— А ему, может, спать не хочется, — сказала Марья.

— А не хочется — пусть не спит, — сказал Гвоздарев девчонке. — Пусть, как ты, лежит и глаза лупит… Заправляй, хозяйка, фонарь на работу!

Мать заправила керосином фонарь, а Гвоздарев осмотрел в своем вещевом мешке немецкие универсальные разводные ключи, и они ушли работать.

— Свет не забудь потушить, — велела мать с порога.

— А я спать не хочу, пусть горит, — сказала Марья, и она тут же надела шубенку на голое тело, укрыла спящих сестер и сошла с печки.

Затем, улыбнувшись, она достала из шкафа, где мать хранила хлеб и соль, толстую книгу с картинками и села за стол читать. Марья умела читать только вслух, и чем громче, тем она лучше понимала слова, и тогда ей больше нравилось, что она читала; от звуков своего голоса слова из книги превращались для нее точно в картинки, и она видела их, как живые.

Шла долгая ночь; девочка сидела при лампе и вслух выговаривала слова, водя пальцем по печатной странице, и лицо ее то веселело, то печалилось, то становилось задумчивым; она забыла про себя и жила не своей жизнью, и счастье сочувствия людям и предметам, о которых написано было в книге, тревожило и радовало ее сердце.

Фитиль в лампе начал потрескивать, в ней догорал керосин. «Обожди, не гасни!» — попросила Марья лампу и стала читать скорее.

— Хозяюшка! — позвал Марью тихий чужой голос — Хозяюшка!

Марья сердито обернулась к окну: ей надо было читать, и лампа уже догорает, а тут еще шут кого-то несет.

В окошко негромко постучался кто-то, потом к стеклу прильнуло круглое лицо большого мальчика.

— А где старая хозяйка? — спросил тот мальчик из-за окна. — Я думал, это не ты!

— А чего тебе надо-то? — с сердцем крикнула Марья. — Чего ты по ночам в окно к нам стучишься, других тебе домов в деревне нету, что ли? Ступай туда и стучи!

— Да, а там темно, а у тебя свет горит!

— Ты видишь, я занимаюсь сижу!

— Вижу… Дай соли горсть!

— Ишь сколько — горсть! А зачем тебе?

— У нас корова хворая, пищу не принимает. Может, она соли полижет, ей полегчает…

— Иди возьми, что ль!

Большой мальчик вошел через сени в избу. Лицо его было темное от солнца и ветра, непокрытая голова густо обросла светлыми волосами, и большие глаза кротко, но не боязливо глядели на девочку-хозяйку. В руках у него был кнут, он поставил его к месту, в уголок, и поклонился.

— Здравствуйте! — ответила Марья.

Она открыла шкаф, взяла из деревянной миски горсть соли и подала ее в кулаке мальчику.

Тот подставил подол рубашки, и Марья ссыпала туда соль.

— Еще дай! — попросил мальчик.

— Хватит! Вы чьи сами-то?

— Мы гонщики… Скотину гоним в погорелые районы. В Шать-деревню нынче идем… Слыхала Шать-деревню? Большое село!

— Не слыхала… А кто вам скотину дает?

— Как кто? Ты книгу вон читаешь, там написано. Нам государство всего дает.

— А соли?

— И соль была, схарчили в дороге… Прочитай мне, что в книжке…

— А ты читать не умеешь?

Мальчик застеснялся:

— В зиму пойду учиться. Школы немец сжег.

— Ну, ступай. У тебя корова хворая, чего стоишь!

— Сейчас… Спасибо вам за соль, а то корова племенная.

Он взял кнут, прижал подол с солью к себе, поклонился и ушел.

Лампа уже моргала; Марья привернула фитиль, дунула сверху в стекло и полезла на печь.

А Евдокия Гавриловна до рассвета помогала Гвоздареву работать в сарае. Всю ночь Антон Гвоздарев, имея дело с двигателем, шептал что-то, затем бормотал и, наконец, говорил громко и явственно. Однако Евдокия Гавриловна не слышала или не хотела понять Гвоздарева, и она не отвечала ему ничего; только когда он говорил: «Гайку три осьмушки» или: «Готовь паяльник», — Евдокия Гавриловна понимала Гвоздарева, и подавала ему детали, и делала, что нужно.

К утру Гвоздарев привык к женщине, вблизи которой было ему хорошо, он даже не торопился кончать работу и действовал медленно; сердце его осмелело, и он сказал:

— А что, Евдокия Гавриловна, ты слышишь меня?

— Не слышу, — ответила Евдокия Гавриловна.

— Ну, все равно! — сказал Гвоздарев. — А что, если, сказать, мы с тобой организуемся вместе, или, как говорится, будем служить у пушки в одном расчете? У нас одних ребят с тобой на целый расчет орудия хватит, да еще мы с тобою двое…

Евдокия Гавриловна покраснела в сумраке сарая; фонарь стоял далеко от нее; он был возле Гвоздарева, лежащего под мотором. Ей нравились слова Антона Гвоздарева; всю ночь она слушала его невнятное бормотанье с ясным, однако, для нее смыслом. Что ей было ответить ему? Человек он, может быть, и хороший, да все же незнаемо было, каков его характер, а у нее трое детей. Про любовь, по первости все люди добры и хороши, неизвестно только, как из них потом злодеи рождаются. Однако уже за то, что он робко, но добросердечно сказал ей, что любит ее и желает жить с ней одним семейством, Евдокия Гавриловна была благодарна ему, и душа ее оживилась навстречу этому человеку; тот, кого любят, всегда чувствует свое счастье, даже если любят его тщетно и бесполезно, потому что от другой любви увеличивается достоинство и сознание ценности своей жизни, — жизни, которая нужна не только себе, но и другому.

Через несколько минут Евдокия Гавриловна подала Гвоздареву нужную деталь и близко склонилась к нему. Глаза его радостно смотрели на нее, он опять что-то говорил, но он ей так не понравился теперь, что она отвернулась и отошла от него, чтобы не почувствовать ненависть к нему.

— Ты что, Гавриловна? — не понимая, спросил Гвоздарев.

— Ничего, — поняв себя и его, ответила Евдокия Гавриловна. — Ты же за сыном идешь, у тебя сын в сиротстве живет, а ты встретил бабу-вдову и про сына забыл!.. Где ж в тебе человек, какое к тебе уваженье? Мужик в тебе соскучился…

Гвоздарев вскочил на ноги. «Суровая, с характером, — увидел он Евдокию Гавриловну, — эх, хороша, и почти что правду ведь говорит!»

— Ишь ты какая! — сказал он. — Да сына-то я прежде всего найду, без него и жизни моей не быть!

— Вот н найди его сначала, а то я его скорее тебя найду…

— Да я нынче же в Москву поеду, я в главную контору по розыскам там обращусь. Там уж, где ни есть, найдут его.

— Поезжай, конечно, чего тут топтаться, — дала совет Евдокия Гавриловна. — Сегодня от нас в МТС полуторатонка пойдет, а оттуда верста до станции.

— Ладно, ладно, солдату все ясно, — отчужденно сказал Гвоздарев. — А к вам-то можно наведаться тогда: узнать хоть, как машина теперь будет тянуть, как жизнь у вас тут пойдет…

— Можно, отчего нельзя! — согласилась Евдокия Гавриловна. — Ты меня не обидел, и

я тебе рада буду…

Вскоре к сараю-депо подъехал грузовик, и шофер спросил:

— Гавриловна, тебе чего в МТС нужно? Говори, не задерживай!

С этой машиной Гвоздарев отправился к станции железной дороги и далее, в Москву, а Евдокия Гавриловна отмыла руки и пошла к себе домой, чтобы проведать детей, а затем снова вернуться сюда — выводить машину на пашню.

Дети ее спали, и она не стала их будить. Она собрала им завтрак — молоко, хлеб, солонину, вареный картофель, — сама поела и ушла работать. До вечера она пахала. Машина теперь тянула ровно и мощно, расчетливая работа водяной системы экономила горючее, и Евдокия Гавриловна вспоминала Гвоздарева: у мужика была правильная, думающая голова…

Поздно вечером Марья сказала матери, что в прошедшую ночь мимо их села гнали скот из государства в деревню Шать и к ним в избу приходил мальчик-пастух, он попросил соли для хворой племенной матки, Марья дала ему одну горсть, а он еще попросил, да им самим нужна соль, она больше не дала.

Евдокия Гавриловна слушала старшую дочь и улыбалась, а затем еще раз спросила про этого мальчика, который приходил за солью.

— А как его зовут, не Алешка ли? — спросила мать.

Марья поглядела на мать.

— Алешки не было… Этого, должно, Ванькой зовут. До деревни Шать было всего восемнадцать верст. На другой день Евдокия Гавриловна выбрала время и поздно вечером пошла пешей в ту деревню; она дошла до Шати еще затемно и подремала на околице деревни до рассвета.

К полудню она возвратилась домой и привела с собой за руку большого мальчика, Алексея Гвоздарева.

Через месяц или немногим более, уже в начале лета, как только стемнело, в окошко Евдокии Гавриловны постучал прохожий человек. Огня хозяйка еще не зажигала, в избе было сумеречно, и хозяйке было некогда обернуться к окошку: она мыла над тазом голову мальчика и сейчас смывала мыльную пену с волос Алексея и с его лица.

Прохожий больше и не постучал. Он прильнул к оконному стеклу и всматривался внутрь сумеречной избы; он увидел, что делает Евдокия Гавриловна, он увидел, как под ее руками проясняется бледное, прекрасное лицо его сына.

Гвоздарев давно хотел счастья, и вот теперь он был счастливым, и счастье его оказалось посильным житейским делом. Всего десять шагов да открытая дверь служили ему помехой к счастью, и он побоялся их пройти. Он сел на завалинку и закурил; пусть и для радости будет отсрочка, так оно для человека надежней.

В далёком колхозе

[текст отсутствует]

Свежая вода из колодца

Инспектор гидротехнических работ инженер Иван Николаевич Переверзев пробыл у нас четыре дня. Он сам исследовал все ложе будущего степного водоема; мы вырыли для него добавочно двадцать разведочных шурфов, и Переверзев установил, что водоупорные глины малонадежны и расчленены супесочными огрехами. Особенно опечалила Переверзева слабость природных грунтов вблизи плотины; он предвидел возможность фильтрации воды под тело плотины, ниже заложения ее замка; инженер понимал, что, когда на грунт будет нагружен тяжкий вес воды, плотина может осесть.

Нашему прорабу была поставлена задача: ему приказали усилить грунты в ложе пруда, чтобы предупредить поглощение вод сухими песками. Для того нужно было обнажить всюду

размытые породы, а затем заделать эти места пластами уплотненной глины.

Прораб сказал нам, что для усиления грунтов в ложе водоема надобно столько же сделать работы, сколько было сделано для постройки всего тела плотины, и даже немного больше.

— А нужно ли так? — спросил Зенин, пожилой землекоп. — И без того вода со степи почву моет. Она наносов натащит, всю слабость в земле покроет, а потом еще земля заилится и сквозь нее много не просочится… Я природу знаю!

— Мало ли что! Прежде так и работали, — сказал прораб. — Я сам так работал. А Иван Николаевич говорит: «Нет, нам нужно, чтобы с первого лета пруд был полон, нам каждая капля дорога, а под плотину чтоб и слева не прошла». А у меня всех мастеров осталось вы да каменщики. Ну, каменщикам на водосливе дела хватит, а уж вашей бригаде придется постараться. Либо людей надо добавить…

— Старания тут мало, — сказал бригадир землекопов Бурлаков. — На эту работу надо сто человек поставить, а нас восьмеро…

Бурлаков задумался; он думал, что невозможно сделать такую работу в восемь рук, и понимал, что нужно ее сделать. Но его уже тянуло к семейству, он обещал жене вернуться к уборке урожая, а теперь, выходит, он будет дома лишь по первому снегу.

Он поглядел на своих людей: они сделали много за лето, и они утомились, ныне же требуется от них столько работы, что прежний их труд является лишь малым делом.

— Тяжело будет, — сказал он. — Ну, а раз начнем, то и закончим.

— А вдруг да не справитесь и не закончите под снег? — встревоженно сказал прораб. — Лучше я затребую тогда добавочную силу через район…

— Кого потребуешь? Землекопов? — спросил Зении. — Откуда вам их дадут, из какой области-губернии? Везде же работа идет… Чего зря говорить!

— Ну, а чего делать?

— Как чего? Работать будем! — ответил Бурлаков прорабу.

— А рук же мало, как тут быть?..

Здесь объявился молчавший Альвин.

— Так и быть, чтобы лучше было, — сказал он. — Работа большая, а мы ее начнем делать — и сами из маленьких большими станем.

Прораб недовольно поглядел на Альвина.

— Чего ты, Георгий? — обратился он к Альвину. — Ты знаешь, сколько кубометров придется на каждую душу?

— Это я понимаю, я сосчитал… Так мы же не без сознания станем работать… Мы не без смысла живем!..

— Без смысла не надо, помрешь, — сказал Сазонов, самый молодой в нашей бригаде. — Без смысла силы нету — чего сделаешь?..

Бурлаков разделил свою бригаду на группы по два человека и перед каждой группой поставил рабочую задачу. Альвин и Сазонов стали работать вместе. Они устроили себе в долине балки шалаш из тальника и стеблей полыни и поселились в нем, чтобы проживать ближе к работе: участок их работы находился далеко, километра за два от нашего общего жилища.

И вскоре, всего через неделю, в бригаде стало известно, что Альвин начал выполнять в сутки четыре нормы, вдвое больше, чем работал сам бригадир Бурлаков, и больше любого из нас. Мы приходили к Альвину смотреть, как он работает, и учиться у него, но он работал обыкновенно, как мы все умели, может быть, лишь немного скорее, и мы не могли понять его тайны. В работе у него было на лице постоянно доброе выражение, словно он хотел улыбнуться, и вся его худая фигура означала во время работы внимание к земле, будто он видел в ней образ милого ему человека.

На наши вопросы он отвечал правду, и мы сами понимали, что он говорит точно как есть и большего сказать ему нечего,

— Ты что же, трамбуешь достаточно? — спрашивал его сам Бурлаков. — Может,

рыхло?

— Попробуй! — отвечал ему Альвин. Бурлаков пробовал глиняный пласт лопатой.

— Нет, ничего, — говорил он. — Так хватит.

— Чудно! — высказывался старый Зенин. — Не верю!

Бурлаков серчал на Зенина:

— Чему ты не веришь? Я же сам обмеры делаю! Мне ты не веришь?..

Однако спустя еще немного времени Альвин стал работать три нормы, а затем вдруг всего две с половиной? напарник же его Семен Сазонов почти каждый день давал две с четвертью нормы. И так было три дня, а потом Альвин сразу сработал четыре с половиной нормы, и менее того Бурлаков у него не замерял. Мы все заинтересовались, отчего так было у Альвина, что ушла от него на время выработка, — заболел он или настроение у него переменилось на плохое. Бурлаков вначале молчал, будто скрывал что-то по своей скромности, потом улыбнулся нам, кто спрашивал его, и сказал:

— Он на круг все три дня по пять норм выполнял! Сазонов Семен три дня не работал и в курене лежал — вода у него неважная, у малого живот болел, — а Альвин Егор показывал его работающим и его две с четвертью нормы сам делал.

Бурлаков вздохнул и отвел от нас глаза в землю, словно стыдясь чего-то — сам за себя или за всех нас.

— А кто им пищу готовит? — спросил Зенин. — У нас вот штатная кухарка, а они свою долю харчей сырьем взяли. Кто им там питание варит? Может, сверх штата кто приходит?

— Сам Егор Альвин готовит, кто же еще! — сказал Бурлаков.

— А это… а кто к ним в гости из совхоза ходит? Я допускаю, что ходит кто-нибудь на помощь.

— Может, ты хочешь узнать еще, кто спит за них, когда они при луне глину из барьера берут?

— Нет, чего мне, я так говорю, я не со зла, — недовольно сказал Зенин. — Пускай у него, у этого товарища Альвина, дух есть, так сила-то в руках у него из каши берется, а каши у нас с ним одна порция. Где тут закон природы? Не вижу!

— И коровы похожи, — сказала здесь наша кухарка, старуха Прасковья Даниловна, — и корм ровно едят, а молоко разное.

— Так то коровы! — воскликнул Зенин. — А тут люди…

— У тебя одно нутрё, а у Альвина другое, — объяснила Прасковья Даниловна и ухмыльнулась умным, спокойным лицом.

— Нутрё! — проворчал Зениц. — Что я тебе, печенка?

— Не серчай. И у тебя душа, — произнесла наша кухарка, — да скорлупа толстая.

Вскоре Прасковья Даниловна, с согласья Бурлакова, стала готовить для Альвина и Сазонова пищу в артельном хозяйстве и сама ее носила им два раза в сутки; она хотела, чтобы Альвину и Сазонову легче стало жить и чтобы они лучше кормились: мужики сами себе плохо стряпают. Прасковья Даниловна укутывала оба горшка с обедом в свой теплый платок, и два землекопа ели теперь обед всегда горячим.

Время шло далее. Сазонов и Альвин заделывали в балке обнаженные пески и разрушенные покровы, вновь создавая тем древнюю целость природы.

Альвин работал все лучше и лучше. Он выбирал в карьере самую хорошую, увлажненную, прохладную глину, выкапывая ее из глубины разреза, грузил ее на тачку и привозил к месту работы. Такая глина способнее уминалась и трамбовалась, она хороша была в деле и давала прочное срастание с грунтом. Альвин любил земное вещество; хороня глину в углубление, укладывая ее на песчаную постель, он думал о ней и говорил ей про себя; «Покойся. Тебе там лучше будет, ты будешь цела и полезна, тебя не размоет вода, не иссушит и не выкрошит ветер», — точно он хотел объяснить глиняному грунту его положение и просил его перетерпеть временную боль, причиняемую работой человека. Разбивая трамбовкой глиняные комья, он успевал с сожалением посмотреть на каждый из них и запомнить их в отдельности, на что тот был похож. «Нельзя тебе быть таким, как

нечеловек, ты будешь другим, — решал Альвин и глядел затем на Семена Сазонова или вспоминал другого, близкого и дорогого человека: это ради них тревожу глиняную землю, потому что я их люблю больше, но глина тоже добрая, и мы все вместе живем». Речь Альвина про себя и та речь, которую он говорил вслух, для других людей, отличались между собою; это происходило потому, что речь про себя, в сущности, не имеет слов и является лишь движением чувства, понятным и достаточным для одного того, кто переживает его.

Везя пустую тачку снова в карьер, Альвин размышлял: «Та глина, какую я сейчас увижу там, она будет уже не похожа на ту, что я отвез, она другая будет»; его это интересовало. Подымаясь по взгорью к карьеру, выше уреза воды будущего озера, Альвин внимательно разглядывал и попутные былинки, и пролетающих бабочек, и все, что живо было и существовало на его пути. «Скоро вас всех тут больше будет, — радовался он, — всего будет больше — и трав, и бабочек, и червей; здесь наполнится озеро, земля станет рожать от влаги, тогда для всех хватит пропитания». Для Альвина ничто не было безжизненным, он имел отношение к каждому предмету, к любому живому творению и не знал равнодушия; если же он видел чужое равнодушие или расчетливое самоуспокоение, то легко приходил в ожесточение, и в этом его ожесточении было, возможно, смутное желание вывести равнодушного человека из его скупого оцепенения, чтобы он увидел не видимое им — людей и природу в их истине, прелести и в их усилии к будущему времени — и соединился с ними своим сердцем и своей силой; в чувстве жестокости Альвина более всего было печали и нетерпения; так, наблюдая в одиночестве прекрасное лицо или неодушевленную красоту мира, мы испытываем горестное сожаление, что никто другой не видит сейчас того же и не разделяет своим чувством нашей радости, тем самым уменьшая ее и как бы обижая нас.

Более всякой другой работы Альвину нравился простой труд с лопатой: он верил и знал, что этот труд оживляет землю, подобно пахоте крестьянина, равно и плуг крестьянина и лопата землекопа обращают омертвевший грунт в источник жизни для хлебной нивы или сада и через них в конце концов в питание и в дух человека, — и высший долг однажды рожденного человека был ясен ему. Поэтому Альбин с увлечением копал землю, словно рождая каждый перевернутый пласт для осмысленного существования, и внимательно разглядывал его, провожая в будущую, бессмертную жизнь. Он мог работать почти непрерывно, не переводя духа, не делая кратких остановок для отдыха, как поступают почти все рабочие, сами того не замечая. Ему не нужно было отдыхать в рабочее время, потому что усталость не могла одолеть его удовлетворения от работы; может быть, труд и не был для него работой, а был близким отношением к людям, деятельным сочувствием их счастью, что и его самого делало счастливым, а от счастья нельзя утомиться. И от этого чувства он глядел на землю сияющими глазами, в то время как пот на его рубашке проступал насквозь, просыхал от ветра и вновь проступал. Вечером он с сожалением думал о минувшем дне и не хотел спать, но наступала ночь, он ложился на траву в шалаше, укрывался своим старым пальто, и сладок был его сон.

Утром, еще на рассвете, приходила Прасковья Даниловна; она приносила на завтрак кулеш, горячую картошку и хлеб. Она спешила скорее обратно, но Сазонов обыкновенно задерживал ее своими вопросами.

— А отчего ты не замужем, Прасковья Даниловна? Ты пожилая уже.

— А я, сынок, вдовица.

— Вдовица? А дети где? Нету?

— Как так нету? И дети были. Которые выросли, которые померли…

— А сколько детей? Много?

— Да четырнадцать было, четырнадцать душ всего родила…

— Ого, сколько! Это много по количеству!

— Да не так чтоб уж много — у людей и больше бывает, — а на чужой-то взгляд много.

— А отчего ты много рожала? По новым людям, что ль, скучала?

— Да нет, чего я скучала? Я не скучала! А надобно так было…

— Надобно? А мне вот постное масло надобно. Принеси мне на обед чего-нибудь с постным маслом. Изжарь!

— Так это можно, — соглашалась Прасковья Даниловна. — Я тебе картошек напеку, а хлеб ломтиками нарежу да в масле его обжарю, хлеб весь и пропитается…

— Неси, я буду кушать… Мне харчи нужны, а то работы много, и мне думать надо…

Днем Сазонов старался работать вослед Альвину, но поспеть за ним не мог, выработка

его была всегда меньше. Что-то мешало ему — неправильное размышление или внутренняя жизнь, которая не соединялась целиком с общей жизнью народа посредством труда.

Стоя во впадине земли, они чувствовали запах созревших хлебов и степных трав, приносимый к ним волнами теплого воздуха, и это кроткое благоухание живого покрова земли смешивалось с запахом открытого грунта и пота работающих людей, и они дышали этим запахом травы, земли и труженика-человека, соединенным в одно живое родство.

Так, должно быть, и над всей нашей родиной волнуется ветром это благоухание жизни — воздух трав и пшеничных нив, запах человеческого пота и тонкого газа трепещущих в напряжении машин.

В обед к ним явился Бурлаков. Он сказал, что у него в бригаде от плохой воды заболели двое людей — Зенин и Тиунов; это жалко, а если еще заболеют люди, то вовсе некому станет работать, тогда и в год нам не выполнить задачу.

— Придется отрыть шахтный колодезь, — сказал Бурлаков. — Нельзя людей жижкой из ямки поить.

— Да, невозможно, там микроб! — согласился Сазонов.

Бурлаков покурил, обмерил работу, что сделали Альвин и Сазонов, и решил, как надо устроить дело. Нужно поставить на рытье колодца Сазонова и Киреева, Альвин же останется один на своем участке, — это плохо, конечно, а лучше сделать — людей нету; но из плохого положения можно тоже хорошее сделать, это смотря как взяться за работу.

Бурлаков до вечера остался на участке Альвина, они работали втроем. Бурлаков остался ради Альвина: он хотел в точности изучить все приемы Альвина, как он работает и отчего дает большую выработку. Бурлаков не мешал Альвину своим наблюдением, он смотрел на Альвина редко и незаметно, но тогда, когда именно нужно; как старый рабочий человек, он понимал, что в каждом труде есть сокровенный смысл, тайное, личное отношение рабочего человека к своему делу, и нельзя бесстыдно подсматривать за работающим — это и самому будет совестно.

Бурлаков считал в уме скорость, с которой Альвин катит тачку в карьер за глиной, время нагрузки тачки и скорость возвращения Альвина с грузом. Бурлаков высчитал и число ударов в минуту трамбовки в руках Альвина, и на сколько сантиметров он подымает трамбовку над грунтом, с какой живой силой он бьет ею, а также как он дышит и много ли потеет или работает сухим. Заметив, что Альвин работает без фуражки, а ворот у него расстегнут вовсе, Бурлаков и это принял во внимание. Он знал цену точности и кажущемуся пустяку — в них бывает решение вопроса.

Под вечер Бурлаков присел на минуту поодаль от Альвина; он закурил и для виду переобул одну ногу. Альвин в тот час вскрывал лопатой слабый грунт, прикрывавший пески. Бурлаков же хотел издали поглядеть незаметно в лицо Альвина, какое у него выражение: устал вовсе человек или чувствует себя еще терпимо и душа его добра? И Бурлаков увидел на лице Альвина слабую улыбку и внимательные, блестящие глаза, смотревшие в землю. Бурлаков вспомнил, что он видел такие же лица у людей, читающих большие книги, волнующие их, спокойно-счастливые лица. «Всего его не сосчитаешь, — подумал Бурлаков. — Вот что сейчас в нем есть, этого мне, должно быть, как раз и не хватает. А, ничего! Я другим возьму: у меня под лопатой тоже пар пойдет из земли, а рубашка сухая будет!»

На следующий день Альвин работал один. Семен Сазонов ушел с утра рыть колодезь, и

там, на месте работы, он должен остаться ночевать вместе с Киреевым, потому что колодезь рыли довольно далеко; колодезь определили туда, чтобы он и после окончания работ сохранился для будущего поселения на берегу озера.

И странно вдруг стало Альвину работать и жить одному; обыкновенно всегда вблизи него работал человек, и хотя о нем не думалось, но чувство к нему было, чувство одинаковой участи и удовлетворенной совести: если ты работаешь и тебе трудно, то и мне трудно, я тоже с тобой здесь. Так же чувствовал и другой человек, и обоим было легче.

Альвин обрадовался, когда Прасковья Даниловна пришла с обедом; есть ему хотелось мало, но ему необходимо было побыть немного с человеком, поговорить с ним о чем-нибудь, увидеть хотя бы в чужом лице то, что привязывает его к жизни и питает его веру в нее.

— Отсюда пойдешь Семена кормить? — спросил за обедом Альвин у Прасковьи Даниловны.

— А то кого же! Его да Киреева еще, Тимошку.

— Ступай корми их… Ты бы сначала к ним ходила…

— Жуй, жуй, не глотай! Успеется… И их накормлю, и ты поешь. Не спеши!

Вечером к Альвину приходил Бурлаков. Его все более волновала тайна работы Егора

Альвина; его сердце уже не могло терпеть, чтобы он не узнал, почему выработка у Альвина больше, чем у него, и чтобы он не сумел сработать столько же и даже больше. Бурлаков все время, все эти дни, чувствовал в себе мучение стыда; он уже хотел отказаться от бригадирства — пусть теперь бригадиром будет Альвин, но прораб велел ему остаться как он был, на своей должности.

Измерив способы и приемы работы Альвина, Бурлаков в точности повторил их, даже рукоятку к своей лопате он приделал подлиннее, как у Альвина, — и только уморился больше, а сделал земли, как и в прежний день, без прибавки. «Что за черт в мешке!» — подумал Бурлаков и пошел к Альвину.

— Может, скажешь? — попросил Бурлаков. — Приспособление, что ль, у тебя какое есть?

Альбин улыбнулся.

— Что ты, Николай Степанович, глупость говоришь! Неужели ты вправду так думаешь?

Бурлакову стало неловко.

— А ты не обижайся, Егор Егорыч, и глупость по причине бывает. Дело большое, узнать охота…

— Чего узнать? — грустно сказал Альбин.

Он посмотрел в темную степь и в звездное небо над землей; на небе он нашел одну звезду, на которую он смотрел каждую ночь на фронте, когда эта звезда была видна.

— Чего тебе узнать от меня? Я знаю, что все знают…

— Не ровно, видно, знание. У тебя сегодня шесть норм, а по бригаде на круг по три, у меня четыре. Скоро осень, а у нас тихий ход… Ты на скорость, что ль, берешь, без передышки? Так, значит, сердце у тебя сильное, оно терпеть может.

Альвину скучно стало рассуждение, он хотел сказать, что был ранен в грудь, но промолчал: не об этом его спрашивал Бурлаков. На небе взошла невысокая, убывающая луна, и земля осветилась кротким светом.

Альбин поднялся и взял лопату.

— Ты куда? — спросил его Бурлаков.

— Землю работать… Пойдем и ты, Николай Степанович. Я завтрашний день хочу сегодня начать.

Бурлаков без охоты взял вторую лопату и молча пошел за Альвиным. Бурлаков стал возить глину, а Альвин трамбовал ее.

После полуночи они попрощались. Альвин увидел, что Бурлаков был усталый, но повеселевший.

— В работе лучше всего, — смущенно и тихо произнес Альвин, — будто со всем

народом и с природой говоришь. Мне, бывало, всегда кажется так.

— А что тебе кажется? Что тебе народ говорит? — Слов не слышно. Это не такой разговор.

— А ты ему?

— Я ничего не говорю. Я люблю его. Сказать нечего и нехорошо, работаешь — и все..

Бурлаков удивленно смотрел на Альвина; медленно шла его мысль, чувство же в его сердце действовало скорее мысли. Он обнял Альвина, постоял так немного, как брат, вблизи человека, потом ушел ночевать к остальным своим людям.

Альвин остался один. Его звезда на небе зашла за горизонт, она светила сейчас другим, невидимым людям, а не погасла.

Альвин уснул и был разбужен криком человека на заре. К нему прибежал Киреев; он сказал, что Семен Сазонов задохнулся в колодезной шахте почвенным газом, Киреев его вытащил, но Сазонов лежит на земле плохой и дышит тяжко, отдышится или нет — никто не знает, он может умереть. Альвин побежал с Киреевым на колодезь; с дороги Альвин велел Кирееву поспешить в барак — там есть аптечка, пусть он принесет ее.

Альвин прибежал один на постройку колодца. Возле холма вырытой земли, на прохладной, росистой траве, лежал Сазонов, лицом к восходу солнца. Глаза его побелели и были полуоткрыты, выражение их было равнодушным; дышал он жадно, но редко и неровно, словно он то забывал, то вновь вспоминал, что надо дышать, и пальцы рук его шевелились, слабо хватая землю в беспомощном страдании. Альвин начал помогать Сазонову чем мог и о чем сумел догадаться: он стал равномерно махать над лицом Сазонова своим пиджаком, чтобы увеличить ветром приток свежего воздуха изнемогающему человеку.

Вскоре Сазонова затошнило. Альвин снял свою исподнюю рубашку и осторожно вытер лицо больного; пошевелить его он боялся. Затем Альвин смочил платок травяной росою и освежил рот и лоб Сазонова. Подумав, что еще надо сделать, Альвин склонился к Сазонову, он стал перед ним на колени и увидел, как быстро бледнеет его лицо; невидимая едкая сила изнутри испивала его жизнь и осушала кровь. Тогда Альвин поцеловал товарища в лоб и, не думая более, полезно это или вредно, обхватил Семена, поднялся с ним и прижал его к себе, Альвин испугался, что Сазонов сейчас умрет, что он уйдет от него неизвестно куда, и держал его близко при себе, не чувствуя его тяжести.

Альвин позвал его:

— Семен, Семен, ты дыши глубже, ты очнись… Что ты, Семен! Зачем же я тогда без тебя?..

Альвин не знал, что нужно сказать ему и что делать. Он сел на землю, осторожно положил Семена возле себя, взял голову его в свои руки и прижал ее к своему животу, чтобы она не остывала более. Молодое белое лицо обращено было к Георгию Альвину, безмолвны были теперь открытые, постоянно вопрошавшие уста Сазонова, и черты его медленно превращались из юных в детские и в младенческие, приобретая первоначальный, кроткий и важный образ, исполненный покоя и достоинства. И горе, подобно воплю матери по умершему сыну, прошло через сердце Альвина, и он, не сознавая, что делает, коснулся своим ртом побледневших уст Сазонова и стал дышать его дыханием, чтобы отравленный газ скорее вышел из умирающего.

Альвин прежде мало думал над тем, кто был сам по себе Семен Сазонов и какое он имеет значение для всех людей. А теперь Георгий Альвин вздрогнул перед бледным лицом юноши: он увидел в нем неузнаваемые, затаенные черты того прекрасного человека, который был ему необходим. Альвину стало страшно, что со смертью Сазонова уменьшится весь смысл жизни на земле и руки его ослабеют для работы… Сазонов по-прежнему дремал в предсмертном сне, и Альвин заплакал над ним.

Бурлаков издали окликнул Альвина, он бежал сюда вместе с Киреевым.

— Ну, как там Семен? Жив еще? Не упускай, не упускай его!.. Я иду!

Бурлаков оказал Сазонову помощь из ящика с аптекой, однако неизвестно, что помогло Семену: должно быть, его сила в теле, взятая для жизни еще от матери.

Сазонов очнулся и спросил:

— Это что — смерть была?

Бурлаков довольно улыбнулся.

— Видал? Интересуется! Значит, отдышится и жив будет.

— Буду, — слабо сказал Семен. — Мне надо!

Альвин опустился в колодезную шахту, чтобы проверить ее. Шахта уже освежилась от газа, в ней можно было работать, и Альвин остался в ней; к вечеру вместе с Киреевым он закончил ее углубление до грунтовой воды и там напился первым прохладной, чистой влаги…

День этот прошел, и мы его забыли. Время склонилось к осени. Бурлаков торопил работу, он сам не жалел себя и серчал на других, кто не успевал. Серчая, Бурлаков иногда сам работал за слабодушного и записывал свою землю в его выработку. Это приводило совесть людей в содрогание, и Киреев однажды плакал ночью по тому случаю, что Бурлаков приписал ему полторы нормы из своей выработки.

Осенью и самый слабый или равнодушный человек в нашей бригаде стал работать лучше, и менее трех норм уже никто не работал. Альвин же и Бурлаков работали одинаково по шести норм, но бывало, что делали и больше. Люди в бригаде говорили в шутку, что в колодце откопали счастливую, сладкую воду и от нее идет добавочная сила.

Когда в первый раз Бурлаков сделал земли больше Альвина, то Альвин попросил его:

— Скажи, Николай Степанович…

— Чего тебе сказать? — улыбнулся Бурлаков, понимая Альвина. — И Зенин сегодня три с четвертью дал. Настраиваются помаленьку люди, воду из чистого колодца пьют…

— Нет, ты скажи: какое у тебя приспособление? А то я от тебя отстаю… Чего-то у меня не хватает, значит, в душе, а у тебя лишнее есть.

— Ишь ты, чего хочешь! Может, с тебя это и пошло… Я думал, ты сегодня слаб будешь, и я за тебя постарался. Поясница, правда, болит, так это пройдет…

— Пройдет, — сказал Альвин. — Так, значит, ты тоже приспособление себе сделал?

— Сделал! — засмеялся Бурлаков. — Сам чувствую, есть что-то, а сказать — не знаю. И ты ведь молчал! У каждого, дорогой, своя душа, а свежую воду мы все пьем из одного колодца.

Из записной книжки

[текст отсутствует]